

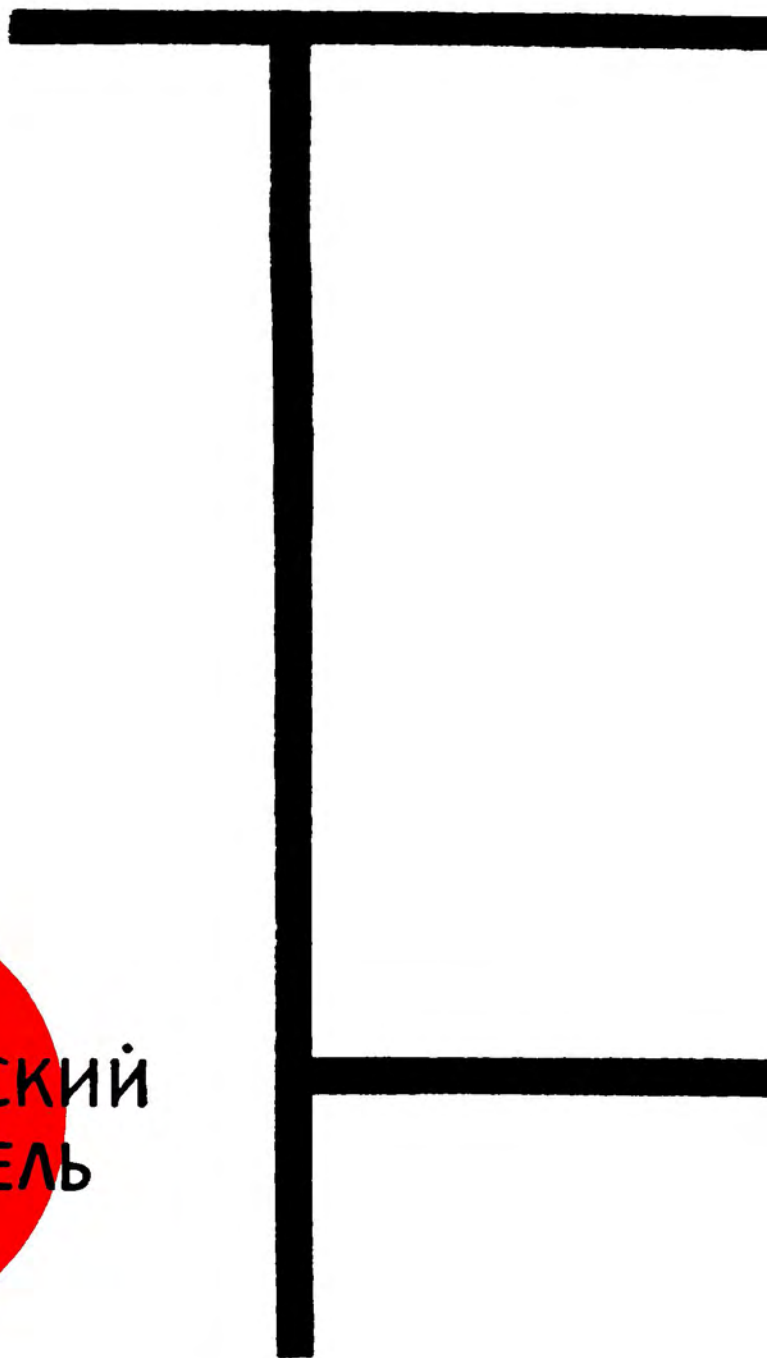
ДЕНЬ

ПОЭЗИИ

A stylized red number '1969' is centered within a black frame. The frame consists of a vertical line on the left, a horizontal line at the top, and a horizontal line at the bottom. The number '1969' is rendered in a bold, sans-serif font with a unique, slightly slanted and rounded design. The '1' is a simple vertical bar. The '9's are rounded at the top and bottom. The '6' has a circular bottom loop. The '9' at the end is similar to the first one but with a different top curve.

1969

МОСКВА





ДЕНЬ

ПОЭЗИИ

Гл. редактор М. ЛУКОНИН

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*В. БОКОВ (зам. гл. редактора), С. КИРСАНОВ,
Я. КОСТЮКОВСКИЙ, М. ЛЬВОВ, В. ОГНЕВ,
Г. САННИКОВ, Б. СЛУЦКИЙ, Я. СМЕЛЯКОВ,
В. ТУРКИН (составитель), В. ЦЫБИН.*

ВПЕРВЫЕ

Владимир ДАГУРОВ

МАЛЬЧИШКА

Он был питомцем Первой Конной,
И вовсе не его вина,
Что для него начальной школой
Была гражданская война.
Он русскому учился в битвах,
Где пулемет диктант строчил,
И по числу врагов убитых
Он арифметику учил.
Худой, обветренный и юный,
Как будто грезя наяву,
Он жадно слушал про Коммуну,
Цигарку выронив в траву.
И, засыпая, думал: «Мне бы
Взглянуть — какая там она!»

...Насквозь простреленное небо,
Как сабля ясная луна...
И над землей сырой и сонной,
Над степью древней и седой
Шумели нивы,
 пели села,
Белея пеною садов,
И жизнь мальчишечья — малина
В стране рассвета и труда,
И...
 как приказ, неумолима
В поход зовущая труба!
Опять,
 горя и ненавидя,

Он длинной очередью бил...
 Он этой жизни не увидел,
 Не домечтал,
 не долюбил!
 За все, что в мире я имею,
 За всю земную благодать
 Тревожусь:
 вдруг я не сумею

Все это жизнью оправдать?
 И в день ненастный,
 в день погожий
 Передо мной
 стоит судьей
 Мальчишка,
 на меня похожий,
 С его высокою судьбой.

* * *

Нет,
 никогда не жил я по-полярному,
 Не продирался девственной тайгой.
 Насвистывая песни популярные,
 Живу себе в квартире городской,
 Где в вазах умирают гладиолусы,
 Дробится солнце в звонком хрустале,
 Где мир во всей великой грандиозности
 Вместился в глобус,
 тот, что на столе,
 Где книги об исследованьях вируса,
 Где вышиты подушки стилем «гладь»,
 Где синее сиянье телевизора
 Полярное не в силах передать.
 Ко мне приходит шумная компания.
 Пахнуло вдруг погодой снеговой.
 Мы ловим джаз на радиокоромбайне
 И весело танцуем под него.
 Похохотали мы.
 Потанцевали.

И мне очкастый парень умно врет,
 Что жизнь моя еще в потенциале
 Извечного движения вперед.
 Я не люблю парадность слов высоких,
 Но не могу на это возразить.
 Мы, как земля, вбираем жадно соки,
 Чтоб их же урожаем возратить.
 И пусть нам будет трудно поначалу,
 На молодость нам скидка не нужна.
 Все то, что мы от жизни получали,
 Мы отдадим,
 и отдадим сполна.
 Мы отдадим любовь,
 и страсть,
 и знания,
 И мир нас примет радостно тогда,
 Прекрасный,
 как полярное сияние,
 И трудный,
 как дремучая тайга!

УГОЛЬ

Встроим, в комбинезонах,
 Усталые и черные,
 Мы ели у вагона
 Картошины печеные.
 И вновь лопаты
 сжали мы!
 В усердии своем
 Не уголь разгружаем,
 А черный дождик льем.
 Но уголь очень медленно
 В вагоне убывает,
 А под ногой —
 не меряно,
 И это убивает.
 Лопата за лопатой
 Ползет за часом час...
 Качаюсь,
 а не падаю,
 Усмешкою лучась:
 — Давай, давай,
 подбадривай,

Лопату
 знай
 качай!
 «А ты парнишка кадровый!» —
 Заметят невзначай.
 ...Стоит у кассы очередь,
 И очень гордо мне,
 Что я стою с рабочими
 Парнями наравне.
 Измазанный и бронзовый,
 И я в спецовке тут,
 И теми же червонцами
 Получку мне дают...
 Мной много счастья собрано,
 Был многим
 рад
 денькам,
 Но этому — особенно,
 И вовсе
 не деньгам!



Эх, прощай, цивилизация!
Электричка отошла.
Ждет нас маленькая станция
Под названием Юшала.
В окнах, словно кинокадры,
Лес, деревня да река.
Мы раскидываем карты,
Ведь дорога далека.
Под мурлыканье гитары
Надрываем голоса
Про колхозные гектары
И про девичьи глаза.
Проводник сидит отдельно,
Не ругая за галдеж:
Мол, естественно —

студенты,
Мол, понятно —
молодежь.

Мы поем всю куплеты,
В пол чечеточку дробя.
Лев Косых из комитета
Заливает про себя,
Как в песках крутил баранку
На лихом грузовике
И какого он барана
Ел в таджикском кишлаке.
Браво он бросал словечки,
Сами знаете — шофер!
Вдруг спокойно и зловеще
Появился контролер:
— Предъявите-ка билеты, —
И пошел считать ребят.
Лев достал билеты

бледный
И промолвил:
— Шестьдесят... —
Контролер был строг и зорок.
Вслух ведя билетам счет,

Он закончил:
— Только сорок.
Что-то мало.

Где еще? —
Парни с полок подымались.
Лев искал и повторял:
Мол, куда-то подевались,
Мол, никак я потерял.
— Потеряли?

Что ж, ищите.
Только вот что вам скажу:
Не найдете —
не взыщите,
Оштрафую и ссажу. —
Вдруг с последней полки Вася
Демин,

тот, который спал:
— Не плети!

Я был у кассы.
Ты ведь сорок покупал. —
Мы молчали,
не галдели,
Захлебнулся разговор.
Мы в глаза ему глядели.
Строго.

Пристально.
В упор.
А потом он плел невинно,
От обиды ошалев:
Экономил, мол, на вина
В этой самой Юшале.
Он оправдывался:
мол-де,
не себе хотел,
а всем...
Врезал я ему по морде
От лица ВЛКСМ.



Я приеду домой в телогрейке,
Загорелый как черт
и худой,
Возмужалый,
веселый и крепкий
И такой молодой-молодой.
Я приеду оттуда,
где пашней
Трактор кашлял,
чихал
и хрипел,
Где, четвертые сутки не спавший,

Я, во ржи растянувшись,
храпел.
И опять я в степи черноземной
За штурвалом сидел,
и со сна
Были звезды похожи на зерна
И на серп — молодая луна.
Где порой было жарко как в бане
И я,
душу отдавший труду,
Улыбаясь, стоял на комбайне,
И летела ковбойка в траву!

...У крыльца поцелую я маму,
С плеч рюкзак отошаль свалю
И с улыбкой чего-то проямлю
Про бродячую душу свою.
Белоснежную пену взбивая,
Сбрею баки,
усы и браду,
И, мотивчик под нос напевая,

Я по улице главной пройду
В узких брюках
и пестрой рубахе.
И, не зная, откуда
пришел,
Оглядят заводские ребята
И процедят сквозь зубы:
«Пижон!»

* * *

Мальчики становятся мужчинами.
Это даже очень интересно.
Лбы их наделяются морщинами
Созревающего интеллекта.
Полные восторга и тревоги,
Мальчики не ищут, где полегче,
И уже ложится груз эпохи
На еще мальчишеские плечи.
Мальчики во многом ошибаются,
Потому что плохо разбираются,
Мальчики о скалы ушибаются,
Но на скалы все-таки взбираются.
Мальчики в Сибири ставят домны,
Пашут целину,
на стройки мчатся
И почти что не бывают дома,
Смертно огорчая домочадцев.
А попробуй растолкуй им,
милым,
Что наш дом — одна шестая мира
Или даже, может быть, полмира,
А не их отдельная квартира!
Ведь еще совсем недавно,
мальчики,

Мы учились, и озоровали,
И в альбом наклеивали марочки,
И в ночном ватагой зоревали.
Паровоза свист.
Вагонов вздрагиванье.
Мальчикам не надо благоденствия!
За порог родимый перешагивая,
За порогом
оставляют
детство.
И впервые,
может быть,
без мамочки,
С точки зренья мам —
бесчеловечно,
Уезжают вдаль
уже не мальчики
И, пожалуй,
мальчики навечно.
Так,
того еще не сознавая,
Противоречиво и мучительно
Мальчики упрямо созревают,
Мальчики становятся мужчинами.

• • •

Алексей ЗАУРИХ

УТРО

Утро — мчу без оглядки.
Утром,
как у зверьков,
хитро щурятся глазки
залихватских звонков.

Я спешу к адресатам,
в щели письма сую...
Утро,
я словно атом
ввергнут в бучу твою.

Солнце,
глянь-ка сквозь листья
и меня помани!..
Приготовились лифты —
звездолеты мои.

Проживаю не сиднем!
Я ведь кто? Почтальон!..
Звездным пламенем синим
весь как есть опален.

Вновь шагаю дворами,
запахнув пальтецо.
Властелин этой рани,
дует ветер в лицо... .

Вот всегда бы так —
с ветром
мне шагать, не дрожать.
Этим ветром, как веком,
задыхаясь, дышать.

Каждый день чтоб как веха,
чтоб в труде как в огне... .

Взгляд двадцатого века
остановлен на мне.

Этот взгляд не процежен —
взгляд, в котором восторг.
Я всем сердцем нацелен
ввысь,
как пятый «Восток»!

* * *

Вот и снова — ограды, заборы...
Нам бы надо, ребята, смекнуть,
Как сломать все на свете запоры,
Все на свете замки отомкнуть.

Поутру и зимой и весной
На Волхонку спешу поскорей,
Где бестрепетно передо мною
Открывается сотня дверей.

Лютый пот прожигает рубашку,
Потому не иду, а лечу.
Молодые глаза нараспашку, —
Ничего пропускать не хочу!

Замирающе, будто калитка,
Дверь на первом скрипит этаже... .

Никому никакого убытка —
Только чистая прибыль душе.

С почтальонской сумкой —
не праздно —
И в квартиры вхожу, во дворы,
В необъятные эти пространства,
В коммунальные эти миры.

Вместе с ветром, и солнцем, и паром
Забегаю и снова: «Пока!»
Не за так это все, не задаром —
Тоже, люди, нашли простака!

Вот письмо, вот газета. За это
Открываются мне без числа
Кладовые сердечного света
С тайниками людского тепла.

• • •

ДОБРЫЙ УЗЕЛ

Почтовый узел — путь, забота.
И не зарплата, а страда.
Твоя бессонная работа —
Моя счастливая звезда.

Совсем не часть, совсем не угол —
Заполнил душу до конца
Почтовый узел, добрый узел,
Соединяющий сердца.

А мне доступно очень много,
Иду я, меряю шаги,
Так от порога до порога:
Квартиры, страсти, очаги...

К чему парады и награды!
Вот так всегда шагать бы мне,
Людей внимательные взгляды
На взмокшей чувствуя спине.

Так пусть им горести в конвертах
Не заслоняют небеса,
Пусть на домах, как на корветах,
Дымков взлетают паруса!

Пусть бедам всем конец — и баста!
И я хожу, и я пишу...

Почтовый узел у Арбата —
Откуда письма разношу, —
Ты — дни с дождями и ветрами,
Где непокой и беготня,
С неповторимыми утрами,
Обхватывавшими меня!
И с адресатами моими,
Что, будто близкие мои,
Не ублажают чаевыми,
А приглашают на чай...

Лучи рассветов, кухонь терпкость,
Людское доброе тепло —
Вот это все в меня, как в термос,
До малой капельки вошло.

Путем нелегким, быстротечным
Пройду сквозь ветер напролом,
Делясь в дороге с первым встречным
Неостывающим теплом!

* * *

Гаснут звезды
в предутреннем небе зеленом,
на улице — ни троллейбусов, ни машин.
Прошел с того времени,
как я стал почтальоном,
год. Ну, может быть, с небольшим.
Но я и сейчас умею
забывать про погоду,
если надо идти — иду,
как тогда
в гололедицу
шел по городу.
И платили-то сущую ерунду!
Месяц спал, как в люльке,
свернувшись калачиком.
Я спешил,
скользкой улочкой семени.
И кошки в парадных,
где не горели лампочки,
обезумев,
шарахались от меня.
Проходя дворами, мне нравилось очень
замечать: розовеет на крышах снег.
В ту минуту,
когда нет ни утра,
ни ночи,

вы видали,
является заново
город на свет.
Но снова
газетная сумка давила на плечи.
Поднимался по лестнице,
выбиваясь из сил.
А меня уличали знакомые:
«Ты ищешь работу полегче!» —
и шли на завод.
А я газеты носил.
Я носил «Известия», носил «Вечерку».
Мне жали руку, говорили всякие слова...
И так улыбались незнакомые девчонки,
что кружилась глупая голова.
Позже
пришли заботы другие.
Одно осталось по-прежнему —
встаю чуть свет.
Но не забуду дни
отдаляющиеся,
дорогие...
Мне не было тогда и семнадцати лет.
Вот снова утро. И улицы сонны.
Мне еще идти, идти — не устать...
Лежебоки! Записывайтесь в почтальоны.
Денег не наживете.
Научитесь рано вставать.

ОБЛАКА

Облаков надо мною четыре полка,
Озаренных лучами.
Утром солнце, как выпел, несут облака
За своими плечами.

Облака... То пронзительным светом
весны
Обдадут, пропадая.
То черны и грузны они, как валуны,
Что на холмах Валдая.

Знаю я: не однажды пугали врагов
Эти полные гнева
Зоревые дружины седых облаков
В море русского неба.

Я лежу, я гляжу: надо мною века
В тишине проплывают.
Почему-то мне кажется, что облака
Лишь в России бывают...

* * *

Рванувшись в небо, сизый голубь
Задел крылом о провода
И рухнул колом, рухнул колом,
Как августовская звезда,

Им, проводам, звенеть, тянуться,
Опять наращивать слои...
Ах, птицам негде развернуться,
Крыла опробовать свои!

И под ногами в день и в вечер
Они шныряют, как ужи.
А ведь какие были свечи,
Какие были виражи!

И вот один сорвался с места
Лучам навстречу огневым,
Забыв про теплые насесты,
Про город с кормом дармовым.

Живи во мне, высотный голод!
Да, ввысь! Сквозь искры! Напролом!
И жажду неба я, как голубь,
Тот, с переломанным крылом.

Звездой высокой вспыхнуть мне бы,
Судьбу шальную не корить
И для других дорогу в небо
Хоть на мгновенье озарить...

* * *

Мне говорят все это,
будто
над морем соколу парить.
Я вас, моря, все время буду
за тягу к вам благодарить.
Мне тот недавний день вернуть бы,
где гулевой соленый вест...
Моря,
вы вторглись в наши судьбы,
вы нас опять сорвали с мест!
О, тяга!
В ней не только отпуск.
В ней нечто большее, чем пляж.
На сердце — моря влажный оттиск,

в глазах — бедовых
бликов
пляс!
Лучей кружение и скольжение...
Моря, вы тем и хороши,
что вы свечение, вы движение
людского сердца и души.
Вы — тот закат, где так не спится,
где даль далекая светла,
где солнце падает, как птица,
сложив багровые крыла.
И ночь, что будто от загара
черным-черна, сошла на нет,
и миг, в который от заката
отталкивается рассвет...

● ● ●

Владимир ЛАЗАРЕВ

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Я не просто живу.
Я, подобно реке,
Начинаюсь
в затерянном
далеке...

Но всему вопреки
Бьется ниточка кровная.
Где ж мои родники?
Отвечай, родословная!
Отвечай,
кто я,
чей,
Со смешинкой горячей
И с размахом плечей,
Что в рубахе не спрячешь?
Бьется ниточка кровная.
Говорит родословная:
— В даль взгляделся бы
в ту,

Где в забитой России
Твои предки в порту
Свои плечи растили.
Над ознобом воды
Да в надсадном оскале
На плечах
Все таскали,
таскали,
таскали —

Подымали пуды,
Корабли подымали,
А как вскинули ввысь
Красный флаг негасимый,

На конях понеслись,
Припадали к «максимам»,
Всем коронам на горе
Бунтовала их сила,
И по Черному морю
Их слава ходила,
ходила,
ходила!..

Ах, как песни их пелись!
На коротком привале
В шутки сыпали перец
И подруг обнимали,
Но густела гроза —
И прощально сияли
Молодые глаза
Из огня и печали...
Ты запомни их,
парень! —
...Бьется ниточка кровная.

Я за них благодарен
Тебе, родословная!
Ты во мне,
ты живешь,
Глубину мне даешь.
— Помни,
Кто ты
И чей! —
Я запомню надолго.
Без тебя я — ручей,
А с тобою я —
Волга!

* * *

Синяя, сияющая свежесть,
Так и хочешь к ней лицо прижать...
— Как тебя зовут, речушка?
— Сежей.
— Сежа... А меня Володькой звать.

Худенькая русая речушка,
Можно мне с тобой вдвоем побыть?
Ты, как загрустившая девчушка,
В чисто поле вышла побродить.

И, знакомый с реками другими,
Я еще такой не находил.
Сежа, кто тебе придумал имя
И такую синью одарил?

Я вдыхаю утренние звуки,
Раздвигаю зорнюю росу.
Хочешь, я возьму тебя на руки,
К морю-океану понесу?

Сергей МАКАРОВ

РУКИ

У нашей эпохи особый заказ —
Чтоб руки имели рабочий закал,
Чтоб смуглыми были, как солнца закат,
Чтоб точными были, как солнца восход;
Хлеба собирая и уголь рубя,
Чтоб крепили, мужали от разных работ
Не ради наживы, не ради рубля...

* * *

Осень в лес пробирается тропками,
Задыхаясь от терпкой смолы,
И какими-то кажутся робкими
Пожелтевших деревьев стволы.

Но вблизи, где песчанятся осыпи,
Каждый ствол — восклицательный знак!
Словно вызов нахлынувшей осени,
Молодой зеленеет сосняк.

И стоит он, как будто связной
Пожелтого леса с весной.

Я ИДУ

Я иду по неровной, нелегкой земле,
Ошибаясь, любя, повзрослев до поры,
Знаю цену ковриге ржаной на столе
И цену на коротких привалах костры.

Если груб я порой — то бесхитростно груб,
Как бесхитростна нежность весенних цветов,
Я иду по земле, молодой солнцелюб,
Оставляющий вмятины грузных следов.

Тяжколапые ветры мне ломятся в грудь,
Подкосив буйногривье размашистых
Трав,
Только выбрал я свой, неисхоженный
Путь
И, наверное, очень по-своему прав.

Я иду, разорвав белобрысый туман,
Грозовым дождепадом не взят на испуг, —
Стрелы молний насыплю спокойно в колчан,
Семислойную радугу взяв, словно лук.

Загустеет вечернего воздуха синь,
И в озерах лениво линияют линии,
И глядят пересохшие губы пустынь
На огромную прорубь дразнящей Луны.

И дрожат надо мною, над крошевом рос,
Над землей, над соленой печалью морей
Много звезд, словно вдовьих проплаканных
слез,
Сильноруких солдаток России моей.

Я люблю тебя, родина, русая Русь,
Восхищаюсь прямыми, как правда,
людьми,
Посмотри: я мужаю, расту, а не гнусь
Под величием нашей сыновней любви.

ЖИЗНЬ

Бродила смерть по скользким рвам,
Был вой снарядов, визг свинца.
Мы молча кланяемся вам,
Войной убитые сердца.

Земля в садах, а не в золе,
Цветы приветствуют весну,
И громко бьются на земле
Сердца, убившие войну.

СТАРИКИ

Повстречаются, сыплют шутками
Те, чей волос белей муки,
Угощаются самокрутками
Деревенские старики.

Верой в жизнь они очень молоды,
Рады солнцу, заре, цветам;
Как навесы, нависли бороды,
А морщины — как счет годам.

Но глаза без усталой мутности,
Есть силенка еще в руках...
Сколько жизни в вас, сколько мудрости,
Люди, жившие в двух веках!

ПОМЕЧАЕМ...

Ну, вот и окончена наша работа,
Давайте, присев, помечтаем, ребята!
Послушайте: где-то за тихой Любанью
Когда-нибудь я повстречаюсь с любовью.
Глаза у нее как две капельки сини.
Мы сядем в простые, скрипучие сани,
И сразу навстречу нам вечером бурым
Рванется земля пошатнувшимся бором,
И снег под полозьями хрустнет, как гравий,
И ветер запляшет над конскою гривой.
Над нами в пути над замерзшим лиманом
Луна проплывет переспелым лимоном,
Мы с милой подарим без всяких уловок
Друг другу тепло настоящих улыбок.
А дальше — в тесовые, новые сени
Нас к свадьбе заливистой вынесут сани;
От музыки всплеска, от винного плеска
Вас за ноги схватит задорная пляска,
И хмель перетянет невидимой гирькой
Под звонкие песни, под выкрики «горько!».
И будет на счастье тарелка разбита...
Вот я помечтал. Продолжайте, ребята!

В ПУТИ

Завтра эху
разучивать наши шаги.
Мы придем, как хозяева,
спаянным строим,
В сердцевине косматой,
дремучей тайги
Самый светлый, как песню,
мы город построим.
Поезд мчится в Сибирь,
прорываясь в рассвет.
Пусть меня
беспокойная радость разбудит,
Словно песня,
которой пока еще нет,
Словно песня,
которая все-таки будет!

НЕБО

Нам не все еще громы молвили,
Тайн заоблачных не раскрыв,
И на жарком высверке молнии
Торопящий сердца призыв.

Небо манит к себе по-разному,
Этот синий простор не прост, —
Где-то наши братья по разуму,
На какой-то из дальних звезд.

Может, ждут нас, от горя сгорблены,
Иль от счастья, как мы, стройны?
Пусть рванутся к ним, солнцем
вскормлены;
Парни сильной моей страны.

И напомнит миг отземления
Межпланетного корабля,
Что людей подняла с рождения
Даже выше себя Земля!

НОВОЕ

Леонид **МАРТЫНОВ**

НАСТОЯЩЕЕ МГНОВЕНЬЕ

Нет
Ничего
Тебя виднее,
О настоящее мгновенье!
Но, кажется, всего труднее
Определить твое значенье.

Иной
Вперед
Глядит со страхом,
Себя сомнениями муча:
А вдруг возьмет и канет крахом
Наставшее благополучье?

И в рассуждении былого,
Морщинистого и седого,
Не хочет он сказать ни слова
Хорошего или худого.

Томятся робкие сердечки
Перед часами, на которых
Звучат секунды, как осечки...
И хорошо: не вспыхнет порох.

И раздаются песнопенья:
— Будь так любезно, сделай милость,
О настоящее мгновенье,
Не утверждай, что ты свершилось!

НЕИЗВЕСТНЫЙ МАЛЬЧИК

Рассказывай,
Люблю твои рассказы,
Как вышла ты, румяна от мороза,
Встречать Михайлу с рыбного обоза.

Рассказывай,
Как в детской на Немецкой
Играл мальчонка вроде арапчонка,
И как на «ваньках» ездили дворянки,
И как трамвай пришел на смену конке,
Как вырос «Яр», и как возникли банки,
И как померкли древние иконки...

Рассказывай про келью богомаза
И про гурьбу ребят из ВХУТЕМАСа.

А я гляжу:
Давно, быть может, в мячик

У глобуса играет на Болоте
Какой-то мальчик,
Или этот мальчик
Не в поезде, так прямо в самолете
Примчался, чтоб вскарабкаться выше
Всех мудрецов с библиотечной крыши —
Бородачей, влияющих могуче.
И о тебе
Он сам расскажет лучше,
Чем этих зданий дымчатые кручи,
Чем над тобой пронесшиеся тучи,
Чем под тобою высохшие топи,
Чем о тебе воркующие птицы,
Чем эта моль,
Которая гнездится
В твоём музейном
Бархатном
Салопе!

* * *

Ноябрь
Сорок восьмого года,
Одетый в пурпур и виссон...
И вновь звучит вошедший в моду
Унылый вальс «Осенний сон».

И небо в тяжелейших тучах,
И на семи своих холмах,
Как на семи волнах зыбучих,
Несется город, весь в домах.

Куда несется? Несомненно,
Вперед, в грядущее плывет...
Вся эта каменная пена
Вскипает, булькает, живет.

Плывут, как выплыв из преданий,
Едва ворочая рули,
Торжественных высотных зданий
И древних храмов корабли.

Плывут старинные усадьбы
С их мрамором и кирпичом...
...Вот с Лениным потолковать бы
В такое время кой о чем.

О новостях в литературе,
Да и об атомном котле,
И отчего такие бури
Не утихают на земле.

ЗАОЧНИЦА

— Я не глупая и не тупая, —
Девушка сказала, негодуя. —
В университет я поступаю —
На вечерний факультет иду я!

Уж простите, но не столь глупа я —
Малышам одним давать уроки.
Я на философский поступаю! —
И румянцем загорелись щеки.

— Там я диалектику усвою,
А для молодого поколения
Это ведь оружие боевое!
Словом, подала я заявление.

Верно! Кто же может быть умнее
Девушки запальчивой и нежной?
И попробуй потягаться с нею
Ты, схоласт, догматик безнадежный!



И снова осень. Велосипедист,
Пригнувшийся к своей дрожащей раме,
Несется, как осенний пестрый лист,
Подхваченный вот этими ветрами;
И девушка, которая в кино
Играла чеховскую Анну,
На перекрестке встречена неожиданно,
Напоминает осень все равно.
В комиссионке рыжая лиса,

Зелено-красный желудь в светофоре —
Все подтверждает, что наступит вскоре
Сентябрьский день.

И даже голоса,
Которые стремительной весне
Спешат пропеть хвалу свою простую,
И там и тут напоминают мне
Про ту же осень
Сытно-золотую.

КОРЕНЬ ЗЛА

Вот он, корень,
Корень зла!
Ох и черен
Корень зла!

Как он нелюбезно
Смотрит с круглого стола,
Этот самый корень зла!

— Надо сжечь его дотла,
Чтоб исчез он безвозвратно!

— Ну, а если не поможет
И опасность лишь умножит
Ядовитая зола?

Побоялись уничтожить!

И опять колокола
Бьют тревожно и набатно,
И скорбей не подытожить,
И отравы садит пятна
На болящие тела.

Неужели же обратно
Закопают
Корень зла?

МИКРОБЫ

Какие-то слухи,
Неясные очень,
Что кто-то на что-то не уполномочен,
И кто-то не слишком приветливо встречен,
А кто-то и вовсе не будет замечен.

Я знаю,
Откуда ползут эти слухи,

Что мы только нулики в пухлом гроссбухе
И лучше, прекрасней, всего безопасней
Ловчиться влачиться в пыли и во прахе.

Я знаю,
Кому эти нравятся басни,
Я чую, откуда звучат эти песни,
В каком это смысле, в каком это духе

Внушаются страхи:
— А если, а если
И мертвый не мертв, да и мы не воскресли! —
Я знаю, в каком это грезится кресле.

Прекрасно я знаю об этом,
Еще бы!
Все это — отрыжка из рыхлой утробы,
Где вызреть в гигантов мечтают микробы.

* * *

Все выскажу,
Не следует откладывать
Слов в долгий ящик: там не сыщешь их,
И вообще не следует обкрадывать
Себя, а следовательно, и всех других.
Да и с какой же стати буду робче я
Машии грохочущих и певчих птиц?
История есть достоянье общее,
А не каких-нибудь отдельных лиц.

ЛЖЕТЕ

Видеть
Время, проходящее
По назначенному кругу,
Понимать происходящее —
Редко ставилось в заслугу.
И еще гораздо менее
Поощрялось, позволялось
Предугадывать затмения,
Но и это вычислялось.

Словом, хочется не хочется,
Как бы вы ни волновались,
А великие пророчества
Неминуемо сбывались.
Вот над этим мир и трудится.
И когда свистите, ржете:
Мол, не выгорит, не сбудется,
Думаю спокойно:
«Лжете!»

Елена БЛАГИНИНА

БЫЛА И БУДУ

Ты, война, меня не повалишь,
Я — из ванек-встанек!
Ты мне хлеб сухой жевать велишь,
А я его — как пряник.

Ты мне воду в ледяном ковше
С крутого овражку,
А вода всегда мне по душе,
Я ее — как бражку!

Ты морозы обещала мне,
Сулила бураны...
А зачем рисуешь на окне
Пальмы да бананы?

Ишь как растрещались какаду,
Раздышались розы!
Хорошо в тропическом саду
В такие морозы!

Ты мне домовиной все грозишь
Да тяжелой глиной.
А меня ничем не разразишь —
Ни бомбой, ни миной!

Потому что жизнь нельзя убить,
Ну никак, хоть тресни!
Как была я, так и буду быть —
В хлебе,
в воде,
в песне!

ЮНОСТЬ

Не флагами, не горнами
На лагерных кострах...
Ты вместе с беспризорными
Тряслась на буферах.

По-воровски калякала,
Ругалась матерком,
Просила хлеба, плакала,
Хворала сыпняком.

Россией, припорошенной
Подсолнечной лузгой,
Шаталась позаброшенной,
Голодной и нагой.

Бесхлебица, бессолица,
Без солнца, без луча...

Ты сделалась бессонницей,
Заботой Ильича.

Картежники, охальники,
Курильщики махры!..
Тебя тащил Макаренко
За светлые вихры.

Тебя рожали с мукою,
С натугой волокли...
И стала ты порукою,
Опорой многорукою,
Заступницей,
Защитницей,
И кузницей,
И житницей,
И будущим земли.

ДЕРЕВО

Я любила проснуться
На ранней заре,
Чтоб скорей прикоснуться
К стволам и коре.

Чтобы нюхом и слухом,
Рукой и щекой
Ощутить их покой,
Насладиться их духом.

Чтобы в свежести, в шелесте,
В переплеске теней

Не забыть нам о прелести
Остающихся дней.

Не забыть нам о милости
Мира сего...
Чтобы дереву вырасти,
Нужно много всего —

Много соков земных,
Много теплых ночей,
И горячих лучей,
И дождей проливных.

ХЛЕБ

На свете я видела хлеба немало —
Крестьянка его из печи вынимала
И клала на стол, осеняя крестом,
И он отдыхал, покрытый холстом.

В горнице пахло сильно и сладко,
Хлеб грозным казался, как имя отца.
За трапезой ели его без остатка:
Ни корки, ни крошки — ломоть до конца.

На свете я видела хлеба не много —
Его отмеряли так скудно, так строго.
Его запивали крутым кипятком,
Его называли не хлебом — пайком.

С соломой, с мякиной, с трухой, со жмыхами,
Он все же казался желанней всего!
И матери тайно и тяжело вздыхали,
Когда на частицы делили его.

На свете я видела хлеба разливы —
Мешки, бункера, элеваторы, нивы...
Он золотом лился, волною бежал,
Горой на токах деревенских лежал.
И если примечу кусок в небреженье —
В грязи придорожной, в подножной пыли,
То самое первое сердца движенье —
Поднять и спасти это чудо земли!

Николай ТИХОНОВ

ЦЕЙЛОНСКИЕ СТИХИ

РЫБЫ В ПУТИ

Солнце только что встало,
Прохладой текли небеса,
Многоцветно сверкала
На утренних травах роса.

Средь диковинок многих
Я увидел и новую тут:
Рыбы шли по дороге,
Оставив свой высохший пруд.

Не пугаясь меня,
Они шли спотыкаясь в сады,
Как верблюды, храня
Небольшие запасы воды.

По зеленой дороге
Они шли у крестьян на глазах,

И в оранжевой тоге
Пропускал их спокойно монах.

Не смотрели на жаб,
Неподвижно сидевших в траве,
Лишь движением жабр
Обходили их сбоку — правой.

И я видел — добьются,
Дойдут, чтоб на свежей заре
В новый пруд окунуться,
Омыться в живом серебре.

И я знаю: чтоб лучше идти,
Они пели в родной стороне
Свою древнюю песню пути,
Но — увы! — непонятную мне!

СИГИРИЯ

(Львиная скала)

Высоко над людьми, над долиной,
Где царя был цейлонского трон,
На скале Сигирийской, на Львиной,
Я сидел, тишиной окружен.

В дымке джунглей блестели потоки,
И неслышно текли времена...
Шпиль мерцал золотой на востоке,
Гор Кандийских на юге стена!

И холмы подымались крылато
В облака лиловеющей мглы.

Видел то я, что видел когда-то
Тот, кто был здесь владыкой скалы.

Как на снов отоснившихся склоне,
Видел север и мальчика я,
Что когда-то мечтал о Цейлоне,
О немыслимо дальних краях...

А теперь все немыслимо близко —
Старый путник на старой земле,
Я стоял на скале Сигирийской,
На пустынной, на Львиной скале!

Два слова в дополнение к цейлонским стихотворениям. Сигирия — это дворец на Львиной скале, вернее руины. С тронного места открывается удивительный вид во все стороны.

Рыбы идут действительно по дороге. Это одно из поразительных явлений природы острова. Эти рыбы называются «анабас сканденс». Они переходят на небольшое расстояние, оставив высохший пруд, в пруд, где есть вода. Они небольшие — в длину 10—15 сантиметров. У них имеются особые мешочки, наполненные водой. Ею они увлажняют свои дыхательные органы.

Подобные рыбы есть у нас на Кавказе, на Пщундском мысу. Там есть озеро, берега которого густо заросли тростником. Эти рыбы выходят из озера и бродят по берегам.

Автор

ОБРАЗ ПОЭТА

(О Важа Пшавела)

Поэта образ, он живет среди прочих,
Он вовсе не спускается с высот,
Он в миг любой придет, и днем и ночью,
Как только его сердце позовет.

И близко мне, не знаю почему,
На север вдруг пришедшее виденье:
Чаргали, погруженное во тьму,
Важа в его ночном уединенье.

И он сидит, склоняясь пред огнем,
На табуретке низкой и трехногой.
Мрак за окном, и в комнате, и в нем,
Как молнией, прорезанный тревогой.

Огонь все ярче, сердце горячей.
Задумался ль отшельник темноглазый
Над прошлым, что покрыто бранной славой,
Над тайной, что открыл ему ручей,
Над сказкою, что нашептали травы?

Ведь горы не скопленья мертвых плит,
Они живые, как леса и воды.
Он человек, с которым говорит,
Как мудрая сестра, сама природа.

И вот уж стих, как молния, рожден,
Как птица, он, проснувшись, шумно дышит.
А тот писал: месх из Рустави он.
«Пшав из Чаргали», — здесь поэт напишет.

И сладостно я думаю о нем
И вижу то, что не увидит всякий:
Ущелье, потонувшее во мраке,
И мир вдали, за каменным хребтом.

Там буря и дробятся чувства века,
Здесь тихая героев сторона,
Такая цельность ночи, человека,
Огня и камня, счастья, горя, сна!

МИРЗО ТУРСУНУ-ЗАДЕ

(В день пятидесятилетия)

Ты вступил в тот волнующий возраст,
Когда жизнь будет бурно цвести,
Когда ближе нам кажутся звезды,
Ниже — горы, короче — пути!

Когда ум шевелить начинает
Давних мыслей и чувств вороха
И, как добрая весть, восхищает
Восходящая сила стиха!

Глубже самых сердечных приветствий
Нашей песенной дружбы итог:

Сколько прожито, видно вместе,
Сколько пройдено вместе дорог!

Я хочу, чтоб в грядущие годы,
Откликаясь на времени зов,
Новым грозам, горам и народам
Ты читал свои строки, Мирзо!

Чтобы снова дорога кружила,
К тишине и покою глуха,
До конца чтобы с нами дружила
Восходящая сила стиха!

• • •

Светлана ЕВСЕЕВА

ЗАЩИЩАЮ ДИПЛОМ

Я — как оброненная лента.
Паркет. Высотный потолок.
Стол кумачовый. Оппоненты,
Поэт, проректор и парторг.

Листают книжечку простую,
Диплом мой — юности итог.
На красный цвет гляжу вплотную,
Как смотрят в атомный глазок.

Там, за сегодняшним пределом,
День отошедший — свет и мгла.
Я вижу: ваша жизнь горела,
Корежилась и вновь цвела.

Вы одолели годы странствий,
Покой, манивший как магнит.
Вот мой диплом. В его гражданстве
Не сомневайтесь ни на миг!

* * *

Луч утренний!
Ты мною пройден.
А это что за колея?
Я уезжаю в трудный полдень.
Прощай, Москва, любовь моя!

Я знаю: зрелость где-то близко,
Спокойной твердости секрет.
Сил не потрачу на прописку,
Недель — на суету сует.

На созерцанье «звезд»,
На знание,

Кто как одет, кто как любим.
Есть у меня соревнованье
Сегодня с прошлым днем моим.

О, как провинция богата,
Как небосвод ее высок!
Нет, не в столице строит атом
Свой каждый новый городок.

Сверх нетерпения, сверх плана
Трудиться буду допьяна.
Там Ясная моя Поляна...
Прощай, Москва, любовь моя!

МОСКВА

В юрту я почтительно вошла,
Как в Москву, высокую столицу.
Украшали юрту олаша,
Тканые руками мастерицы.

И теśmy густая пестрота,
И монеток спутанная масса.
Жизнь пастушеская проста:
Сыр овечий, молоко да мясо.

У Гульджан, пастушеской жены,
Очи — как у женщины Каира.

Волосы ее — такой длины
Были б дни спокойствия и мира!

А взмахнет ресницами — легко
Ветер долетит до Тегерана.
Близко Тегеран, но далеко,
Словно изречение из Корана.

Юрта, юрта — ужин и ночлег,
Одеяла, пологи из ситца!
Здесь Москва. Где дышит человек,
Там его походная столица!

КАЗАХ

Колодцы в песке
разглядывает,
следы на песке
разгадывает,
на силу овец
рассчитывает,
родню, как овец,
пересчитывает.
Следом
в песчаных облаках
скачет родня
на осликах,
собаки бегут

раздраженные,
верблюды плывут
нагруженные.
Вот где земля съедобная!
Вот где вода свободная!
Вот где нам жить!
Подумают,
выпьют чайку,
послушают
песенника-затейника.
Ждут они зоотехника...
Мухтар молодой под праздники
муку привезет на «газике».

МАЧЕХА

Ее детей я нянчила,
В избе полы скребла.
Отчаянная мачеха
В чашобу завезла.

Я, как подсолнух, лузгаю
И холод и озноб.
Зачем ты, заскорузлая,
Меня вгоняешь в гроб?!

Смеешься, самовластная:
«Жизнь — это кто кого!»
...Стоят леса согласные —
Один за одного.

Под ветром все качаются,
Все мокнут под грозой.
Там, где один кончается,
Уже растет другой.

Здесь жизнь моя, жизнь ценная,
Ценней бобров и лис.
Мой лес! Твоя всецело я,
Я твой листочек, лист!

Ты, мачеха, не рыскай!
Навек прощай-прости!
Тебе в лесу российском
Меня не извести!

ПОЭТЫ

Поэты умирают без любви.
Любимые! Живите постоянно.
Куда сворачиваешь? Гляди!
Вот чистота. Вот верность. Вот Татьяна!

Наталья удостоена руки.
И шлейф ее — опалы царской версты,
И драгоценности ее — долги —
Сверкают, как бессонницами звезды.

Краса такая — високосный год,
Редчайшее явление кометы.

Дверь для нее — на бал парадный вход.
Легки ступени, словно комплименты.

Рванула бы Татьяна эту дверь,
Вскарабкалась бы на гору, на бурю,
Успела бы, явилась на дуэль,
Губами, ртом перехватила пулю!

Рукой откинула смертельный залп!
...Еще идет по улицам московским
Та женщина, которую искал,
Которую не встретил Маяковский.

ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

Иоганнес Р. Бехер, оставивший нам наряду со стихами и интересные размышления о них, в заметке, озаглавленной «Вместо завещания», призывал собратьев по перу защищать поэзию внутри ее и за ее пределами. Защищать ее «от всего и от всех, кто враждебно относится к ней и старается уменьшить ее ценность, подделать ее». Защищать ее от клеветников и преследователей, а иногда и «от самих поэтов, которые забывают о вечной действенности великой поэзии и в угоду преходящему вкусу унижают поэзию до таинственного важничанья, до самодовольной, сентиментальной болтовни или до жалкого рифмоплетства», а также до «фокусничанья и манерности». По мысли Бехера, «линия защиты поэзии проходит всюду, и позиции ее обороны выдвинуты туда, где защищается право на самую жизнь, на человеческую жизнь для всех, где защищаются мир и свобода!»

«Завещание» немецкого поэта представляется весьма целенаправленным и своевременным. Действительно, надо защищать поэзию. И не от физиков, не от экспансии науки, не от инженера И. Полетаева или скоромыслящего литературоведа В. Турбина. Нет, линия защиты поэзии прежде всего должна постоянно существовать внутри самой поэзии. Ибо, говоря по совести, с внешней стороны ничто ей не угрожает. Каких бы чудес ни производили наука и техника, какой бы высоты они ни достигали, как бы быстро ни развивались, пока существует человек и человеческие переживания, им неотступно будет сопутствовать поэтическое слово. Человек и поэзия неразлучны. Песня (пусть иногда беззвучная) не может покинуть его, и он не может расстаться с ней. Поэтический образ емок, подвижен, изменчив, многозначен. И поэтому универсален. Логическое же понятие, наоборот, тем лучше, чем неподвижней, устойчивей, ограниченно точней. У них разные призвания.

Неверно, однако, думать, что чувства и мысль выступают как враждующие начала, что поэтический образ включает в себя лишь мир эмоций, отбрасывая все связанное с мыслью. Между эмоциональным и рациональным (или интеллектуальным) нет железного занавеса. Эти две стихии в поэзии взаимопроникают, выступают в органическом единстве — гармония между чувством и мыслью уже сама по себе есть поэзия.

Кстати говоря, все страхи об упадке интереса читателей к поэзии ни на чем не основаны. Ни Блок, ни Маяковский, ни Есенин при жизни и думать не могли о таких тиражах, какие сегодня в ходу. Большинство книг Есенина при жизни поэта имело тираж от тысячи до 5 тысяч экземпляров. Максимальный тираж, какого удостоился Есенин единственный раз, — 50 тысяч: в таком количестве были изданы его избранные стихи «Библиотекой «Огонька» в 1925 году. Уже после шумной славы посмертно первое четырехтомное собрание сочинений вышло тиражом только в 10 тысяч экземпляров. Тираж ныне издаваемого пятитомника — полмиллиона.

А сколько сегодня молодежи собирают вечера поэзии! А как молниеносно раскупаются книжки стихов целого ряда современных поэтов! Нет, решительно не от кого защищать поэзию с внешней стороны. Красная линия защиты ее должна проходить внутри самой поэзии.

С этой точки зрения очень показательны два стихотворения, недавно появившиеся в печати. У них одинаковые названия — «Слова» Д. Самойлова («Новый мир», 1961, № 12) и «Слово о словах» А. Твардовского («Правда», 5 мая 1962 г.).

На небольшом стихотворении Д. Самойлова — отблеск того погожего осеннего дня, когда сентябрь «задумчивый, но не печальный», справляя свои торжества, внушил поэту мысль о том, что «в мире нет затертых слов или явлений». Именно поэтому он любит обычные слова. Они привлекают, манят его, «как неизведанные страны». Поэты призваны протирать слова, как стекло, очищая их от наносного, раскрывая первоначальное значение, которое было со временем затуманено. Не выпреннее слово «ветр», а обычное «ветер» представляется ему поистине необыкновенным.

На первый взгляд может показаться, что снова ниспровергаются слова высокие и возвышаются слова низкие. Но в действительности не об этом речь, содержание стихотворения шире. Полемический план его философичней, глубже. По мысли автора, слова обыденные, тусклые преобразуются вдруг в стихе, начинают жить истинной жизнью, расцветаются изнутри. Поэт говорит, что самые обычные явления переживаются вновь и вновь, он утверждает вечную новизну жизни, красоту, разлитую вокруг нас. Д. Самойлов защищает линию поэзии — и не столько от затуманенных и выпренных слов и словес, сколько от равнодушия, от поверхностной работы тех, кто не видит глубины явлений, их существа, которое «до самых недр взрывает потрясенный гений».

А. Твардовский свое «Слово о словах» посвятил также защите поэзии, еще более укрепив позиции обороны. Его пафос против суесловия. «Все есть слова — для каждой сути». Они ведут на бой и труд, жгут, как пламя, светят вдаль и вглубь. Кошунственно подменять их словесами, «слова-труха», «слова-утиль» опасны и вредны. Слова поэта должны быть напоены кровью сердца, одухотворены разумом, нельзя попусту трезвонить ими. Пора ограничить трату слов, вспомнить о том, что «слово — это тоже дело».

«Слово о словах», напечатанное в «Правде» в день ее славного пятидесятилетия, приобретает двойной вес. Как было бы хорошо, если бы оно служило всегдашним напоминанием о зле пустословия, предупреждением тем, кто поставляет с легкостью «дежурные оды». Известно ведь, что к последним газеты наши, а нередко и журналы питают неизлечимую слабость, не проявляя заботы о художественной силе стихов.

Все это так. И все же полного удовлетворения не дают названные стихотворения. Видимо, потому, что есть еще один угол зрения, о котором забывать нельзя. У Д. Самойлова мир поэзии ограничивается тем, что поэты протирают, как стекло, обычные слова, стремясь восстановить их начальный смысл. Да, верно, это нужно. Но не принимается ли здесь часть за целое, не забыты ли другие возможности поэзии? Ведь главное ее достоинство — сказать новое слово о своем времени. Сказать новое о новом по-новому. Для выполнения такой задачи «программа» Д. Самойлова может показаться явно недостаточной. Очевидно, что есть много поводов к тому, чтобы поэту сегодня вырваться из круга обычных слов и явлений. Перед ним распахнуты горизонты, незачем искусственно их сужать. Будем помнить — здесь также пролегает линия защиты поэзии.

Нельзя целиком безоговорочно принять и позицию автора «Слова о словах». Обращаясь к родине, он говорит: «Я, может, скупо применяю слова мои к делам твоим». Эта скупость оправдана желанием всячески остерегаться пустой траты слов. Но в дальнейшем не слишком ли многое оправдывается этой благородной скупостью? Читаем: «Стыжусь торчать с дежурной одой перед твоим календарем». Можно подвергать

сомнению и «оды», и их качество. Но отвергать потребность жить сегодняшним днем, его запросами — одну из плодотворных традиций советской поэзии — более чем странно. Напоминаю только, что «Хорошо!» В. Маяковского написано к десятилетию Октября.

Можно и нужно, чтобы газеты и журналы не печатали слабых, пу-стозвонных стихов. Но разве не ценно само их желание предоставить в праздник слово поэтам?

А. Твардовский, чувствуя, что родина не во всем оправдывает его «скупость», пишет: «Мне горек твой упрек напрасный». Напрасный ли?

Нет, решительно нельзя согласиться с тем, что оперативная работа поэта в наше время изжила себя. Работа «на календарь» приковывает внимание к событиям текущей жизни, усиливает поиск, обостряет чувство нового.

Стыдиться календаря, пренебрегать им — крайность, а всякая крайность неверна. Забота о высоком качестве поэзии предполагает чуткое, заинтересованное отношение к современности во всех ее проявлениях. Защищать качество поэзии, не думая о текущем дне, о живом источнике ее, вряд ли возможно. И в этом случае вспоминается простая истина: силы поэзии одинаково сковывает как чрезмерная приверженность традициям, так и полный отрыв от них.

Впрочем, там, где речь заходит о традициях и новаторстве, там не ищите ясности. Эти два слова принадлежат к числу тех, которые надо долго и тщательно протирать (по рецепту Д. Самойлова), чтобы стало наконец понятным их истинное значение.

Есть люди, готовые любой новаторский шаг объявить лженоваторским. Они отстаивают привычную, примелькавшуюся гладкопись и верность устоявшимся канонам. Такие противники нового ставят под сомнение самые поиски. «Лженоваторы и их покровители пытаются оправдать свои литературные фокусы необходимостью поисков новых форм. Наивные и смешные увертки!» — так пишет газета «Литература и жизнь» (от 16 мая 1962 г.). В той же газете (от 13 мая 1962 г.) С. Смирнов называет интересные поиски В. Солоухина и Е. Винокурова «натуралистическими подстрочниками, выдаваемыми за белые стихи», и грубо спрашивает: «Где вы заразились этой ложной «поэтической инфлюэнцей», зачем она вам?»

Такого рода глухота и жесткость вызывают ответную волну. А. Вознесенский, усердно работающий в области обновления стиха, начинает кидаться злыми строками:

Люблю я критиков моих.
На шее одного из них,
Благоуханна и гола,
Сияет антиголова! . .

Или в полемическом азарте заявляет, что «...лучшие традиции — это новаторство».

Конечно, не все, что сделано А. Вознесенским в поэзии, можно записать ему в актив. Нередко он переигрывает, увлекаясь внешней стороной стиха, как бы забывает о его содержательности. Но достижения его острого поэтического зрения и большие возможности очевидны.

Поэзию надо защищать от тех, кто не чувствует, что старое устарело. И от тех, кто не видит разницы между тем, что подлинно ново, и тем, что прикидывается новым. Но, так или иначе, защита должна быть на стороне нового, новаторства.



Василий КАЗИН

СТИХ О ПАРТИИ

I

Есть мысль у каждого в народе
Излить любовь к ней,
Да, ей-ей,
Сказать все доброе о ней
Куда как просто в обиходе,
А мне вот с музой вкупе
Вроде
И нет премудрости сложней,
Как нет и миссии важней.

Да весь наш век в ней как в портрете!
И, жадный мученик на свете,
Поэт,
Ведь ты в таком ответе,
Хоть и не в звании вождя!
И вот, и вот за строки эти
Берусь я,
Как к обрыву дети,
С опаской к теме подходя.

И пусть в их форму,
Как в оправу,
Я взял, мол, партию по праву,
А в суть-то взять —
Да черта с два:
А вдруг противу естества
И вопреки рассудку здраву
Да и всажу ей лезть в приправу,
А вдруг я в честь ее и славу
Да и засахарю слова?

Ну к ней ли лезть
С дешевкой сладкой,
Кто шла стезей, такой негладкой,
Кто и бросалась в бой солдаткой
И кто работала как вол,
С кем с юности сквозь комсомол,
Сквозь век, что на руку тяжел,
Как с другом,
Как с родною маткой,
До самой старости дошел?

Я шел с ней в ряд,
И любопытно:
И даже лирикою слитно
В ее вливался монолит,
Хоть стойкостью и не гранит,

Хоть и доселе как-то сбит
Мне в душу брошенными скрытно
Булыжинами злых обид.

Но не пенял я за обиду
На партию, как на планиду.
Ну, не глупей же я глупца.
Ведь партия, сурова с виду,
И впадшим в грех нам
В Немезиду
Не превращалась, а, с лица
Меча подчас и гнев в сердца,
За нас болела без конца.

За нас болела с чуткой лаской,
Сама измучиваясь вся,
Россию хваткою бурлацкой,
А то и силою солдатской
Из тьмы,
Из голодухи адской,
Из мук разрухи вынося.

Чутка к стране многострадальной
В таких вещах,
Как хлеб, крупа,
Вела ее со сметкой дальней:
Чтоб с гордостью национальной
И глушь гремела наковальной,
Ей тяжестью индустриальной
Хребет могущества крепя.

Вела,
А враг был всякой масти.
Но, диктатуры голова,
Но, голова рабочей власти,
Переборола все напасти,
И не отчасти, не отчасти,
А полностью для торжества,
Для счастья масс и в яркой страсти
И в беспощадности права.

Войдя, как родина, в сознание,
Возглавив сил ее дерзание,
Вела нас, Ленина создание,
Вершить-то мирные дела,
В стремительнейшем нарастание
Фашизмом двинутого зла
Особо мирностью светла,
И в злейшее нас испытание
Победоносно повела.

II

Уж были с ней у переправы
 К богатству.
 Но, став сразу хмур,
 Век бешено, как самодур,
 Столкнул вдруг насмерть все державы,
 А две у нас-то, у заставы,
 Сшиб как столпов и разной славы
 И столь же разных диктатур.

Ох, как сперва пришлось нам туго!
 У многих, кто и не пуглив,
 Патриотический порыв
 Споткнулся в приступе испуга.
 Ворвался враг,
 У нас, подлюга,
 У нас, коричневый хапуга,
 Полродины вдруг отхватив.

И было дико это диво.
 Ведь вождь сказал же горделиво:
 Как пятью пять, мол, двадцать пять,
 Так и врагу у нас не взять
 Родной земли хотя бы пядь.

Сказал же он, под стать железу.
 А враг на Волге.
 Вот те на!
 И испытала ж тут страна,
 Как остро,
 Как ей до зарезу
 Вся твердость партии нужна!

А что ж она-то? Как тогда я
 Допытывался! А родная,
 А ведь она, она-то, брат,
 А партия, невозможная
 Всю боль невыносимых утрат,
 Такой удар за весь захват
 Готовила,
 Что, мать честная,
 Врагу стал гробом
 Сталинград.

Сошлись тут: сталью
 В сердце стали
 Бить так, что сотрясались дали,
 И стало туго, но врагу.
 Ну как он, гад, орал вначале,
 А о блицкриге ни гугу!
 И уж не с Волги гнали —
 Стали
 На Шпрее, там, на берегу,
 Победно гнуть его в дугу.

III

И вновь он вырос до фигуры
 Могущественней прочих глав,
 И вновь во всем не мудро ль прав,
 Войдя уж в век, как в сук бурав,
 С правительственной верхогуры
 Главу фашистской диктатуры
 В нору как в смерть саму загнав?

И как же она рада, рада
 Была, страна!
 Ну верх же, верх,
 Верх радости!
 И блеск наряда —
 За фейерверком фейерверк!

И образ Сталина не мерк.

Но век-то вышел на поверку
 И не дал даже фейерверку
 Укрыть всю ту неправоту,
 От коей,
 Свергнувшейся сверху,
 Всем было нам невмоготу.

Он и в огнях салюта
 Круто
 Стремил страну.
 От действий тех
 Мне было жутко самому-то.
 Но, чтя как мага-абсолюта,
 Считал корить его за грех.

И при малейшей же зацепке,
 Как Дон-Кихот,
 Я в схватку лез:
 Ну что ж такого-то?
 Ведь щепки
 Летят,
 Когда, мол, рубят лес.

Добро бы щепки, в самом деле,
 А то ведь в муки-то, в метели,
 Во мглу тех далей,
 Хмурия взгляд,
 С тепла полуночной постели,
 Глядишь, и гении летели,
 Не возвращаясь к нам назад.

И в мысль мне всяко лезло,
 Всяко.
 Ну и слепец же был, зевака!
 Да вождь не виделся ль двояко?
 Не из-под лютого ли мрака
 Вдруг демоном ее порой
 Взмывал он,
 Столь блестящ, однако,
 Как революции герой?

Заслуг его не скинешь гору.
Он смел был волей.
Воля в нем
Имела лучшую опору:
Он подпирал ее, нет спору,
Трудом, что и троим бы впору,
И острой жесткости умом.

Таким умом,
Что сквозь суровость,
Бывало, как мечом, вопрос
Вскрывал да так себя вознес,
Да, черт возьми, такую внес
При всем при том в нас нездоровость,
Что всей державой аж до звезд
А ну трубить ему в засос:
Мол, он колосс,
А мир пред ним — молокосос.

И в спешке дел
И в песне звонкой
Все выше рос он что ни день,
Кто, как бы век закрыв заслонкой,
Кажись, готов был славы гонкой
И Ленина отбросить в тень.

А смерть
Вдруг самого сурово
Во тьму отбросила из крова.
И страшен же был, право слово,
Он, смертью подводя итог,
Той правой смелостью Хрущева
Уже развенчанный как бог!

Пусть осудил Хрущев и строго,
Но как помог беде он много!
И с щедрой помощью его

Семьей отечества всего
Пошли бодрее мы с порога
Под тяжесть века своего.

И веку тяжести огромной,
Истцу горячности атомной,
Платя нещадных сил трудом,
Пошли с той гордостью подъемной,
Что скоро мы и к счастью в дом,
Как начертал нам съезд о том,
Войдем, товарищи,
Войдем.

Войдем.
И, может быть, со мною
Войдет и этот стих в него,
А коль, случись, до дня того
Уж и навек глаза закрою,
Уйду навек —
Так ничего.

Так пусть один
С негромким звоном,
Со скромностью немногих строк
Войдет он к счастью на порог,
Мой стих,
Что в рвении бессонном
Сложил для партии, как смог.

Она, великая забота,
Сама работая до пота,
Даст бог, и не предъявит счета,
А, вспомнив о таком грехе,
Простит,
Коль как старик чего-то
Я так и не донес в стихе.

ЕЛКИ

То ль спасаясь от дорожной пыли,
То ли мало им своей земли —
Темнокожей массой подступили,
Прямо они к дому подошли.

Ухватив ветвями за наличник,
Зашумели все в окно мне:
Что ж,
Что ж ты, лирики одиночник,
Все про солнце весело поешь?

Словно каждая стволем тяжелым
Припереть мне душу собралась:

Уж не с барства ль со стихом веселым
Спеть про нас, угрюмых, не горазд?

Но хоть, знать, дикарства бить с нахрапу
И набрались у зверья в лесу,
Вдруг одну из них беру за лапу
И тряску по-дружески, тряску.

Что вы, други! Полно.
Уж давно вот,
Уж давно вот, как и вы, немолод,
Я ль, угрюмые, вам не под стать?
Я и сам весь иглами исколот,
Да вот вам их, елки, не видать.

И КАК ЖЕ ТЫ СВЕТЛА!

Как ни прост во всем,
Судьба мне в дом
Не кого-то и не что-то прочее,
А ввела в твоём лице одном
Как бы солнышка сосредоточие.

И хоть ты лицом не божество,
Я дивлюсь ему,
Как в чудо вглядываясь:
Как в роду народа свет его
Сквозь века прошёл,
Мне в счастье складываясь!

И не чудо ль:
Не сходя с крыльца,
Льешь такую бодрость
Сникшей жимолости,
Что вдруг вижу: этот дар лица
С искоркой
От божьей милости.

И не чудо ль:
Свет с лица в цветы
Льешь такой,
Что как им, сада гражданам,
Не взойти красивыми, как ты,
Так тепло тобой посаженным!

И не чудо ль:
Силою тепла
Так все выдержать мне
Помогла,
Что и в жизнь,
Нас бившую со зла,
Я смотрю с улыбкою
Отеческой.
Милая, и как же ты светла
Прелестью
Человеческой!

ВСТРЕЧА

И увидел я:
Ух какая!
И как уж издали зажглась
Соблазна вызовом, шагая
С чертовской взрывчатостью глаз!

Ворочала глаза, играла
Огромностью их, искрясь вся,
Как будто яркость карнавала
Собой и в будни нам неся.

И кто не бросился в ту жадность,
С какою сердце в бой рвалось

За красно-рыжую нарядность
Короной вскинутых волос?

И даже встретить, кажись, покойник —
Рванувшись снова в бытие,
Глядел бы, как огнепоклонник,
До новой смерти на нее.

И сам с такою же, с такою
Глядел я жадностью мужскою.
И как он был еще высок,
С уже склонившейся к покою,
С почти что прожитою мною
Всей жизнью в молодость бросок!



Анатолий БРАГИН

* * *

Быстро я становлюсь мужчиной,
Сила входит, как в дерево сок,
Не сидеть мне теперь под лозинной,
Не ловить карасей на крючок.

Скажут люди:
«С ума, зная, спятил.
Ловит рыбку да пишет стишки.
Не мешало б тебе, приятель,
Поработать, понянчить мешки!»

Не пойти, не увидеть раздолий.
Почему-то стесняюсь людей,
Будто я не работал в поле,
Будто я не стерег лошадей.

Босиком, в равнодушные дали
Угоняя табун по росе,
Вырастал я. Меня не видали.
Вырос я — и увидели все.

ИЗБА

Моя халупа в три окна,
Кирпич старинный, рыжий. . .
Труба — ведро без дна —
Торчит на ветхой крыше.

И провода как повода,
Как будто столб сосновый
Избушку-клячу навсегда
Выводит к жизни новой.

А ей уж не к чему идти,
Как бабушке на танцы.
Прости, мой век, ее! Прости!
И не читай нотаций!

Ты ей сулишь водопровод
И газовую печку. . .
Она до них не доживет. . .
Поставь ей лучше свечку!

Михаил ШЕСТЕРИКОВ

ТРАКТОРИСТ ЕДЕТ НА СЪЕЗД

Лес да лес. Синих гор отроги.
И степей неоглядных разлет.
По сибирской далекой дороге
Электрический поезд идет.

Днем и ночью он гонит и гонит
И гремит над прогалами рек.
А в спокойном мягком вагоне
Отсыпается человек.

У него в мозолях ладони
И жарю лицо сожжено.
Он четвертые сутки в вагоне,
А в дороге он очень давно.

Подтвердить это можно фактами.
Из бесхлебных и бедных мест
Он еще на путиловском тракторе
Молодым поехал на съезд.

А дорога досталась длинная:
На глазах у худых мужиков
Он запахивал межи полынные,
Зарывал их на веки веков.

Ездил ночью, коль дня не хватало,
А за ним по безбрежью борозд
Рожь вставала,
Пшеница вставала,
Жизнь вставала и шла в свой рост.

Жаль, тогда война запылала,
Все обугливая на корню.
На партийный съезд по огню
Крюк пришлось ему дать немалый.

Жил он в балках, лесах, оврагах.
Спал в снегу. И остался живой.
Много тысяч верст до рейхстага
Он проехал на грузовой.

Воротился на землю колхозную,
Что едва кормила страну,
А потом через зиму морозную
Пробивался на целину.

Черный весь от жарыщи и пыли,
Молотил комбайном валки.

На лице его белыми были
Только зубы да глаз белки.

Эх, спросить бы у вольного ветра
За все вёсны, за все года,
Миллионами километров
Протянулась его борозда!

Сколько раз он своей дорогой
Обогнул бы тебя, Земля!
И немного, совсем немного
Остается ему до Кремля.

До того молодого зала,
Что посланцев партии ждет...
Уж на западных склонах Урала
Электрический поезд идет!

Игорь ВОЛГИН

* * *

Меня пугают подражательством:
«Твоя манера — не твоя!»

Доброжелатели дражайшие,
Кому же

подражаю я?

Я подражаю старым классикам
И подражаю молодым.

Я бью по всем звучащим клавишам
Стихов,

изменчивых как дым.

Я подражаю песне в полночи
И перестуку поездов.

Гудкам летящей «Скорой помощи»
В огнях оглохших городов.

Я подражаю травам ягодным
И зыби в медленных прудах.

Я подражаю

взрываю ядерным

В неподражаемых мирах.

О продувные плагиаторы!

Вам подражаний — не рожать.

А я,

весь мир беря в соавторы,

Бесстыдно буду подражать!

Я — как приемник:

Свист и шорохи,

Шальных разрядов трескотня,

Но шлет мне позывные все ж таки

Радиостанция моя.

И ничего не отражается, —

Самим все надо отражать.

И до чего же подражается.

И как непросто подражать.

3. ПАПЕРНЫЙ

НОВО КАК МИР!

Есть такая порода людей: для них все старо. В лице женщины они ищут морщины, в книге — реминисценции, в анекдоте — бороду, в преступлении — прецедент.

Что бы ни услышали, отвечают: «А!» Иногда — «Э!» Чаще всего — нечто среднее между «А» и «Э». Звук этот непереводим. Приблизительно он означает: а, бросьте, тоже мне, все это уже бывало, слышали.

Очень гордятся тем, что их «на мякине не проведешь». Поэтому во всем им чудится мякина.

Им рассказывают какую-нибудь историю, а они, не дослушав, предсказывают с несокрушимой убежденностью: «Вот увидите, она от него уйдет. Точно! Это уже проверено. Знаем».

Насколько интереснее и симпатичнее люди, которые всюду видят новое, особенное, именно сегодняшнее.

Один любитель музыки признавался, что каждый раз, когда он заводит пластинку с Шаляпиным, ему кажется, что вот сегодня Шаляпин поет не совсем так, как раньше. Хотя пластинка та же. Кто знает, может, он и прав — ведь он слушал в каком-то другом настроении.

Леонид Мартынов своими стихами все время хочет напомнить: мир нов.

Именно весь мир — как глобус, охваченный взглядом сразу, целиком, с океанами и материками, штилями и штормами, горами и облаками.

Мы говорим — «мировосприятие». Но у иного оно ограничено четырьмя стенами однокомнатной квартиры. Это уже, скорее, «квартировосприятие» или «квартировоззрение».

Двадцатый век жестоко посмеялся над невозмутимым английским изречением: мой дом — моя крепость. Он научил поэтов другому: мир — мой дом. «Отец по крайней мере миром!» Или, как у Асеева, — «Мой дом открыт сиянию звезд».

Биография XX века открывается первой мировой войной. Впервые с такой остротой люди почувствовали свою общепланетную взаимосвязь.

Мартынов пишет в предисловии к своему сборнику «Стихотворения» (1961):

«Гимназический учитель словесности еще пытался заставить меня учить «Тиха украинская ночь» и «Чуден Днепр при тихой погоде», но погода была не тихая. И вот именно тогда я, десятилетний ребенок, прочел стихи, которые определили мое будущее. Это были стихи Маяковского «Я и Наполеон», стихи о войне, стихи о современности, стихи, полные ощущения завтрашнего дня».

Что же это за стихи, определившие будущее?

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну?
Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Стихи говорили о том, что нет больше «спокойненьких», «тихоньких»

мест, и нигде нельзя отсидеться, и невозможно не думать о войне — она сама о себе напомнит: громадные глаза девушек кажутся военными прожекторами, а красные цветы истекают кровью, как «сердце, изодранное пальцами пуль».

Это был камертон, по которому Мартынов настраивал свой поэтический оркестр, чтобы затем исполнить вещи, мало похожие на стихи Маяковского.

Широко слушать мир — вовсе не значит рассеиваться. Поэзия невозможна без внутренней собранности. Стих как кристалл, выпадающий при большой концентрации.

Одно из стихотворений начинается:

Хочется
Сосредоточиться. . .

А заканчивает его Мартынов так:

Столкнуться с целым человечеством
И остаться
Все ж
Самим собой!

Читаешь иногда стихи, и тебе кажется: автор решил «столкнуться» с человечеством, и уже от одной этой мысли он исчез сам, стусевался, перестал быть собою. Еще бы! Тут, мол, разговор такого масштаба.

Мартынов, наоборот, настойчиво повторяет: не бойтесь говорить просто «на миру», не пугайтесь масштабов, человечность — это вовсе не камерность. «Расстояние не помеха ни для смеха и ни для вздоха».

И — не надо торопиться объяснять «целому человечеству» то, что ты еще не понял сам.

Иные поэты начинают думать не раньше, чем написана первая строка. Сочинил и размышляет: а что сказать дальше? Но бывает так: первая строка рождается как итог, она увенчивает собой долгое, упорное раздумье. Возникает как необходимость. Так начинаются стихи Мартынова. Их начало — продолжение невидимой, скрытой от читателя, но ощутимой внутренней работы.

Его стихи часто начинаются с восклицания — громкого и удивленного.

Замечали —
По городу ходит прохожий? . .
Мне кажется, что я воскрес. . .
Я понял!
И ясней и резче
Жизнь обозначилась моя. . .
Что-то
Новое в мире. . .
Что такое случилось со мною? . .

Он не столько говорит непосредственно о своих переживаниях («грустно», «томно», «больно», «весело»), о переливах настроений. Скорее, он сообщает, даже хочется сказать — провозглашает: о событии, открытии, перемене, о чем-то новом, важном и сокровенном.

В этом особенность лиризма у Мартынова.

Мы часто пользуемся общими, приблизительными определениями: лиризм, эмоциональная приподнятость, окрашенность, заразительность. Более подготовленные критики говорят: эмфатичность. Но суть не меняется. Написать о стихотворении: «Оно лирично» — все равно что сказать о человеке: «Он очень».

А что «очень»? В этом все дело.

Для Мартынова «переживать» неотделимо от «вдумываться», «постигать». А вдумываться для него прежде всего вслушиваться. Не верьте,

говорит он, ни в ночь, ни в сон, ни в покой, ни в безветрие. Сон — это не забытие, а дрема, чуткая, готовая к пробуждению.

...Заглавие стихотворения «Дрема луговая» звучит безмятежно, идиллично, с какой-то тихой напевностью. Вроде песни «Липа вековая».

Господи Исусе, чудно под Москвой
В Русе и в Тарусе, в дреме луговой...

И это «Господи Исусе», и негромкие названия русских городков — все настраивает на фольклорно-старинный, покойный лад. Но не обольщайтесь этой убаюкивающей «дремой». Сразу же нарастает тревога, смутное и неотвязное ощущение — будет дождь. Первый смерчок, первое грохотанье. Каждая следующая строка как маленький взрыв. Все громче. Вот уже «тарарахнуло» совсем рядом.

И последние строки:

И взлетит от грома
Мошек целый рой,
Как с аэродрома,
С дремы луговой!

В неподвижной «дреме» поэт расслышал гром аэродрома. И в этой контрастной звуковой переключке — характерность мартыновского видения и слышания.

С этим связана другая особенность. Вначале перед нами чистый, цельный мир природы. Она как бы наедине с собой. Затем этот извечный мир вытесняется иным — остросовременным, подчеркнуто сегодняшним:

То-то белокрыльник вовсе изнемог!
Будет в серый пыльник кутаться восток.
Смерчок еле эрмий,
предраассветно мглист,
Пронесется мимо, как мотоциклист.

Это не случайные сравнения.

Маяковский призывал выявлять «вещи вечного поэтического обихода» через современность:

«Старый поэт, определяя автобус, скажет:
«Автобус тяжелый, как ночь».

Новый говорит:

«Ночь грузная, как автобус».

О самолетах поэты часто писали: они пронеслись как вихрь. Мартынов пишет «наоборот».

Промчался вихрь, напитан дымной пылью,
Как будто бы, поджав стальные крылья,
Какая-то промчалась эскадрилья...

Весна у него «в лесах по пояс, как недостроенное зданье». В лесах по пояс — это деревья в разлившейся воде. И это же строительные леса. Образ возникает на пересечении извечного, природного и современного, сегодняшнего, «городского». В нем соединяются «дрема» и «аэродром», «восток» и «пыльник», «смерчок» и «мотоциклист», «вихрь» и «эскадрилья».

И образ не кажется искусственным, не распадается.

Дело, впрочем, не только в том, чтобы сравнивать «ночь» с «автобусом» (хотя и это характерная поэтическая примета). Можно говорить о «ночи» без всяких «автобусов», и все-таки это будет современный взгляд.

Мартынов любит уходить в мир природы, лесов, снегов, стужи, ледоходов и потрясений. Но это не «уход». Здесь нет прямых сравнений. Но ясно ощущается, что не только о природе речь.

Вспомним стихотворение «Вода». Оно помечено 1946 годом. Речь идет о непростой, о неживой воде — особой, специально очищенной, не

утоляющей жажды, не пахнувшей ничем. О воде — точном эквиваленте формулы H_2O .

Ей
Не хватало быть волнистой,
Ей не хватало течь везде.
Ей жизни не хватало —
Чистой,
Дистиллированной
Воде!

Стихи эти не оторвать от времени, когда столько было запруд на пути живой «воды».

Или коротенькое стихотворение 1954 года: о солнечном луче, который потеплел, перестал на все «коситься». Здесь, конечно, дата не «под» стихотворением, а в нем самом.

И в лучших стихах последних лет Мартынов заставляет осязать и видеть время. Прочитайте с этой точки зрения цикл, напечатанный в четвертой книжке журнала «Юность» за этот год («Во-первых, во-вторых и в-третьих...», «Начало эры», «Рукава», «Воспоминанья», «Сваливаются с луны», «Это не по моей и не по вашей вине», «Отмечали вы, схоласты...»).

Снова радуется поэт почти физическим ощущением бега времени, вращения Земли. Он смеется над схоластами, которые чествуют Птолемея, — Галилей ведь отрекся! — и над обывателями — покоя теперь нет и на Луне, даже на ее обратной стороне.

Еще один важный мотив звучит в этом цикле. Поэт не только торопит завтрашний день, заглядывает в грядущее. Он говорит о вчерашнем, о том, что невозможно просто забыть «негодное и злое». Вот, казалось бы, удалось, зашумело над головой древо «всезабвенья». Но листья шумят, как живые, и снова встают воспоминания и смотрят в упор.

Не забыл ли что-нибудь забыть?
Ведь такие случаи бывали!
...Нет! Воспоминаний не убить,
Только бы они не убивали!

«Все течет» — это значит совсем не то, что «все проходит». Все движется, напрасно цепляться за Птолемея, но неправда, что все бесследно убегает в прошлое. Поэт не хочет «всезабвенья», оно — та же «дрема», душевная тишина, безразличие, сон души.

Стихи Леонида Мартынова — всегда тревога.



Николай АСЕЕВ

С КЕМ ТЫ ЗНАКОМ!

С кем я знакомствую?

Со Стендалем,
с Пушкиным, с Гоголем, с Достоевским.
Да, но ведь эти из давней дали,
а на сегодня знакомиться есть с кем?
Ах, на сегодня?!

Звенит мелочишка,
но — не отметишь великих имен.
Может, еще подрастут мальчишки,
выйдут мужами на грань времен!
Может, еще наберутся силы
выдвинуться на века вперед,
чтобы им памятники становили
не правительства, а народ.
Пушкин! В поэтах на первом месте,
не постаревший после конца;
нет безупречней и выше чести —
неувядающего венца.
Бешеной царской собакой укушен,
лишь пред народом он шляпу снял;
так его и вознес Опекушин
на всенародной любви пьедестал.
Из современников был я дружен
с тем, кто и в жизни великим был;
и для него я был в чем-то нужен,
а его я, как солнце, любил.
И теперь, меж другими сидя,
во всеобщий впадая тон,
на судьбу я в глухой обиде:
почему нет таких, как он?
Те, о которых мы только читали,
далью времени унесены,
так же страдали, любили, мечтали,
в нашей памяти живы они.
Не одни мы живем на свете,
и не клином сошелся свет;
верю — будет земля в расцвете,
знаю — встанет живой поэт!



О СТАРОСТИ

О, как я помню молодость, мгновенье до рассвета,
Кораблик в море времени таинственного цвета,
Когда жилая комната теряет очертанья,
Лишь окна приготовились и розовеют втайне,
О, как я помню молодость, как день ее последний
Напоминает сумрак мой шестидесятилетний.
Не сделано, не кончено, не собрано, не спето —
Кораблик в море времени, летящая торпеда!
Не считано, не меряно, не скроено, не сшито,
Не набрано, не сверстано. И нет еще души той,
Которая поймет меня, полюбит иль погубит,
Едва напиток огненный нечаянно пригубит.

Но где ж она скрывается, над чем она смеется,
Зачем не отзывается и в руки не дается?
Что видится, что чудится, какой обещан праздник,
Какая быль не сбудется, какая небыль дразнит?
Иль некуда мне двинуться и некуда податься?
...Бьет десять. Бьет одиннадцать. Потом пробьет двенадцать.

МАРИНА

Седая даль, морская гладь и ветер,
Поющий, о несбыточном моля.
В такое утро я внезапно встретил
Тебя, подруга ранняя моя.

Тебя, Марина, вестница моряны!
Ты шла по тучам и по гребням скал.
И только дым зеленый и багряный
Твои седые волосы ласкал.

И только вырез полосы прибрежной
В хрустящей гальке лоснился чуть-чуть.
Так повторялся он, твой зарубежный,
Твой эмигрантский, обреченный путь.

Иль, может быть, в арбатских переулках...
Но подожди, дай разглядеть мне след
Твоих шагов, стремительных и гулких,
Сама помолодей на сорок лет.

Иль, может быть, в Париже или в Праге...
Но подожди, остановись, не плачь!
Зачем он сброшен и лежит во прахе,
Твой сграннический, твой потертый плащ?

Зачем в глазах остекленела дико
Посмертная одна голубизна?

Не оборачивайся, Эвридика,
Назад, в провал беспамятного сна!

Не оборачивайся! Слышишь? Снова
Шумит крылами время над тобой.
В бездонной зыби зеркала дневного
Сверкают скалы, пенится прибой...

Вот он — твой Крым. Вот молодость,
вот детство,

Распахнутое настезь на ветру.
Вот будущее. Стоит лишь взглядеться —
Отыщешь дочь, и мужа, и сестру.

Тот бедный мальчик, что пошел на гибель,
В соленых брызгах с головы до ног, —
О, если даже без вести он выбыл,
С тобою рядом он не одинок.

И звезды упадут тебе на плечи!
Зачем же гаснут смутные черты
И так далёко — далёко — далече
Едва заметно усмехнулась ты?

Зачем твой взгляд рассеянный ответил
Беспамятством, едва только возник?
То утро, та морская даль, тот ветер
С тобой, Марина. Смерти нет для них.

Анна АХМАТОВА

К ПОЭМЕ

I

Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон
И ворчал: «Там три темы сразу!
Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен,

II

Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб, и кто жив остался,
И кто автор, и кто герой, —
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой».

III

Я ответила: «Там их трое —
Главный был наряжен верстою,
А другой, как демон, одет,
Чтоб они столетьям достались,
Их стихи за них постарались,
Третий прожил лишь двадцать лет, —

IV

И мне жалко его». И снова
Выпадало за словом слово,

Музыкальный ящик гремел,
И над тем флаконом надбитым
Языком кривым и сердитым
Яд неведомый пламенел.

V

А во сне все казалось, что это
Я пишу для кого-то либретто,
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон — это тоже вещьца,
Soft embalmer, Синяя Птица,
Эльсинорских Террас парапет.

VI

И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издадека слышав вой.
Все надеялась я, что мимо
Пронесется, как хлопья дыма,
Сквозь таинственный сумрак хвой.

VII

Не отбиться от рухляди пестрой.
Это старый чудит Калиостро —
Сам изящнейший сатана,
Кто над мертвым со мной не плачет,
Кто не знает, что совесть значит
И зачем существует она.

• • •

Вера ИНБЕР

Я ВСПОМИНАЮ

(Глава из поэмы)

ВСТУПЛЕНИЕ

Вокруг меня, обычно в час вечерний,
воспоминанья вьются, точно пчелы.
Десятки их, а может быть, и сотни,
а то и тысячи — не сосчитать.

И я, как пчеловод небоязливый,
сизжу, окутанная легким роем,
однако соблюдаю осторожность:
не то иная пчелка так кольнет!..

Не скрою: мне порой бывает грустно,
когда летуньи некогда веселой,
теперь уже навеки отжужжавшей,
я крылышко сухое нахожу.

Но как зато мне весело бывает,
когда из глубины годов прошедших,
живое, не поблекшее нисколько,
воспоминание ко мне летит.

* * *

Со многими морями я знакома:
с иными я общалась очень близко,
любила их. И только океана
увидеть мне, увы, не удалось.

Меня пленяло Мраморное море,
спокойное как розовое масло.
Под Астраханью на меня шипела
колючая каспийская волна.

Я видела Персидского залива
сухим песком обметанные губы
и моря Белого у Кандалакши
покрытый льдом береговой оскал.

Я видела на Балтике затишье.
Под Генуей, на Средиземном море,
сияющий, как небо бирюзовый,
неистовый я наблюдала шторм.

Но всем красотам Севера и Юга
и всем оттенкам бирюзы и розы
предпочитала я родное море.
Единственное. Черное мое.

В часы безветрия, в часы покоя
оно до самой Турции синело,
оно до самой Турции гремело,
когда срывался бешеный норд-ост.

Прекрасен был и наш бульвар над морем.
Росли там итальянские платаны,
их саженцами привезли когда-то,
они забыли родину свою.

И только иногда воспоминанье,
как облако, скользило легкой тенью
по их зубчатым листьям и по гладкой,
как шелк, светло-оливковой коре.

(Среди московских дел разнообразных
порою вспомню я свой южный город,
и вдруг, как те платаны, затоскую,
и словно облако пройдет по мне.)

С бульвара в порт шла лестница. Ступени
ее пролетами перемежались.
Огромная как жизнь, она, снижаясь,
шла плавно к завершенью своему...

Поклон тебе, сей лестницы строитель,
давно уже умерший. И прорабам
твоим, и каменщикам безымянным,
и тем, кто камень добывал, поклон.

Ни железобетона, ни цемента
тогда еще не знали. И, однако,
все сцементированное искусством
не поддается времени никак.

Оглядываясь в прошлое, я вижу:
на этой лестнице, на фоне моря
два юных силуэта — я и Дима —
отбрасывают сдвоенную тень.

Вы спросите — а кто такое Дима?
Мой брат двоюродный. Друг задушевный.
Мне, росшей без родных сестер и братьев,
он заменял и братьев и сестер.

Он мне казался совершенно взрослым:
в гимназию я только поступала,
а он уже учился в третьем классе,
уже он единицы получал

за дерзости. В училище реальном
Святого Павла, где учился Дима,
где с педагогами он препирался,
директором был немец Шванебах.

И бедной огорченной тете Кларе:
«Сударыня (он говорил), ваш отрок
обширные способности имеет,
но он есть натуральный бунтовщик.

И я не поручусь, что через время
ваш нигилист не сядет за решетку».
И Шванебах (как это будет видно)
пророком оказался неплохим. . .

Мы с Димой понемногу подрастали.
Уже он был влюблен в мою подругу:
она всех грациозней и прелестней
была на гимназических балах.

Я по сравненью с ней была дурнушкой.
Ох, сколько раз, бывало, подлетает
к нам кавалер, разгоряченный вальсом,
и снова приглашает. . . не меня.

Но не к своей подружке ревновала
я Диму. У него была иная
зазноба. С ней бороться было трудно:
зазнобу звали Шахматной Доской.

Разлучница. Квартирная злодейка.
Прогулки с Димой. . . я их так любила,
я их лишилась. Как простую пешку,
меня топтали кони и слоны.

С горячей ревностью, с недобрим чувством
следила я за Димой-шахматистом:
опять засел. А мы ведь собирались
сначала на бульвар, оттуда — в порт.

Но братец мой уже забыл об этом.
Он, ухватив себя за кончик носа
(что, видимо, способствует мышленью),
очередной обдумывает ход.

Его партнер (он очень музыкален)
насвистывает серенаду Брага.
Ему везет. Он белыми играет —
товарищ Димы. Славный Женя Р.

Весна. Закат пылает, как влюбленный.
У края города синее море,
цветет акация, окно раскрыто —
и мальчишки играют у окна. . .

О, если бы у нас была возможность
не только вызывать воспоминанья,
не только в юность распахнуть окошко,
но в будущее приоткрыть его.

Мы увидали бы иное поле,
где Дима-комиссар в бою трехдневном
был ранен. Где свирепствовал в округе
одной из банд петлюровских главарь

Евгений Р. О нем известно было,
что, не спеша насвистывая что-то
(быть может, даже серенаду Брага),
он пленных самолично истязал.

Но до тех пор свой круг по циферблату
свершит несчетно стрелка часовая.
И календарь оденется листвою
раз двадцать, даже больше.
А пока. . .

1962

Лев ОЗЕРОВ

ГОВОРЯТ ПОГИБШИЕ

Говорят погибшие. Без точек.
И без запятых. Почти без слов.
Из концлагерей. Из одиночек.
Из горящих яростно домов.

Говорят погибшие. Тетради.
Письма. Завещанья. Дневники.
На кирпичной на шершавой глади
Росчерк торопящейся руки.

На промозглых нарах железякой.
На стене осколками стекла.
Струйкой крови на полу барака
Расписалась жизнь — пока была.

Владимир СОЛОУХИН

ЧЕЛОВЕК ПЕШКОМ ИДЕТ ПО ЗЕМЛЕ

Человек пешком идет по земле.
Вот сейчас он правую ногу
Переставит еще на полметра вперед.
А потом еще на полметра вперед
Переставит левую ногу.
(Метр расстояния. Километр расстояния.
Шар земной — расстояние!)
Человек пешком по земле идет,
Палкой стучит о дорогу.

Человек на коне. Врывается ветер в грудь.
На гриве ладонь.
Но не грива стиснута — воля.
Земля стремится,
Земля струится.
Про землю теперь — забудь,
Только грива коня,
Только ветер в грудь,
Только скорость — чего же боле!

Человек за рулем. Между ним и землей — бетон.
В моторе сто двадцать дьяволов. Шины круглы
и крепки.
Шуршание встречного воздуха переходит в протяжный стон.
Воля — в комке. Прямызна — в руке.
В точку смотрят глаза из-под кожаной кепки.
Видят глаза: стрелка дальше ста,
Видят глаза поворота знак
И летящий бетон, без конца, непрерывно летящий.
Он летит сквозь глаза
И сквозь мозг, который устал.
Хорошо, если б мир мелькать перестал.
Но мелькают деревни,
Леса мельтешат,
Березы,
Мосты,
Виадукки,
Куры,
Заборы,
Дома,
Человек,
Корова,
Барак,
Все чаще мелькают,
Все чаще, все чаще, все чаще. . .

Человек — пилот. Человек, так сказать, крылат.
Десять тысяч теперь над землей
(Над рекой, над сосной, над поляной лесной) — высота.
Ничего не мелькает. Земля почти неподвижна.

Нет земли — пустота.
Десять тысяч теперь над землей высота.
Ни тебе петуха,
Ни тебе на работу гудка,
Ни песни, ни смеха, ни плача, ни птичьего свиста
не слышно.

А человек в это время идет пешком по земле.
Вот сейчас он правую ногу
Переставит еще на полметра вперед. . .
Он глядит, как травинка дождинку пьет.
Он глядит, как пчела цветоножку гнет.
Он глядит, как домой муравей ползет.
Он глядит, как кузнец подковы кует.
Он глядит, как машина пшеницу жнет.
Как ручей течет.
Как бревно над ручьем лежит
(Жавороночь песня над ним дрожит).
Человеку тепло. Он снимает кепку.
Он куда-то идет по зеленой и доброй земле.
Вот сейчас вслед за правой еще на полметра вперед
Переставит он левую ногу.
(Метр расстояния. Километр расстояния. . .)

Человек по земле идет,
Палкой стучит о дорогу.

Дмитрий УШАКОВ

ПОТОМКАМ

На целине и мы, бывало,
Сойдясь у гулкою костра,
Как те солдаты в час привала,
Отогревались до утра.

А ночь тянула звездный невод,
Зарю до срока берегла.
Дырявая палатка неба
Нас укрывала как могла.

Мы кашу дымную делили,
Оставив шутки про запас,
Как те солдаты, что ходили,
В походы дальние за нас.

В походы не за славой громкой,
Не ради песен и наград. . .
А может быть, и нас потомки
Припомнят, как и тех солдат.

ЗОЛОТО

Степь. . . Она не скатерть-самобранка.
Поворочай грузные пласты,
В тракторной кабине спозаранку
Покачай себя до темноты.
Рычагами на ладонях выжги
Черные, как пашня, обода.
И не семь потов из тела выжми,

Трижды семь. . .
И ты поймешь тогда,
Почему зерна литые груды
Нам дороже драгоценных руд.
Почему в Целинном крае люди
Хлеб пшеничный золотом зовут!

ОТВЕТЫ НА ЗАПИСКИ

За последние годы мне пришлось побывать во многих краях и городах страны — в Кузбассе и Азербайджане, в Туле и в Орле, в Ереване и Волгограде. Выступая в самых разных аудиториях с чтением стихов, я, так же как и другие мои товарищи, получал много записок. К сожалению, не всегда удавалось ответить на все записки устно. Но многие записки у меня сохранились. Правда, они смешались, и теперь невозможно определить, в каком городе подана и даже из какой аудитории исходит та или иная записка — из студенческой или колхозной, из солдатской или заводской. Думается, что литературным критикам было бы интересно собрать получаемые поэтами записки и по ним узнать какие-то стороны читательских интересов, касающиеся и определенных произведений, и поэзии вообще. Но это другой вопрос, а сейчас я хотел бы кратко ответить на некоторые записки.

Записка:

„Какое соотношение современной поэзии и поэзии будущего?“

Вопрос поставлен в очень категорической форме, не слишком подходящей для разговора о поэзии. О поэзии будущего думаем все мы — и поэты и читатели. Высказываются предположения самого различного толка, но, на мой взгляд, так же, как коммунизм рождается в сегодняшнем дне, так и поэзия будущего рождается в современной поэзии. Большие поэты разных эпох не только отражали и запечатлевали свое время, но всегда прорывались в будущее и содержанием, и формой своих произведений. Уже в наше время жил замечательный поэт Маяковский, и стихи его смело шагнули в будущее и с каждым десятилетием становятся все значительнее и современнее. Я представляю себе будущее эпохой самого широкого и глубокого расцвета человеческой души, эпохой поэзии. Но отделено ли оно от нашей жизни определенным, резким рубежом? Ограждено ли оно стеной с тяжелыми воротами, как об этом писали еще совсем недавно некоторые поэты? Нет, нет и нет! Значит, и нам выпало счастье создавать поэзию будущего, с наибольшей пронзительностью выразить лучшие черты современников, которые станут как бы душевной нормой всех людей коммунистического общества. Вероятно, этим определяется высокий оптимизм нашей советской поэзии.

Записка:

„Не нажуют ли Вам герои Вашего романа в стихах“

В этой записке не только вопрос, но и точка зрения ее автора. Да, в последнее время появились некоторые произведения о молодежи с героями, которые считают главным своим достоинством смотреть на

„Добровольцы“ несколько устаревшими? Они ни в чем не сомневаются. Разве похожи они на современную молодежь?“

все окружающее несколько свысока. Наделив этих литературных персонажей циничным отношением к жизни, иные авторы выдают их за типичных представителей современной молодежи. Появились стихи о молодых хлыщах, которые в какой-то серьезный момент вдруг оказываются героями — бросаются в огонь или в воду, кого-то спасают, не щадя своей жизни, совершают какой-нибудь подвиг. Скажу прямо, я не верю, что эти распространенные в литературе сюжеты действительно характеризуют современную молодежь. Мне кажется, что в литературе такого рода героев больше, чем в жизни.

Разве Кайтанов, Леля, Уфимцев, Акишин и другие герои «Добровольцев» ни в чем не сомневаются? Они сомневаются в своих силах и возможностях, им приходится многое преодолевать. Но действительно, они не похожи на молодых людей, не имеющих цели и высокого идеала в жизни. И в ту пору, что описана в «Добровольцах», были такие люди. Но мне показалось, что интереснее, важнее, необходимее сложить образы энтузиастов первых пятилеток в героев «Добровольцев». Не мне судить, насколько это мне удалось. Еще о сомнениях. У меня были сомнения — не хуже ли новое поколение, чем наше. Но я недавно был в Целинном крае, на сибирских стройках и встречался там с молодыми энтузиастами, годящимися в сыновья героям моего романа. Сомнения рассеялись. И я уверен в том, что они подлинные герои современности и не «сомнения» главное в их жизни.

З а п и с к а:

„Мы изготавливаем мебель. Вы понимаете, какое значение имеет наше производство — каждый день тысячи людей въезжают в новые квартиры и обзаводятся мебелью. А о нас, мебельщиках, в поэзии — ни слова. Напишите о нас, так же как написали о метростроевцах“.

Я рискую огорчить автора этой записки и его товарищей, но вряд ли я сумею удовлетворить их просьбу. Каждая профессия в нашей стране почетна; понятна гордость, с которой автор записки говорит о своем деле. Люди разных профессий очень ревниво следят за поэзией, хотят, чтобы о них написали. А все же поэзия обращена к людям не по профессиям, говорит необязательно конкретно о них, но служит им, рождается для них. Я много писал о метростроевцах потому, что в их коллективе входил в жизнь. И разговор шел не столько о профессии метростроителя, сколько о моем поколении, о людях, которых я давно и хорошо знаю. А основным действующим лицом и героем произведений многих поэтов является как бы сам автор, и это не мешает людям разных профессий находить в стихах близкое и важное для себя. Вероятно, при определенных обстоятельствах могут появиться стихи и о мебельщиках. Я должен отметить, что сама записка свидетельствует о поэтическом отношении ее автора к своему труду.

З а п и с к а:

„Как Вы относитесь к новой рифме, к новой Вы или к старой рифме?“

Я за хорошие рифмы. Если автор записки под новой рифмой подразумевает опыты некоторых молодых и не очень молодых поэтов, опирающихся на приблизительное созвучие одного слога в начале или середине расположенных на концах строк слов, то я против таких «новых» рифм. Мне приходилось встречать такие сочетания слов, выдаваемые за рифмы:

сумочка — суженый
колбаса — корабля
чириканье — чернильница
подъехав — победа
подвиг — порох
сладость — слякоть
табеля — Тане.

Как видите, авторы удовлетворяются тем, что слова, которые они, как им кажется, зарифмовали, имеют равное количество слогов, а один из слогов даже совпадает. Но выполняет ли такое слабое созвучие функцию рифмы? Не есть ли это узаконенная небрежность, легкий путь, выдаваемый за поиск и новаторство? В принципе в этом нет открытия. Старорусская рифма забирала в звуковое подчинение все слово целиком: помните, у Пушкина «дам тебе шубу, да не было бы шуму». Это у Пушкина «любезной — уездной», «гилье — белье».

Гигантскую работу, утверждающую современную рифму, проделал Маяковский. Помните: соперником — Коперника, пролетали — пролетарий, отчество — общество, полезем — полезен, забредайте — изобретатель, игруном — агроном. Уж если рифмовать по-новому, то искать созвучие всему слову!

И еще: удивительна непоследовательность поэтов, считающих себя новаторами в области рифмы. Рядом с такими новшествами, как «чириканье — чернильница», они рифмуют самым старомоднейшим образом глаголы и позволяют себе рифмовать слова одного корня.

Многие начинающие последовали по этому пути, потому что он легкий. Да, новая рифма, доселе неслышанное созвучие — большая радость для поэта и для читателя. Но надо, чтобы рифма была не только нова, но и хороша — звучна, наполнена смыслом.

Записка:

„Почему замолчали поэты старшего поколения — Тихонов, Сельвинский, Кирсанов, Инбер?“

Вопрос свидетельствует о том, что автор записки читает преимущественно статьи критиков, а не стихи. Действительно, литературная критика вот уже несколько лет пишет почти исключительно о литературной молодежи, а вокруг поэтов старшего поколения — заговор молчания. Все названные в записке поэты в эти годы опубликовали много интересных и ярких произведений, выпустили новые книги, свидетельствующие о том, что поэтические таланты не стареют.

Хорошо, что критики пишут о молодых поэтах. Но если бы они чуть-чуть глубже копнули, они бы заметили, что многие «открытия» молодых поэтов не являются оригинальными хотя бы потому, что значительно раньше это было открыто, например, Кирсановым или Сельвинским. Я не являюсь поклонником этих поэтов, но то, что сделано ими, то сделано. И напрасно утверждают некоторые критики, что новые произведения молодой советской поэзии возникли как бы на голом месте. Наша поэзия, так же как и вся жизнь нашего общества, сильна сочетанием старших и новых поколений, и жаль, что об этом редко говорит литературная пресса, на которую склонен ориентироваться читатель.

З а п и с к а:

*„Прочитайте, что-нибудь, написанное для себя, та-
нов, что нельзя напеча-
тать“.*

Вопрос поставлен человеком либо наивным, либо плохо думающим о поэзии и о поэтах. Писать «для себя» одно, а «для всех» — другое минимально уважающий себя поэт не может. Более того: самыми сильными и впечатляющими читателя стихами оказываются те, что написаны так, словно доверил бумаге глубочайшие тайны своей души. Именно это оказывается нужным другим людям. В нашей советской поэзии небывало расширилось понятие лирики: в ее орбиту входят не только «он и она», в нее врываются все ветры и бури века.

Естественно, что поэты пишут больше, чем печатают. Иные стихи лежат годами в столе, остаются черновиком для будущих произведений. Но это вовсе не значит, что их нельзя напечатать. Так что не ждите от меня «чего-нибудь такого». А все, что я пишу, я пишу прежде всего для себя, и это не эгоизм, а если хотите — специфика и психология художественного творчества.

З а п и с к а:

*„Почему Вам не нравится
Булат Окуджава?“*

Я нигде и никогда не говорил и не писал, что мне не нравится Булат Окуджава. Но автор записки, по-видимому знающий мои песни или просто послушавший мое выступление, решил, что Булат Окуджава со своими песнями не должен мне нравиться. Да, товарищ, мы с вами друг друга правильно поняли. Мне не нравятся песни Булата Окуджавы, не все, а как раз те, что пронизаны унынием и тоской. Окуджаву иногда сравнивают с Вертинским. Печальные песни Вертинского мастерски выражали трагедию его личности и, если хотите, исторически оправданы. Что же касается ряда сочинений Булата Окуджавы, то их унылый речитатив рассчитан на мещанские вкусы, на чувствительность, а не на чувства.

Мне нравится песня Окуджавы о барабанщике «Встань пораньше», в ней нет меланхолии, ресторанной вымученности, но, к сожалению, таких песен у Окуджавы мало. А песня «Встань пораньше» показывает, что Окуджава может писать и совсем не унылые песни. Я не за «бодрячки» ратую, а за глубокие и яркие песни. Такие, как «Встань пораньше»!

* * *

Множество записок осталось без ответа. В течение литературного вечера, творческой встречи чаще всего не удается ответить и на половину поданных записок. Мои товарищи — поэты — это хорошо знают.

Давно уже и поэты и читатели говорят о необходимости создания журнала, специально посвященного советской поэзии. Когда такой журнал будет создан, быть может, будет целесообразно ввести в нем рубрику «Ответы на записки».



Маргарита АЛИГЕР

СТИХИ О МОЛОДЦАХ

ГЛАВНЫЙ МОЛОДЕЦ

Молодец! Поставил наудачу,
Ухватил за шиворот успех,
Размахнулся и построил дачу,
Да такую, что виднее всех.

Молодец! Летает за границу,
Пишет сочинения в журнал...
Издали посмотришь, так Жар-птицу
Он и впрямь словчился и поймал.

Молодец! Ведь вот ему в угоду,
Не давая шлепнуться на мель,
Остальные баламутят воду,
Чтобы он ловил свою форель.

Баламутят с искренним порывом
(Он в прозрачных водах не ловец)
И глядят с почтением брезгливым
На него... Ей-богу, молодец!

А другие, робки и унылы,
На укоры совести в ответ
Говорят: за ним другие силы...
А других-то сил за ним и нет!

Нет за ним ни войска, ни темницы,
Нету ни геройства, ни побед,
Нет ни Царь-девицы, ни Жар-птицы
И таланта, главное, что нет!

Нету сил за ним и быть не может
На земле, где есть советский строй.
Как его небось тревога гложет
Тихою полуночной порой.

Нету сил за дюжими плечами.
Он словил лишь глупостью людской.
Сам с собой, бессонными ночами,
Он исходит лютою тоской.

Страшно! Зуб не попадает на зуб...
Что-то ждет его? Какой конец?
И лепечет он: «Уж лучше сразу б...»
Жалкий, глупый, бедный молодец!

ДРУГОЙ МОЛОДЕЦ

Он весьма внушительный мужчина,
Он живет широко, на виду.
У него лазурная машина
На тугом резиновом ходу.

У него хорошие костюмы,
Несколько отсутствующий взгляд,

И многозначительные думы
Лоб его высокий бороздят.

Он на наши робкие вопросы
Хмурит брови несколько минут,
Взгляд отводит, курит папиросы:
«Тяжело! Работать не дают...»

Можно отойти, пожав плечами,
Можно призадуматься на миг:
Сколько лет он ходит между нами,
Мы его не выдывали книг.

Где его роман, поэма, пьеса?
Где раздумья пережитых лет?
Почитать бы ради интереса.
Ничего не выйдет! Нет и нет!

Нет и не было!

Пока другие
Мозг и душу, радость и беду,
Чувства и волнения живые
Отдают любимому труду,

Он спокоен, он в своей тарелке,
Всем приятен и ко всем хорош,
Делает поделки-переделки
И души не тратит ни на грош.

Но, чужую рукопись листая,
Морщит нос, уступкой не греша,
И довольна сытая, пустая,
Хорошо одетая душа.

Так проходят за годами годы...
Положенье... Верные доходы...
Все-то есть, завистникам назло.
Не хватает творческой свободы...
Здорово, собаке, повезло!

КАК ОДИН МОЛОДЕЦ

Он живет при коммунизме
Вот уже который год, —
Отдает, на что способен,
По потребностям берет.

В чем его, подумав строго,
Люди могут упрекнуть?
Что потребностей-то много,
А способностей-то чуть?

Он доволен и спокоен,
Потому что для него
Коммунизм уже построен.
Ну, а нам-то каково?

Белла АХМАДУЛИНА

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума —
Достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
Располагают к этому весьма.

Грипп в октябре — всевидящ, как господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
Слетают насморки с небес предзимних
И нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж дерев и стен,
Сам для себя неведомый и странный,
Пока еще банальности туманной
Костей твоих не обличил рентген.

Еще ты скучен, и здоров, и груб,
Но вот тебе с улыбкой добродушной

Простуда шлет свой поцелуй воздушный,
И медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник
Ни дружб твоих, ни праздничных процессий.
Благоговейно подтверждает Цельсий:
Твой сан особый средь людей иных.

Ты слышишь, как щекочет, как течет
Под мышкой ртуть, она замрет — и тотчас
Определит серебряная точность,
Какой тебе оказывать почет.

И аспирина тягостный глоток
Дарит тебе непринужденность духа,
Благие преимущества недуга
И смелости недобрый холодок.

СВЕЧА

Всего-то — чтоб была свеча,
Свеча простая, восковая,
И старомодность вековая
Так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо
К той грамоте витиеватой,
Разумной и замысловатой,
И ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
Все чище, способом старинным,
И сталактитом стеаринным
Займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
И ночь прошла, и гаснут свечи,
И нежный вкус родимой речи
Так чисто губы холодит.

ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать
Уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
Чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
Так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
На вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
Со сладкой льдинкою во рту,
Оскальзываясь, приседая,
По снегу белому иду.

МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,
В той нищенской, в той суверенной,
Где старомодным чудачком
Задор владеет современный,

Где вокруг нечистого стола,
Среди беды претенциозной,
Капроновые два крыла
Проносит ангел грациозный, —

В той комнате, в тиши ночной,
Во глубине магнитофона,
Уже не защищенный мной,
Мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю — там, пока я сплю,
Жестокий медиум колдует
И душу слабую мою
То жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
В зеленом облаке окна
Танцует голосок старинный
Для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко
Является чужим очам,
Как будто девочка-сиротка,
Запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,
Воспитанный моей гортанью,
Лукавящий на каждом «эль»,
Невнятно склонный к заиканью,

Возникший некогда во мне,
Моим губам еще родимый,
Вспорхнув, остался в стороне,
Как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
Изведавший ее приятность,
Уж он вкусил свободы той
Бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,
Старик к нему взывает снова,
В застиранные два крыла
Целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
Магнитофон во тьме хлопочет,
Мой бедный голос пятки им
Прозрачным пальчиком щечочет.

Пока я сплю — злорадству их
Он кажет нежные изъяны
Картавости — и снов моих
Нецеломудренны туманы.

* * *

По улице моей который год
Звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
Той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
Нет в их домах ни музыки, ни пенья,
И лишь, как прежде, девочки Дега
Голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
Вас, беззащитных, среди этой ночи.
К враждебности таинственная страсть,
Друзья мой, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
Как холодно ты замыкаешь круг,
Не внемля увереньям бесполезным.

Так позови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,

Утешусь, прислонясь к твоей груди,
Умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
На том конце замедленного жеста
Найти листву и поднести к лицу
И ощутить сиротство как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
Твоих концертов строгие мотивы,
И — мудрая — я позабуду тех,
Кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
Свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
Объявит свои детские секреты.

И вот тогда из слез, из темноты,
Из бедного невежества былого
Друзей моих прекрасные черты
Появятся и растворятся снова,

Константин ВАНШЕНКИН

* * *

Был самолет упасть готов
Над краем пропасти.
Его крутящихся винтов
Дрожали лопасти.

Но сели, вырвались из тьмы,
Ушли от гибели.
И вот бутылку взяли мы
И пробку выбили.

Бутылку взяли не спеша,
И пробку выбили,
И, чтоб жива была душа,
На счастье выпили.

А в уголке варился суп
На желтом примусе,
И в воздухе различных круп
Витали примеси.

О, как приятно было нам,
В тулупы кутаясь,
Сидеть, смотреть по сторонам,
В деталях путаясь.

В глаза врачихины глядеть,
Большие, карие,
И все шуметь, и все галдеть
О той аварии.

Уже мы видели с трудом
Себя недавними. . .

Но вспомнится не этот дом
С резными ставнями,

Где засыпаем на полу
Мы от усталости, —

А под крылом густую мглу
Мы вспомним в старости.

Все, что не нужно, отойдет,
Другим заполнится,
И лишь ревуший самолет
Навек запомнится.

Хозяин, где я ночевал,
Да не обидится.
Пилота руки и штурвал
Лишь будут видеться.

ПРЫЖОК

Полосы литой бетон.
От винтов свистящих — вьюга.
Парашют уложен туго,
Аккуратный как бутон.

Что вы знали на веку,
Вы, что там, внизу, живете,
Если даже в самолете
Вы бывали наверху?

Окунаясь в воздух злой,
Корабля покинув лоно,
Не скользили вы наклонно
Между небом и землей.

Ветра твердая струя
Не швыряла вас для пробы

В неба рыхлые сугробы, —
В них проваливался я!

Что вы знали там, внизу?
Что с дождем идет прохлада
И что прятаться не надо
Под деревьями в грозу.

Не крутил вас этот шквал.
Вряд ли были вам желанны
Неба синие поляны,
По которым я гулял.

Кто б сказать вам это мог,
Если б купол надо мною,
Ярко брызнув белизною,
Не раскрылся, как цветок?

ВСТРЕЧА

Пока дрались солдаты
На дальних рубежах,
Ровесницы девчата
Росли как на дрожжах.

Воспоминаний груды
Мы за собой влекли...
Взрослы и полногруды,
Встречать они пришли.

Был прежде стан их тонок,
Был беспричинен смех.

Мы помнили девчонок
Совсем-совсем не тех.

А эти опьяненно
Глядят — не сводят глаз
И посреди перрона
При всех целуют нас.

И слезы проливают,
Не утирая их,
И нас припоминают —
Совсем-совсем других.

* * *

Было что-то и общее в нашей судьбе, —
Мы дружили, к фальшивому люты...
...Он часами умел говорить о себе,
Слушать он не умел ни минуты.

Как я знал всю историю жизни его!
И любовь, и военные были.
Он, по сути, не знал обо мне ничего,
Хоть давно мы приятели были.

Он часами с конька своего не слезал,
И, устав от такого порядка,
Все, что знал я о нем, я ему и сказал,
Изложив по возможности кратко.

Он обиделся. Что же! А я, уходя,
Взгляд его ощущая спиной,
С удовольствием взял свою кепку с гвоздя,
Громко крикнув: «Закройте за мною!»

ВОСПОМИНАНИЕ О ЮНОСТИ

Весенний ветер, в окна дунувший!..
Я вспомнил юности зарю.
На нынешних беспечных юношей
Без всякой зависти смотрю.

О них не думаю с обидою,
Мне это вовсе ни к чему.
А если я чуть-чуть завидую,
То лишь себе же самому.

БОЛЬНИЦА

Самая просторная больница —
Как темница людям все равно.
Как средневековая бойница —
Крупное больничное окно.

Очень ясно вижу и поныне
То окно. В нем только небосвод,
И в его невероятной сини
Облаков величественный ход.

Майя БОРИСОВА

СТИХИ О ЗВЕЗДАХ

I

Неужто вправду прилетали?
К чему слепая ворожба!
Мы ищем факты и детали,
Тысячелетья вороша.

Смотрите:

это соль сковала
Металл. Классическая грань!
Смотрите:

силуэт скафандра
Дикарь в рисунке обыграл.

Как долго мир наш
был стреножен,
Мы только начали с азов.
Но след чужой —
он так тревожит!
И так торопит чей-то зов.

Перед лицом вселенской ночи,
На космодромы становясь,
Мы рвем оковы одиночеств —
Нам связь нужна, живая связь.

Клади, игория, ладони
Нам на пылающие лбы.
Чьей там победой и бедою
Твои хранилица полны?

Шурши летами, как листьями
Магических и мудрых книг.
Ведь прилетали. Прилетали!
О, как отстали мы от них!

II

Синклитом мудрых академиков
Все будет строго решено:
Лишь самое необходимое
В ракету взять разрешено.
Стихи, мелодия, портрет —
С собой во тьму.

На много лет.
И этот маленький багаж его
Не станет проверять никто.

Теперь представьте
очень страшное.
Вы знаете, что значит
«страшное»?

Вдруг он возьмет с собой

НЕ ТО?
В тот миг, когда по жизни — трещина,
И суть вещей обнажена...
Возьмет он фотоснимок
женщины,

Но это — не его жена.
Стихи — две створочки картонные,
Магнитофонной пленки вьюн.
И все не то, не то,
которое

Так восхвалял он
в интервью.

А он сумел достигнуть столького,
Он правильно и строго жил...

Но вот лежат
в закрытом столике
Три
никому не видных
лжи.

Три лжи — как места мало надо им!
Но их дыханье потекло —
И слепнет вдруг

иллюминаторов
Жароупорное стекло,
Слабеет автоматов воинство,
Ломают формулы хребет,
Его душевную раздвоенность
Мгновенно воплотив
в себе.

И, в голубом
зловеще черная,
На тяжких стапелях привстав,
Ракета вздрогнет,
обреченная...

Но все произойдет
не так.
А будет полная торжественность
И вера твердая в успех.
И откровенная тождественность
Себя в душе
с собой для всех.

Не огорчаемый помехами,
Он встанет, величав и прост,
И улыбнется:
«Ну, поехали!»

И долетит
до синих звезд.

■

Земных невест
не станут замораживать,
Чтоб им в разлуке долгой
не страдать.

Не станут
нудной речью завораживать,
На семинарах
по искусству ждать.

Невесты погрузят и слезы вытрут,
Невесты по-земному
замуж выйдут.

И будет радость
по-земному пениться.

И совесть им
не отягчит вина,
Когда они дадут
горластым первенцам
Тех, улетевших в небо,
имена.

* * *

Но вот промчатся годы, годы, годы...
От горизонта пронесется гром.
И он, седой, орлиноглазый, гордый,
Сойдет на позабытый космодром.
Он выслушает праздничные речи,
Лицо в земные окунет цветы.
И выйдет из толпы

ему навстречу
Не жалкое подобие святых,
Не призрак, постаревший и нелепый,
Боготворящий вечные посты,
А женщина

во всем великолепии
Цветущей материнской красоты.
И юноша застенчивый и дерзкий
Горячий лоб

прижмет к его плечу.
И скажет: «О тебе я знаю с детства».
И скажет: «Завтра к звездам я лечу!»

● ● ●

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

I

ДВОРЕЦ СЪЕЗДОВ

Средь древних стен дворец необычайный
Из белизны металла и стекла,
Презрев земного тяготенья тайны,
Архитектура дерзко возвела.

«В Кремле священном — это гость
случайный!» —
Залетный вздох летит из-за угла.
С улыбкой дружной смотрят в свод
бескрайний
Ивана шлем, Успенья купола.

Тут Казаков, а там Фиоравенти —
Пестрит история, как в киноленте.
Но Кремль в своем единстве величав.

Не так ли нашу родину народы,
Различные в быту и от природы,
Навек сплотили в нерушимый сплав?

II

ГОМЕР

Его глазам сияли небеса,
Оружья блеск и сладострастье быта.
Эллады милой юная краса
Ему была пленительно открыта.

Но тесно было тайным думам в нем
О дерзком богоравном человеке.
И вот Афина розовым перстом
Певцу закрыла трепетные веки.

— Ты видел всю земную красоту,
Теперь тебе дарю я слепоту,
Чтоб жизнь народа песней осветилась!

Его душа взметнулась, как орел.
Он посох взял и в даль веков пошел,
Богиню славя за любовь и милость.



Вера ЗВЯГИНЦЕВА

О МАЯКОВСКОМ

У памятника Маяковскому
Стоит мальчишка долговязый.
Что нужно школьнику московскому
И чем он с этой бронзой связан?

Наверное, ему мерещатся
Насмешки, грозные призывы,
Моря ладоней бурно плещутся,
То смех, то возмущенья взрывы.

Наверное, мальчишке хочется
Стать самому таким же точно,
Неведомое имя-отчество
Впаять в сознание мира прочно.

И он придумывает хлесткие,
Бичующие, злые строчки,
Хоть и не очень маяковские,
Зато без всякой проволоочки.

...А знал бы бредящий трибуною,
Как добр был гений обличений,

Когда одну актрису юную
Учил читать стихи на сцене.

Шла репетиция «Мистерии»,
И автор, вслед за режиссером,
Работал методом доверия
К зеленым молодым актерам.

И безо всякого презрения,
Без холодящего запрета
Просил он делать ударения
На «это» и «Генисарета».

У той же, небогатой опытом,
Сильнее «звон» и «он» звучало.
Тогда он мягким полусшепотом
Ей то же повторял сначала.

Актриса та давно состарилась,
Но, знаю, будет верить вечно,
Что гений может разговаривать
Не очень громко и сердечно.

* * *

Я пишу, как дышу.
По-другому писать не умею.
Поделиться спешу
То восторгом, то болью своею.

Я навряд ли права,
Исповедуюсь так перед всеми.
Не нужней ли слова
О делах, обгоняющих время!

Что я все о своем?
Я живу в этом мире огромном
Не одна, не вдвоем,
В уголке не скрываюсь укромном.

Не такая пора,
Чтобы жить лишь своею душою,
Нужно кончик пера
Окунуть в море жизни большое.

Ну, а все же, друзья,
Может быть, этот грех мне простится:
Ведь, по правде, и я
Тоже этого мира частица.

Я, конечно, грешу:
Что судьба одного человека!
Я пишу, как дышу.
...Но дышу-то я воздухом века.

● ● ●

ДВА СООБРАЖЕНИЯ О РИФМЕ¹

1. НОВАЯ РИФМА

Если обратиться к истории стиха, то мы увидим, что рифма — явление более позднее, нежели звукозряд. В аварском стихе (Дагестан) и сегодня аллитерация «заменяет» концевую рифму. В известных нам древнегерманских памятниках (700—1100 гг.) до тех пор, пока на древнесаксонскую поэзию не начинают оказывать влияние французские образцы, аллитерационные созвучия организуют стих лишь тем, что делят длинный стих (*Langzeile*) на два коротких полустишия (*Kurzzeile*), в которых созвучия играют роль точек симметрии. В мексиканском «корридо» (восьмисложник, четные строки которого связаны ассонансом, проходящим через все стихотворение) корни уходят в андалузский фольклор, где издавна бытует аналогичная форма стиха (испанский романс). В русском народном стихе рифма известна давно. Она даже как бы опережала само понятие стиха. Известны присказочные обороты — зародыши стиха — в речи по сути своей явно прозаической. В «Слове о вере христианской и жидовской» скоморох говорит князю: «Княже, мой господине! И христиан обманывать надо умеючи; збодливого *обманить*, а скаредного *возвеселить*, а скупого добра и податливого *учинить*. А не учась, и у христиан ничего не *добыть*, и головы своей не *прокормить*». В рифмованных скоморошьих песнях мы можем встретить строки насквозь рифмованные, и притом довольно виртуозно:

С киселя-то весела, с молока-то молода...

Заговóры, заклинания, пословицы, поговорки, загадки держатся на рифме. Зачаточные формы рифмы известны былинам.

«Вообще» о рифме я говорить не собираюсь. Существует обширная литература по этому вопросу, написаны целые труды по классификации рифмы с различных точек зрения (метрической, эвфонической, лексической, структурной).

Мне хочется взять одну сторону проблемы, рассмотреть новую рифму.

Что такое новая русская рифма?

В то время как рифма классического стиха в основном опиралась на созвучие окончаний, то есть слогов, идущих за последним ударением, новая рифма, теряя сходство заударных звуков, пошла в глубь строки от ударной гласной, точнее — от опорной согласной, стоящей перед ударной гласной, к созвучию слогов, предшествующих ударному, и даже к созвучию общего строения слов, порой независимо от их окончаний.

Рифма эта была начата символистами, завершена практикой В. Маяковского, Б. Пастернака, Н. Асеева. Много сделали здесь также И. Сельвинский, С. Кирсанов, и не только они.

Сегодня в русском стихе канон новой рифмы торжествует. Нет ни одного более или менее значительного поэта, кто бы не учитывал современных достижений в этой области. И А. Твардовский и А. Прокофьев, не говоря уже о Л. Мартынове, Б. Слуцком или Евг. Евтушенко, в той или иной мере используют новую рифму.

Особенно это заметно в молодой поэзии.

¹ Фрагменты из «Книги про стихи», которая готовится в издательстве «Советский писатель».

Говорят, что Евг. Евтушенко виноват в нарушении канонов русской рифмы. Нет, «виновато» в это время, не Евтушенко. То, что у этого поэта стало системой, у большинства современных русских поэтов имеется в элементах.

Вот другой молодой поэт, обычно противопоставлявшийся Евг. Евтушенко, А. Вознесенскому, Б. Ахмадулиной — новаторам «наглядным». Это Вл. Цыбин. Он рифмует: *радио — оладьями, утроенно — Родина, кованой — гóловы, пегие — телегами*. Куда уж еще «левее»! Самобытность Вл. Цыбина в рифмовке заключается в том, что новизна рифмы, в том числе и неточной, часто достигается вынесением в рифму неологизма или редкого слова диалектной окраски. Таковы: *клюкасты — лупасты, синету — маету, облунье — колдунья, пáрами — пáлами, аисты — перевалисто, месяца — невестятся*. Конечно, у молодого поэта есть и плохие рифмы, рискованные натяжки, следы неряшливой работы (*хлебосольные — высоковольтные*). Тут уже накладные расходы, не принцип. Но разве это говорит против новой рифмы? Нет, и тут одна, общая тенденция лучших молодых поэтов.

Критикой до сих пор этот процесс не обобщен.

Еще В. Брюсовым было отмечено, что теория, проследив процесс разрушения классической русской рифмы, не осознала как систему другой процесс — создания новой рифмы.

Что же это за процесс?

Мне кажется, что с переходом к нерегулярным метрам постепенно отпала необходимость в точной согласованности конечных слогов.

Поэтический синтаксис (разговорность!) расшатал сначала метр (внутри его — ритмом), а когда метр потерял единообразную повторяемость, рифма перестала нести функцию «отсечения» отрезка стиха, «подытоживания» строки.

Но форма поэзии не могла разрушить себя при этом.

Компенсация явилась в виде более сильной, более яркой акцентировки смыслового ударения, носителем которого теперь нередко (Маяковский) выступает обособленное паузой, отдельно стоящее слово-образ.

Рифма, связывающее строки созвучие, расширяется вслед за метром. Так естественно завершается процесс эволюции русской рифмы, которая теперь ступает не на цыпочках (созвучие конечного слога), а тяжестью всей ступни (созвучие многосложное или ассонансное).

Содержательная роль рифмы повышается. Она приобретает теперь и дополнительную функцию более отчетливой, чем в классической поэзии, акцентировки метра. Ведь последний теперь стал более сложным, более гибким.

Старая рифма не выдерживает нового метра, она ломается, как тонкая веточка под тяжестью зрелого плода. Она теперь не может сдерживать напор стиха — это все равно, что сжать бочку с пивом картонными обручами.

Форма свободного стиха была бы размыта, если бы держала ее рифма прозрачная, с опорой, скажем, на один открытый слог или созвучие лишь одной согласной.

Как в белом стихе отсутствие рифмы компенсируется особой, активизирующей стих инструментровкой, так и в современном разноударном стихе большая ритмико-метрическая свобода должна уравниваться усилением акцента рифмы.

Из этого вовсе не следует, что новая рифма всегда следствие нарушения классического метра. Я говорил пока только об исторической логике. Как метр классический сосуществует сегодня с нерегулярными метрами разных типов, так и новая рифма проникает в стих более или менее традиционный. При этом обыкновенно или новая лексика и ритмическая импровизация приводят к новой рифме, или, наоборот, новая рифма тянет за собою изменения в структуре строфы.

Но, что надо подчеркнуть со всей категоричностью, сегодня в практике русской советской поэзии почти нет уголка, куда бы не «достала» новая рифма. . .

Но не пора ли дать примеры ее?

Крупой — Эдгаром По (Пастернак). Ведет рифму здесь, конечно, не созвучное окончание (*ой — о*), а опорная согласная в ударном слоге (*п*). Поддержка ей обеспечена сходным звучанием предшествующих элементов: *р*, или даже группы *кр* и *гр*. Сходные элементы в рифмующихся словах могут быть расположены в различном порядке (*чердак — чехарда* у Пастернака).

Наряду с теми историко-поэтическими предпосылками, о которых я говорил выше, были и другие — чисто языковые. Усиление московского «аканья», произнесение неударного *е* как *и*, ослабление конечных согласных. Важным фактором тут надо признать и процесс ассимиляции говоров.

Все это не могло не вести к ослаблению отчетливости произношения. Неточные созвучия пушкинской поры становились точными в эпоху символизма. Конечное *г* у Фета, например, звучит как *х*. Южнорусское его произношение позволяло ему рифмовать «глуховато». Уже отмечалось, что тут надо быть очень вдумчивым и не впасть в ошибку при определении причин развития ассонантности (приблизительности) в рифмовке.

Легко впасть и в другую ошибку: видеть неточность созвучия там, где дело вовсе не в звуке, а в новом — иного качества — принципе. Когда Тютчев рифмует *прекрасный — безобразный*, надо увидеть здесь контраст смысла, а не ассонанс с переходом *з* в *с*.

И все же главными факторами новой рифмы, повторяю, были разговорность стиха, установка на динамическое выделение слова-образа.

Русский стих XIX века не считался с редукцией безударных гласных в литературном языке. Безударные слоги, которые в практической речи скрадываются, приглушены, в стихе оказывались на учете, искусственно выдвигались, выигрывали в отчетливости. Это не могло не сказаться на рифме.

Р. Якобсон пишет: «Естественно, что у Маяковского... безударные слоги «не считаются», а, в частности, рифма ими легко пренебрегает». Например, в третьей части поэмы «Война и мир»: *ковно — нашинковано, охало — заглохла, на поле — по капле, доносится — победоносца, лжи за ней — жизнью* и т. п.

Приближение поэтической речи к «практическому» языку с его реальным звучанием сопровождалось в плане поэтики и более реальным жестом фразы, поисками «лица» интонации живого аффекта.

Спекулянт-смерть — дня не сметь. Рифма Н. Асеева углублена влево (*ян — ня*). Тот факт, что *не* не рифмуется, как бы разбивает до- и послесозвучные группы, отчетливо выделяя слова «не сметь», как логическое ударение.

Многие рифмы Н. Асеева отчетливо вскрывают их «произносительную» природу:

тонколицей — перелиться (*тьс* звучит как *ц*),
простого — Ростова (произносится: *простова*),
виадуке — дуги (*к* и *г* — южнорусское, курское произношение сливает в *кх*, *е* и *и* — разница неотчетлива),
поезд — пояс (то же самое).

Сюда же можно отнести: *помниться — конница, шелестят — крестьян, живой — него, смерк — вверх* (глухой и звонкий, как оба глухих), *хвастают — частою* (произношение: *частаю*) и т. д.

Новая рифма не стерла индивидуальных различий поэтов. Вот рифмы зрелого И. Сельвинского (из книги «Крым. Кавказ. Кубань»): *счастья — страсти, серебро — изобрело, покоя — глухое, крови — здо-*

ровья, победа — поэта, бруствер — чувство, ненавидят — виде, налегке — сапоге, протеста — протеза, стоя — простое, пречистой — фашисты.

Сильное ударение в тактовике выделяет ударную гласную, а окончание может быть и не созвучным. У Сельвинского сравнительно редко глубокая рифма в заударной области. Тактовик требует отрывистого, акцентного звучания слова.

Но при всех индивидуальных различиях новая рифма сохраняет свое «лицо»: она сложнее простого тождества окончаний.

Обычно говорят о неточности новой рифмы и точности классической. Это не совсем верно.

Пушкин! Ссылаются на него, чтоб посрамить неточные рифмы, связать их с «вывертами», отходом от народных истоков. А у Пушкина именно там и высказывали ассонансы, где он всего ближе к фольклору:

Возьми себе *шубу*,
Да не было б *шуму*.

(«Песни о Степане
Разине»)

Да и не только — к фольклору. К мысли стиха, к содержанию прямо относится рифма.

Она в семье своей *родной*
Казалась девочкой *чужой*.

(«Евгений Онегин»)

Не ахти какая рифма. Но контрастная по мысли. По гладкому созвучию мы бы скользнули слишком легко в данном случае, где нет особой остроты образов или других «державших» внимание элементов формы.

Неточная рифма уместнее в разговорной поэтической манере и режет ухо в строгой форме октавы или сонета, отмечал В. Жирмунский. Вряд ли это верно. Сонет, октава — достояния прошлых поэтических эпох. Они и срослись с особым видом рифмовки. К камзолу больше идет шляпа с пером, нежели... пилотка. Но представьте «новый сонет», и нетрудно представить тут же и новую форму рифмовки. Да вот вам и примеры. В сонете («Бессмертья нет. А слава только дым») И. Сельвинского рифмы: *дым — другим, стремись — мысль*. В его же другом сонете («Воспитанный разнообразным чтивом») находим: *на лету — на льду, правдивым — огнивом, допотопной — подобна*.

Само слово «уместнее» мне представляется неуместным в разговоре о поэтике.

Вред нормативов в поэзии безусловен.

Когда-то Шахматов выдвинул требование трудной рифмы, отвергая легкую (глагольную). Но каждое (любое!) запрещение ограничивает поэта, а значит, ведет к банальности, но, так сказать, с другой стороны. Пушкин не мог этого не почувствовать:

...На мелочах мы рифму заморили...

Уж и так мы голы:

Отныне в рифмы буду брать глаголы.

Здесь *голы — глаголы* не в чистом виде женская рифма; как это часто у позднего Пушкина (преднекрасовского) — намеренно на дактилическую: «так мы голы — глаголы»; «а» — звук, в интонационном месте стоящий (произнесите!), на него, собственно, ложится тяжесть рифмующихся членов, если учитывать не отвлеченное некое «точное созвучие», а слышимое в произношении реальное звучание стиха.

Совершенно ясно это в другом примере, на который мне указал В. Шкловский: пушкинская рифма *морозы — мы розы* — составная, а не гладкая (морозы — розы). Ирония Пушкина по поводу читателя, ждущего знакомой рифмы, лукава. Под видом старой дается новая рифма.

Очевидно, неточность рифмовки — тенденция русского стихотворчества, вызванная объективной необходимостью противостоять автоматизации хода стиха.

Она вызвана нуждами развивающегося духовного опыта, нуждами нового содержания. И, конечно, в первую очередь свойствами русского языка.

2. РИФМА И ОБРАЗ

Когда говорят: «плохая» рифма — это так же неубедительно, как и то, когда говорят «хорошая». Неубедительно до тех пор, пока мы не проверим это стихом.

Первое опровержение неубедительности — строфа. Н. Тихонов — движение альпинистов к цели:

Врубаясь в лед, под воем *вьюжным*,
С скорой морозной на плече,
Они идут веревкой *дружной*,
Над ними снег дымится, *кружит*,
Вершина ближе — гребень *уже*,
Зачем все это людям *нужно*, —
Блаженный, страшный путь зачем?

Отдельно: *вьюжным — кружит* — «плохая» рифма, как и *дружной — уже*. Но все вместе отлично! Строфа связана рифмой, как «веревкой дружной», усиливая образ спаянности, упрямого движения альпинистов к вершине, которую нужно взять. Пять строк оканчиваются близко к тождеству, а их расхождение в точности — как нащупывание ногей нужного выступа. . . Все вместе они непобедимы!

Илья Сельвинский. «Я это видел».

Рядом истерзанная еврейка.
При ней — ребенок. Совсем как во сне.
С какой заботой детская шейка
Повязана маминим серым кашне.

Образ человеческой муки. Гладкая рифмочка могла бы стать началом кошунства. *Как во сне — кашне* — отдельно очень далекое созвучие, но языково тонко, тактично, ненавязчиво в другой паре созвучий — *еврейка — шейка* — взято это «недостающее» *ш*. В рисунке трагическом и отчетливом эта перестановка звуков незаметна, не выпирает, не разбивает главное впечатление скорби и ненависти к фашизму. Так строфа в общем очертании образной мысли окончательно устанавливает рифму. И удостоверяет ее истинность и качество.

Опять Н. Тихонов. «Искатели воды».

Они хотят вести ее далеко
Через Мургаб, к Теджену, — оросить
Все те пески, похожие на локоть,
Который нужно все же укусить.

Так же трудно провести воду через пески, как, согласно поговорке, «укусить собственный локоть». Но надо сделать невозможное! Образ очень рельефный, смелый, метафорический смысл которого заставляет не считать слабой глагольную рифму: *оросить — укусить*.

Во всех этих примерах образ, как законченная поэтическая мысль, вмещался в одну строфу. Поэтому мы рассматривали рифму как часть строфы и одну пару созвучий — в свете и соседстве другой пары.

Рифма, ее звуковая природа, неожиданно способна вызвать ассоциацию в подтексте. Ее первоначальный смысл получает тогда дополнительную глубину.

Как-то в Дагестане, слушая шум реки в ущелье, я вспомнил строки Н. Тихонова:

Горных рек нескончаемый гул,
Пред которым я вечно в долгу.

Здесь *гул* — *долгу* — рифма чудесная! Почему? Я не сразу это мог объяснить. Но почувствовал сразу, еще не успев понять, откуда пришли эти строки, именно в этот момент, там, в долине реки Табот, близ аула Хунзах. Потому что шумела река? Может быть. Объяснение пришло позже, в Москве, когда я глазами увидел эти строчки.

На первый взгляд (и именно вне контекста этих двух строк) кажется, что *л*, закрывающее слог в первом рифмующемся слове, мешает более точному созвучию. Но, повторив рифму про себя и вслух несколько раз, чувствуешь, что *л* и во втором слове (*долгу*) звучит довольно отчетливо, только, будто отраженное эхо в горах, вернулось это *л* «в обратном порядке» (*гул* — *лгу*).

Но и это не основное. Рифма Тихонова замечательна потому главным образом, что гул горных рек воспринимается нами не столько как слово в его определенном начертании, сколько как звуковое представление (*гу-у-у-у...*), которое возникает в глубине нашего сознания, как память о где-то слышанном этом звуке («он в крови моей, в сердце моем, с этим гулом мы вместе умрем»). Рождается это представление почти моментально, почти в тот же миг, как мы заканчиваем произнесение первой строки...

Отсюда точное ощущение эвфоническое: *гу-у-у-у(л)* — *долгу-у*.

Это наблюдение мне представляется очень и очень существенным.

Слово часто «говорит» всем запасом своих ассоциаций. А когда это слово — рифма, значение ассоциаций резко возрастает.



В белой пене легла за бортом колея,
Пароходных гудков нескончаемый спор.
Справедливее было б, чтоб ты, а не я,
Заслонившись ладонью, глядел на Босфор.

Я стоял, за его отраженьем следя,
Слыша смутного города сдержанный гул.
В капюшоне рыбацьем и в куртке дождя
Невеселым мне твой показался Стамбул.

Сколько темных дворов, сколько каменных
плит,
Сколько мокрых деревьев, склонившихся ниц,
Сколько бьющих в булыжник тяжелых копыт,
Сколько скрытых дождем озабоченных лиц.

Кроме бакенов тусклых, глядевших нам вслед,
Кроме ливня свинцового с привкусом слез,
Я из этой поездки, прости мне, Хикмет,
Никаких сувениров тебе не привез!..

НА УЛИЦЕ БОККАЧЧО

Почти все небо полностью
Сияньем этим залито.
Владеет римской полночью
Несноевое зарево.
А ветер ставни старые
Устал всю ночь покачивать
Над одинокой парюю
На улице Боккаччо!
Пусть дождь со страшной силою
В лицо швыряет каплищи, —
Он плащ свой хлорвиниловый
Надел любимой на плечи.
Плащом ей плечи кутая,
Он к ней приник отчаянно.
Рукой какого скульптора
Их статуя изваяна?
Они стоят зажмурившись,
И глаз открыть не хочется,
На этой людной улице
В полнейшем одиночестве.

Как дождь прошел над кронами,
Они и не заметили,
Бездомные влюбленные
Двадцатого столетия.
Герои ненаписанной,
Но самой главной повести,
Как судьбы их зависимы,
Какие ждут их поиски.
Еще не все замечены
Глубокие пробоины,
Не все рубцы залечены,
Не все сердца устроены.
Еще придется полностью
Хлебнуть им всею мерою.
Но все ж я верю в молодость,
Как люди в бога веруют.
На горьком этом пиршестве
Желаю вам удачи я,
Два сердца, заблудившихся
На улице Боккаччо.

ГРУЗЧИКИ СПЯТ

Кто сказал, что для этого непременно нужны одеяла
И уютный ночник на столике, озаряющий темноту.
Положив булыжник под голову, тяжело и устало
Безработные грузчики спят в абиджанском порту.

До утра позабыты все огорчения сразу —
То, что ждет их семья, то, что нет ни росинки во рту.
Погружаясь в дремоту, как идут в глубину водолазы,
Безработные грузчики спят в абиджанском порту.

Но и даже во сне кто-то бочки вдоль берега катит,
Кто-то носит мешки, кто-то грузы берет на борту.
На прогретом асфальте, как на двухспальной кровати,
Безработные грузчики спят в абиджанском порту.

Вам знакома эта забота о горстке маисовых зерен,
Вы когда-нибудь знали о черствой лепешке мечту?
Как большие деревья, подрубленные под корень,
Безработные грузчики спят в абиджанском порту.

Но ведь дал для чего-то им бог эти сильные ноги,
Эти клетки грудные, этих бронзовых спин наготу.
Словно ношей тяжелой раздавленные на дороге,
Безработные грузчики спят в абиджанском порту.

Как лежат они здесь одиноко и жалко,
Рты раскрыв и по-детски колени прижав к животу.
Словно ржавые краны, отправленные на свалку,
Безработные грузчики спят в абиджанском порту.

Им бы складывать стены, вздывать над водой виадуки,
Прорубаться сквозь чащи и грузы ловить на лету.
Но, раскинув на камне абсолютно ненужные руки,
Безработные грузчики спят в абиджанском порту.

Я БОЛЕН АФРИКОЙ

Вся дышит порами,
Горя от жажды,
Земля, которая
Рожает дважды.
Шагает с важностью
Грифенок тощий.
Горячей влажностью
Исходят рощи.
В болотном мареве
Стучат копыта.
Густой испариной
Трава покрыта.
Листву кустарников,
Кривых от бури,
Как лоб малярика,
Температурит.
Как крик о помощи,
Как жизнь былая,
В гвинейской полночи
Костры пылают.

Простая графика
Огня и дыма.
Я болен Африкой
Неизлечимо —
Ее молчанием
И черной болью,
Ее отчаяньем,
Ее любовью.
Мне сердце мучает
Мечта о счастье,
Ее наручники
Мне жгут запястье.
Я часто слушаю
Напев упрямый.
Стучатся в душу мне
Ее тамтамы.
Мне снится ночь ее
Чернее штолен.
Я болен Африкой,
Я страшно болен...

Римма КАЗАКОВА

* * *

Когда в душе души избыток —
ни мелких чувств, ни слов избитых.
Душа по-новому щедра,
добра, как песенка щегла.

Душа, мой маленький щегленок,
веселый молодой костер!
Ты видишь, сколько ущемленных,

как птичьи гнезда, разоренных,
твоих ограбленных сестер...

Душа, кому себя подаришь?
Или замрешь, затормозишь
и, как восстание, подавишь
все, чем томишься и грозишь?..

КАРТИНА

Еще по-девичьи узки
и угловаты плечи,
но две малинины — соски
пылают, будто печи.

Как дерзко вырубала кисть
игрой любви и риска
ее девическую кисть
в изломе магеринства!

Экскурсовод плетет про «ню»,
про вывихи таланта,
а мы прилипли к полотну,
как к вымени телята.

Гудит он где-то далеко,
дерет свое мочало...
А в нас струится молоко,
что всех начал начало!

* * *

Вот женщина легко, не горбясь
идет и леденец грызет,
живот, округлый словно глобус,
как первоклассница, несет.

Еще невнятен, непонятен
тот мир, прозрачный как стекло,
где каждое из белых пятен,
как зайчик солнечный, светло.

Но очертания — все резче.
Покров прозрачный отнят, снят.
Толпятся сграны, бьются речки,
и горы горизонт теснят.

И женщина ступает мягче,
все осторожней, все трудней.
И шар земной звенит, как мячик,
и прогибается под ней.

* * *

Мой маленький, мне тесно!
И все трещит на мне.
Я подхожу, как тесто,
зажатое в квашне.

Летят крючки от блузок,
все линии — в одну!
Изюминками
бусы
идут во мне ко дну.

А я свечусь, как будто
мне теснота легка,

вздымая, словно булка,
высокие бока.

Мой маленький, мне тесно
во всем, чем я была,
мне — вызубренным текстом —
земля уже мала!

И не во что рядиться.
И завтра все таит,
как будто бы родиться
самой мне предстоит.

Николай ГЛАЗКОВ

ГРИБЫ

Ночь. Горят огоньки.
К первому поезду
Кто идет? Грибники.
Нам бродить по лесу.

Нам вдыхать кислород,
Встреч искать с белыми
Под дубами и под
Соснами, елями.

Электричка. Вагон
С окнами синими.
Я в вагоне. Кругом
Люди с корзинами.

Промелькнуло шесть зон.
Люди расходятся.
Здесь и нам слезть резон:
Здесь грибы водятся.

Окружает нас лес
Темными сводами.
А грибы? Где-то здесь
Прячутся. Вот они!

Здесь в лесу есть свой нрав
У гриба каждого.
Тех и этих набрав,
Белого жажду я.

Белый гриб норовит
Скрыть свое качество.

Он обманчив на вид
И лишен ячества.

Не привык боровик
Силой куражиться,
К корню древа приник,
Листиком кажется.

Сыроежки ж подчас
Выглядят белыми,
Называл я не раз
Их пустомелями.

Подосиновик, тот
Сам себя выставил.
С красной шапкой растет,
Видится издали.

Но пока полутон
Различал ловко я,
Не замечен был он
С красной головкою.

Вот опенки стоят
На пеньке дружные.
Не считают опять,
Лишь срезать нужно их.

Сколько их? Пятьдесят,
Шестьдесят, сотня ли?
Пень трухляв, староват,
А грибы годные.

Дал плоды пень гнилой.
Восхищен ими я.
У смекалки грибной
Поучись, химия!

Вот волнушек волна
Разлилась розово,
И столкнулась она
С рыжиком бронзовым.

Этот гриб знаменит
На Руси исстари,
О себе не звенит,
Но хорош истинно.

Мухомор ярковат,
Ядовит, знаете,
Но его все ж едят
Люди на Западе.

Там волнушку и груздь
Числят отравами.
Что ж! С Европою Русь
Не сошлась нравами.

Москвичи-грибники
Сходятся вкусами.
Дороги нам грибки,
Что лежат в кузове.

Но дороже леса,
Что не зря пройдены.
В них размах и краса,
В них и мощь родины!

СНОВА ЗИМА

Вновь покрывает землю на аршин
Снег — друг полей и враг автомашин.
Я не люблю его эпоху — зиму,
Но без него зима невыносима.

Еще могу поведать вам про то,
Что не люблю я зимнего пальто,
Ношу его из-за проклятой стужи:
В пальто мне плохо, без него мне хуже.

СКАЗКА С ПРЕДИСЛОВИЕМ

Среди стихов, которые мы, военные корреспонденты, писали во время войны, были и такие, что писались и читались с улыбкой.

Несколько таких стихотворений написал за войну и я. Писались эти стихи на разных фронтах в разные времена, в том числе и в трудные. А читались в первую очередь, сразу же из блокнота, своим же братьям — военным корреспондентам и тем товарищам-фронтовикам, с кем нас в тот или иной момент сводила судьба, в чьей части или соединении мы оказывались тогда по долгу службы.

Слушая такие стихи, военные товарищи улыбались, порой смеялись, и меня это всегда радовало — добрая людская улыбка всегда признак душевного здоровья, а на войне особенно.

Когда писались эти стихи — полушутливые и вовсе шутливые, просто не думалось о том, будут или не будут они когда-нибудь напечатаны. Некоторые из них — «Не сердитесь, к лучшему...», «Если бог нас своим могуществом...» — были напечатаны, некоторые не были. Среди этих последних, непечатанных, есть такое шуточное стихотворение: «Сказка о городе Пропойске». Хотя оно названо «сказкой», но город Пропойск на самом деле есть, вернее — был. В начале войны именно там, в Пропойске, мы чуть не попали в руки к немцам и хорошо запомнили его.

Года через два, на другом фронте, я встретился с несколькими, служившими теперь уже в другой части, людьми, с которыми когда-то судьба свела меня в Пропойске. Мы были взаимно рады этой встрече, потому что я не думал, что живы они, а они не знали, жив ли я, хотя и читали мои корреспонденции в газетах, но не связывали их с тем интендантом второго ранга Симоновым, с которым они вместе мыкали горе летом сорок первого года.

Вот для этих-то товарищей, по случаю новой встречи с ними в куда более хорошие времена, я и написал свою «Сказку о городе Пропойске».

Кстати сказать, в то время Пропойск все еще продолжал существовать как таковой на географических картах. Исчез он с карт позже, когда наши войска освободили его от немцев.

Это было уже время салютов, когда особо отличившимся дивизиям присваивали названия взятых ими городов. Однажды утром, читая приказ и отмечая по карте продвижение наших войск по знакомым местам Белоруссии, я долго с недоумением искал торжественно названный в приказе город Славгород, взятый нами накануне. Искал до тех пор, пока исходя из общей линии фронта, не понял, что нынешний Славгород — это и есть не что иное, как вчерашний Пропойск. Видимо, кому-то показалось неудобным при составлении приказа присвоить соответствующее название доблестно освободившей Пропойск дивизии. Наверно, заколебались — как это будет потом звучать: «номер такая-то Гвардейская Пропойская...»? Уж не осудят ли, не улыбнутся ли, а может быть, чего доброго, позавидуют?

Ну, вот и все.

А после этого предисловия предлагаю вашему вниманию саму сказку. Не скрою — с некоторой опаской и даже с готовностью принять от кого-нибудь серьезного человека порцию критических розог. В крайнем случае даже заранее готов признать свою ошибку: действительно, совершенно верно, когда писал, сам улыбался, не придал вопросу серьезного значения, как-то односторонне подошел, недоучел, недодумал...

СКАЗКА О ГОРОДЕ ПРОПОЙСКЕ

Когда от войны мы устанем,
От грома, от пушек, от войск,
С друзьями мы денег достанем
И выедем в город Пропойск.

Должно быть, название это
Недаром Пропойску дано,
Должно быть, и зиму и лето
Там пьют беспробудно вино.

Должно быть, в Пропойске по-русски
Грешит до конца человек
И пьет, как в раю — без закуски,
Под дождик, под ветер, под снег.

Мы будем ни слуху ни духу
Там жить — пока нас не найдут,
Когда же по винному духу
Нас жены отыщут и тут, —

Под нежным влиянием женским
Мы всё до конца там допьем
И город Пропойск — Протрезвенском
На радость всех жен назовем.

Домой увозимые ими,
Над городом милым взлетим
И новое, трезвое имя,
Качаясь, начертим над ним.

Но буквы небесные тленны,
А змий-искуситель силен!
Надеюсь, опять постепенно
Пропойском окрестится он.

Такое уж русское горе:
Как водка на память придет,
Так даже Каспийское море
Нет-нет и селедкой пахнет.

Нина БЯЛОСИНСКАЯ

СТИХИ О ДОМЕ

Опять меня бродягою зовешь.
А женщина должна быть домовитой.
Да, домовитой, а не деловитой.
И ты меня домой, домой зовешь.

А я давно в твоём большом доме.
Давно в его тепле, в его дыму
И хлопочу,
И душу отвожу,
Я на его «квадратных километрах»
Давно свои порядки навожу.

Ах, как велик твой дом!
Он так велик,
Что ты к нему и сам-то не привык.
Все в уголок зовешь:
— Да посиди ты. —
А мне — мести.
А тут метла — ветра.
К корыту мне,

А тут Байкал — корыто.
Мне тесто бы месить —
Мешу бетон,
Стелить дорожки —
И стелю дороги.
И хлеба приношу я —
Не батон,
И молока —
Не кружку,
Не бидон,

А эшелоны
К нам на стол широкий.
А он все шире,
Все просторней дом.
Сам строишь ты его —
Сам посуди ты,
Что, став хозяйкою таких хором,
Я только так
Могу быть домовитой.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАЗНИЦЫ

1

Когда Николай Сидоренко в стихотворении, открывающем его новую книгу «Плещеево озеро», называет свое слово «негромким», что он имеет в виду?

Должно быть, и склонность к спокойному, неторопливому раздумью, и мягкость, нежность родной природы, которую он влюбленно изображает, и самый строй стиха, не украшенный внезапно дерзких метафор.

Но негромкость сама по себе не может быть достоинством стиха, не может стать основой его своеобразия. Негромкая речь Сидоренко вяжна, отчетливо слышима — вот в чем ее сила. Вслушиваясь в слова поэта, вглядываясь в картины, им созданные, убеждаешься в том, что его стих таит в себе возможности и стремления, замечаемые не сразу, что в нем проходят подводные течения, рождающие бури и штормы, что первоначальное ощущение тишины и умиротворенности, рождаемое общением с природой, уступает место иным, более сложным чувствам.

Нет, Сидоренко не отводит взгляда от зорь, плывущих по розовой воде, его слух улавливает и влажный шелест тростника, и таинственный, тихий плеск воды. Все это дорого ему, стало частицей его существа.

А вместе с тем его душевный кругозор не ограничен пределами видимого, его нравственный, гражданский опыт дает о себе знать и здесь — у милых сердцу ясных озер, среди раздольных лугов, в сумраке лесной чащи. Этот второй план как бы просвечивает сквозь тонкий рисунок пейзажей, сообщает им смятенность, словно принесенную ветром издалика.

.. Шла гроза
Над парком бреющим полетом.
И ты смотрел во все глаза,
Как тучи строились по ротам,
Как била молния в луга
Стрелой слепяше голубою,
Хотелось выхватить наган,
Чтобы примкнуть к такому бою
Земли и неба...

«Ты», к которому обращается поэт, — больной командир, томящийся в лечебнице, — и есть душа грозового ландшафта. Конечно же гроза, здесь изображенная, хороша и величественна сама по себе — перед нами не аллегория, а всамделишный разгул стихий. Но как хорошо сходятся две бури — в атмосфере и в сердце, как вырастает стихотворение, вмещающая, охватывая многостороннее движение.

Далеко не всегда подобная двухоборотность образа обязательно сопровождается введением четко очерченной человеческой судьбы. Зачастую поэт остается наедине с собою, размышляя, переживая, вспоминая о прошлом, прозревая будущее. Но и в этих будто бы уединенных думах нет губительной душевной изолированности, замкнутости, попытки перерезать нити, идущие от сердца к сердцу, к множеству сердец... Нелюдимость чужда поэту!

Взор его обнаруживает взаимодействие веков, событий, судеб.

Образ князя, прозванного Невским за победу над шведами, и «могила двух железных комиссаров, что храбро пали на большой заре». «Речки подмосковной нить и звезд немыслимые реки», слитые волей поэта в один поток жизни. Постоянство природы, неизменный круговорот времен года и полет спутников, врывающихся в расчищенный ход небесных светил. Во всем видна необходимость сопоставления отдаленнейших фактов, освещения связей, меж ними существующих.

Контрастность красок, интонаций, оттенков — именно в ней-то настоящая поэтическая прелесть, а отнюдь не в сентиментальности кружев, «что наяву Снегурочкою сплетены», и уж тем более не в назидательном поучении — «Ты фантазируй, это надо». Подобные наставления всегда звучат навязчиво, а в стихотворении «С полустанка» они к тому же сказаны вдогонку, обращены к лирическому герою и его друзьям, которые и без того мечтают — не потому, что «это надо», а потому, что они не могут жить без «фантазии». И каким бы тесным кругом ни стояли леса и пригорки, поэт, упиваясь их недвижимостью, дышит «простором... небывалым» — зовущим, тревожным, заманчивым.

2

Свою книгу «Несколько шагов» Маргарита Алигер открывает полемикой. Она спорит с нытиками, мешающими художникам своими пошлыми и трусливыми советами; спорит и с самоуверенным догматиком — случайным попутчиком, который осыпает ее прописными истинами, общими рассуждениями по поводу... А «повод» важнейший, волнующий: речь идет о месте поэта в жизни. Вот здесь-то, в ответ на поучение — «Надо жизнь чужую изучать», Алигер и высказывает свои кровные убеждения:

Не умею, как бы ни старалась,
Издали рассматривать людей,
Их живая боль, живая радость
Пропросту становится моей.
Сколько ни стараюсь, не умею,
Жизнь моя, делить тебя межой:
Мол, досюда ты была моею,
А отсюда сделалась чужой.

Итак, неспособность, нежелание «специально» изучать людей, разглядывать их в различных «ракурсах», и страстное желание жить с ними нераздельно, слитно, твердая уверенность в том, что так и происходит на деле...

Уж не проповедь ли это «непосредственных впечатлений»?! — может всполошиться какой-нибудь памятный человек, не позабывший дискуссии двадцатых годов.

Но, право же, для подобного опасения имеется мало оснований.

Нету мне ни праздника, ни славы,
Люди мои добрые, без вас.
Жизнь моя — судьба моей державы,
Каждый сущий день ее и час, —

вот завершающие, итоговые строки, наиболее полно передающие поэта. И главное: истина, здесь высказанная, получает развитие в наиболее сильных стихотворениях. Жажда сердечного общения не означает отказа от познания закономерностей действительности, от широкого взгляда на мир.

Об этом свидетельствует «Соната Моцарта»: мгновенное; казалось бы, переживание, рожденное чудесной, светлой мелодией, охватывает и ужас Хиросимы, и опасность, вновь нависающую над пла-

Всей перешедшей по наследству
плотью,
Всем обликом,
которым дорожу,
К широкому в плечах простонародью
Я от рождения принадлежу.

Огромный путь прошли трудовые массы России с октября 1917 года — путь, который привел их к управлению государством, к свободному созиданию, к вершинам науки, искусства, философии. И наши поэты в своих поисках красоты, добра, справедливости достигают успеха, обращаясь к неисчислимой сокровищнице народной жизни, утверждая человечность социалистической революции.

«Слово» — еще одно звено в цепи размышлений и открытий нашей поэзии.

«Наохлившись сурово» (вот характерная для Винокурова краска!), поэт восклицает: «Трудись, мой ум. Трудись, пока я жив!» И вот следуют одна за другою темы, факты, вопросы, привлекающие внимание, будоражащие воображение, тревожащие сердца. «Небо», «Соловей», «Осень», «Учитель истории», «Отрочество», «Пьют пиво», «Дерево», «Упорство», «Купанье детей», «Чудаки», «Немое кино», «Похвала возрасту», «На рынке», «Памятники», «Однофамилец», «Разнообразие», «Свет»... Каждое из этих стихотворений — маленькая монография, попытка определить самую суть «объекта». А «объекты», как видим, взяты из различнейших жизненных рядов, далеко друг от друга отстоящих, разного плана и значения.

Надо признаться, что иногда «сопротивление материала» оказывается непреодолимым. Так соображение, касающееся однофамильца: дескать, он был ни в чем не похож на поэта, ничего не было у них общего,

А все-таки я на него смотрел,
Как будто нас объединяло что-то, —

это соображение, право же, трудно признать ценным открытием. Точно так же трудно обнаружить поэтическое обобщение и в стихотворении «Пьют пиво». Это так называемая картинка с натуры, выполненная с тем сочным пониманием нехитрых вкусовых радостей, которое принято связывать с фламандской школой живописи. Но подобные «бытовые» стихи редки — Винокуров слишком увлечен обдумыванием действительности. Он изображает для того, чтобы исследовать. Многие его стихотворения делятся на две части: в первой дана компактная характеристика, во второй — вывод, итог, определение. Впрочем, иногда эти грани сливаются воедино. Образ соловья, работающего «рук не покладая», «как потный грузчик и чернорабочий»; образ кузнеца, что своими ударами пронизывает мрак, «словно вспышкой грозовой», сами по себе достаточно красноречивы. Красота, которую так давно и упорно разыскивал поэт, на этот раз предстает в своем наивысшем проявлении — созидательном. Это и определяет движение строк, их внутреннюю логику.

Может показаться странным, что поэт, еще недавно так настойчиво подчеркивавший свою верность миру «четких приказов и честных законов», теперь утверждает, что «мир — это лес, в котором нет и двух одинаковых листочков», и призывает искать вещи «того неповторимого оттенка, который единственно вам нужен».

Однако здесь нет непоследовательности, нет отказа от исходных принципов. Напротив, они получают более прочное и глубокое обоснование.

Винокуров и впрямь противопоставляет единичность («Вот дом. Вот сад. Вот человек на лавке») обобщению («У всех у Винокуровых, у вас в наличие алчность к пище от природы», «Лентяи все друзья

твой»). Но обобщению не только недоброжелательному, человеконенавистническому, а и схематическому, лишенному реальной почвы, предвзятому. Честные законы, которые так дороги поэту, здесь приходят в столкновение с «законами» ложными, шаткими, догматическими. И вот тут-то, чтобы укрепить, проверить свою позицию, искатель бросается в гущу жизни. Ее многообразии, ее «единичности» потрясает его. И вместе с тем в бескрайнем изобилии фактов он обнаруживает дорогую его сердцу основу — непреходящую и могучую.

...Небо при видимой его простоте — загадочно: бездонное — оно лежит под водостоком в кадке, посылает зловещие молнии и утешает узников в темнице, поглощает мощный самолет и детский шарик. И всегда при этом остается небом, самим собою.

...Поэт бывал уличным певцом и повелителем, бродягой и клерком, скитальцем и баррикадным бойцом. Но кем бы ни бывал он, никогда ни в чем не изменял себе ни разу.

...Герой, вернувшись с войны, сам в числе миллионов творивший историю, встречает своего школьного учителя истории, который рассказывал ему когда-то об ахейцах, гуннах, рыцарях. Что же — прошлое лишь «груда идей, событий, лиц и дат»? Нет, наш современник на собственном опыте познал закономерности исторического развития:

— Я твой исток не различаю,
Поток, текущий испокон.
Но верю, знаю, ощущаю:
Там, в глубине твоей, закон.

Итак, торжество законов, не только необходимых и справедливых, подтвержденных действительностью и удовлетворяющих чаянья народов...

А отсюда и понимание поэтического долга, рабочее и солдатское, отсюда острое ощущение ответственности:

Стихам своим служу. Я, как солдат, пред ними
Навытяжку стою...

Так может говорить о своем труде поэт, усвоивший цену сознательно дисциплинированной речи, знающий, что «слово движет», что велика его сплывающая, объединяющая действенность.

Вот потому-то, наверное, и назвал так Винокуров свою новую книжку.

* * *

Одна из первых дискуссий о связи поэтов различных поколений развернулась в... стихотворении Багрицкого «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» и завершилась решительным выводом: «Десять лет разницы — это пустяки».

Десятью годами Николай Сидоренко старше Маргариты Алигер. Десятью годами младше ее Евгений Винокуров.

И снова убеждаешься в том, что годы не разделяют поэтов.

У Сидоренко мы находим слова: «Связала времени прямая сегодня двух веков людей...»

У Алигер — «Гремел торжественно и свято единства нашего язык...»

У Винокурова — «И высшей не знаю отрады, чем доброе слово людей».

Каждый сказал на свой лад. И об одном и том же — о великой сплоченности множеств, ставшей основополагающим принципом нашей жизни, о связях, сближающих работников, строителей будущего.

Стремление к единству, дружбе, взаимопониманию людей и народов — вот дух середины XX века. Этим духом проникнута и наша поэзия.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

«ПРАВДА» В ПУТИ

1

Весенняя полночь плывет над Москвою.
Студеный покой разлился над столицей,
над стихнувшей жизнью ее деловой,
над гаснувшей поздних огней вереницей.
Над Красною площадью ветер гуляет,
по улице Горького кружит упрямо,
на голом шоссе чехарду затевает,
трубит у трибун стадиона «Динамо».
Над зданием «Правды» с осанкой прямою,
похожим на каменный выступ утеса,
беснуется ветер, охваченный тьмою,
свистит, партизанит вихрасто и косо.
Весна! Молодая пора-забияка.
И к стати шумит, и резвится некстати...
Зайдем в типографию «Правды», однако,
заглянем в просторное царство печати.

2

Ни звука под кровлей наборного цеха —
ни звона, ни стука, ни всплеска, ни эха.
Умолкла больших линотипов работа,
как будто принудил невидимый кто-то.
Полуночный час. Заповедное время.
Глазастых верстальщиков строгое племя,
осилив последних забот запятую,
оставило вахту свою трудовую.
Давно уже веские полосы-плиты
до буквы притерты, до строчки отлиты,
старательно, туго зажаты в оковы
и к оттиску, словно к полету, готовы.
Да что там готовы! Сроднившись с валами,
изогнуты, ласковой краской задеты,
они уже как бы взмахнули крылами
и начали чудс рожденья газеты.
Привычно, не так чтоб спеша, монотонно
печатных машин быстрина загудела.

Но что это? Розовый свиток картона?
О нем-то и речь моя. В нем-то и дело.

3

Так вот она, матрица! Слепок с живого,
рожденного мыслью, горячего слова,
и копия снимка, и след заголовка.

Как схвачено ладно! Как сметано ловко!
По ходу событий она побывала
в холодных ладонях тяжелого вала
и в жарких объятиях прессы-зажима
лежала покорным листом недвижимо.
И вышла на волю в резьбе узорожий,
с толпою шрифтов в первый раз побалакав,
в накрапах кавычек, в зерне двоеточий,
в побегах крутых восклицательных знаков.
Ударница-матрица! Твердость металла
она в свою емкую душу впитала,
всю суть новостей вобрала до отказа —
и слово призыва, и силу Указа,
и вести с просторов весеннего сева,
и пламенный голос сторонников мира,
и праведный пламень народного гнева,
летающий с плантаций страдальца Алжира,
и гордость простой похвалы по заслугам
людей-маяков в трудовых коллективах,
поддержанных в страдную пору друг другом,
и жесткую критику лиц нерадивых.

Сейчас ее в руки возьмут неторопко,
осмотрят, проверят, подхватят под мышки,
как легкий подарок, положат в коробку
и весело адрес напишут на крышке.
Подвижница-матрица! С сестрами вместе,
с такими же точно стоит она рядом,
готовыми нынче же действовать в Бресте,
трудиться в Баку, подружить с Волгоградом,
готовыми мчаться к верховьям Амура,
на Каму, на Днепр, в Зауралье, на Лену,
где — жарко и ясно, где — зябко и хмуро,
где — зелень по пояс, где — снег по колено,
где — дыбятся льды, где — купаются дети,
где — мох лишь цветет, где — в расцвете
ремёсла,
где — варится сталь, а где — сушатся сети,
где — пышет песок, а где — почва промерзла.
К разведчикам нефти, к рыбацким артелям,
к вихрастым артелям лихих верхолазов,
к властителям рек и полей, к виноделам,
к шахтерам, к добытчикам звездных алмазов!

4

Водителям груз доставлять не впервые.
Несутся по сонной Москве легковые,
несутся на Внуковский порт, на Быково,

в назначенный срок поспевают толково.
Спешат легковые полночной порою.
(Одна — у заставы, вторая — далёко!)
Отправимся мысленно вслед за второю,
за той, что спешит в направлении востока.
Вот спуск. Вот подъем. Вот объезд поневоле.
Вот лес. Вот раскинулось летное поле.
Вот трап начеку. И — ночная поклажа
впорхнула в открытую дверь фюзеляжа.
Чудесницы-матрицы! Без промедленья
простерлась пред ними воздушная трасса.

И краткий ответ на привет-поздравленье,
и сдержанный текст сообщения ТАССа,
и слухи о новых бесчинствах в Иране,
и рапорт-письмо садоводов Ростова,
и вежливо-хлесткий обзор Ратиани,
и полная перца статья Грибачева,
и факт отречения служителя бога,
что секту презрел и безбожьем проникся,
и меткий, разящий, как штырь носорога,
убойный рисунки самих Кукрыниксов —
все, все — от заглавья до строк извещенья —
на бережных крыльях взорлило, взыпало,
вошло в синеву боевого крещенья
и двинулось небом к отрогам Урала!
Топорчатся тучи по курсу полета,

колеблются звезды ночного свеченья.
И вот наконец, по расчетам пилота,
предельно приблизился пункт назначенья.

Но вряд ли я справлюсь с дальнейшим
маршрутом,
чтоб точно поведать, наглядно и броско,
как матрицы ринулись вниз с парашютом
в пучину тумана под самым Свердловском,
как их подхватили надежные руки,
как их приголубили стереотипы
и как из рулонов бумаги по штуке
они породили газетные кипы.
Нет, мне не под силу описывать боле,
как «Правда» возникла в районе Миаса,
на тихой Исети, на бурном Тоболе,
на влажных продымленных кручах Кузбасса.
Прошу извинить за приверженность слога
к земной простоте, а не к модам модерна,
но ежели мне удалось хоть немного
путь «Правды» к читателям выписать
верно, —
я выйду на воздух, вздохну с облегченьем,
сибирской весне подмигну со значеньем,
и в легком блокноте своем обозначу,
что в целом решил боевую задачу.

*Москва — Свердловск — Челябинск — Курган
1962*

● ● ●

Александр ГАТОВ

КЛУБ «ГРЯДУЩЕЕ»

Двадцатый год. Взят Крым. Но с панской
Польшей
Идет война. На запад эшелоны
И на трудфронт. В Донбасс! Заводам — угля,
Печам — поленьев! В городских квартирах
На стенах лед. Едва пыхтят «буржуйки».
Невыпеченный хлеб. Морковный чай.

В редакции «Укросты» я пишу
Листовки разные — то против вши,
То за восстановление. Даешь!
Даешь чугун и хлеб! Даешь победу!
А вечером в собрании дворянском,
Где у резных с драконами дверей
Стоят тяжеловесные две пушки
Очаковских времен, где зал двухсветный
Еще недавно сотрясала медь
Оркестров духовых, звенели шпоры,
В паркете отражались палаши, —
Расположился клуб прифронтной
«Грядущее».

В одной из комнат клуба,
Где потолок с затейливою лепкой
Растрескался и просто было жаль
Увечных ангелов, смотревших сверху,
Где вместо бемского стекла фанера
Скрывала свет и было днем темно,
А в бывшей люстре теплился рожок
Шестнадцатисвечевой, — шло занятие
Литературной студии... Кто там
Бывал в те дни, кто локти клал на стол,
Изделье мастеров итальянских?
Кто были слушатели? День за днем
Тогда менялись голоса и лица:
Сегодня — Харьков, завтра — Львов
и Люблин,

С белополяками бои... Я вижу
Те забинтованные головы и руки
В лубке, на перевязи... Но приходят
Стихи послушать или почитать!

По Харькову в шинели долгополой
Ходил в то время Хлебников голодный.
Худой, обритый после сыпняка.

Подумал я: паек красноармейский
Мог поддержать его, и я дерзнул
Вести в «Грядущее» и Велемира —
Нет разноречья в этих двух понятиях!
За неимением в штатах лектора он был
Зачислен трубачом в оркестре клуба.
Не раз уже он получил паек,
А я старался оттянуть беседу
Его с красноармейцами, увы,
Грозу предвидя и конец печальный.
И вот символику окраски букв
«Лес—лыс», «бог—бег», как азбуку искусства,
Он — день настал — раскрыл красноармейцам
И, я не скрою, вызвал удивленье
Немалое у всех — такое, что
Явился в клуб наш начполитпросвета —
В защитной гимнастерке и в обмотках,
Длинноволосый, с рыжей бородой —
И с вящею наивностью спросил
У Хлебникова: «Вы марксист?», на что
Последовал ответ: «Я — футурист,
А говоря по-русски — будетлянин!»
(О, бедный Хлебников! Конец пайку...)

Среди студийцев был и драматург.
Писал он пьесу, бытовую драму,
Название которой было «К свету!»
Вы улыбнулись — нечего сказать,
Оригинальное название... Но
Был скромн автор, собирался пьесу
Поставить, если будет жив, на сцене
Села, где он учительствовал...
(Всего тогда мне было двадцать лет,
Но, рано утвердясь в лигературе,
Я право приобрел на «да» и «нет»,
Так называемый авторитет.)
Сырые слушая произведенья,
Не возносил их авторов, однако
Старался похвалить у них — без лести! —
Рисунок ясный, настроенье, мысль...
Я говорил, что стих — боец в строю,
Литература звать должна на подвиг,
А значит, потрясать сердца...



Юлия ДРУНИНА

О РОССИЯ...

Залп в тюремной ночи и заглушенный стон —
Человек оседал на холодный бетон,
Но и тут человек не хотел упрекать
Мать Россию, любимую родину-мать...
О Россия, хлебнувшая горя страна,
У меня ты, Россия, как сердце, одна!
Я и другу скажу, я скажу и врагу —
Без тебя, как без сердца, прожить не смогу!
...Коммунист умирал, оклеветан и чист...

На трибуну выходит другой коммунист,
Выключает овации взмахом руки,
Смотрят каждому в самую душу зрачки.
Сколько мужества нужно сегодня ему,
Чтобы с факелом Правды ворваться во тьму!
О Россия, с нелегкой судьбою страна,
У меня ты, Россия, как сердце, одна!
Если больно тебе, значит, больно и мне...
Голос партии снова гремит в тишине!

МОЛОДАЯ ЖЕНА

Он живет — как в юности — в комнатке одной
С худенькой застенчивой молодой женой.
В этой крошке комнате не всегда уют,
Но всегда в той комнате по утрам поют.
А в дворце трехкомнатном царствует одна
Видная завидная первая жена.
Там в хвастливой горке
Чванится хрусталь...
Девочка в каморке
Жадно смотрит вдаль —

Там летят составы,
Там бушуют травы,
Иступленно пляшут по ветру дубравы.
Нет, не спится девочке душевной ночью долгой,
Раскладушка кажется ей вагонной полкой.
И она любимому скажет утром рано:
— Может, подадимся мы в степи
Казахстана? —
Он посмотрит преданно и махнет рукой:
«Где уж тут соскучиться мне с такой?»

ЗАКОННЫЙ СУПРУГ

Соседка Лида — кандидат наук,
Хотя еще и тридцати ей нету.
Работает не покладая рук
И, говорят, хватает звезды с неба.
Но скалятся соседки — почему
Без загса муж живет в ее дому?
Пусть с Лидией на редкость он хорош —
На лирику соседок не возьмешь:
Мещанство мерит глубину сердец
Одним лишь лотом справок и колец...
Вот у лифтерши — загсовский супруг,
Известный тунейдец и пьянчужка,

Он бьет жену, он гадок, как паук,
Но та неприятельна, как чушка:
Не только не уйдет от паука —
Еще глядит на Лиду свысока!
Она горда собою. Почему?
Законный муж живет в ее дому!
Она поносит Лидию везде —
Законный гад живет в ее гнезде!..

Каким бывает жалким человек
В наш гордый атомный
надзвездный век!

• • •

Евгений ВИНОКУРОВ

* * *

Мне грозный ангел лиры не вручал.
Рукоположен не был я в пророки.
Я робок был. И из других начал
Моей подспудной музыки истоки.

Больной лежал я в поле на войне,
Под тяжестью сугробного покрова.
Рыдание, пришедшее ко мне,
Был первый повод к появлению слова.

И не внимал я голосу творца!
Но чую вдруг, что оставляет сила! —

Кровь отошла неожиданно от лица
И к сердцу на мгновенье подступила.

И жалобы моей полночный крик
Средь тишины, наполнившей траншею,
Был беззащитен, но и был велик
Одною лишь истощенностью своею.

И был совсем, признаюсь, ни при чем,
Когда, больной, дышал я еле-еле,
Тот страшный ангел с огненным мечом,
Десницей указующий на цели.

* * *

Человек пошел один по свету.
Поднял ворот, запахнул полу.
Прикурил, сутулясь, сигарету,
Став спиною к ветру,
на углу.

В парк вошел. Зеленоватый прудик.
В лодках свежерашенных причал.

Отломил, посвистывая, прутик,
По ноге зачем-то постучал.

Плюнул вниз с дощатого помоста.
Так, лениво плюнул, не со зла.
Ничего и не случилось, просто
Понял вдруг:

а жизнь-то ведь прошла.

* * *

Порой в гостях за чашкой чая,
Терзая ложечкой лимон,
Я вздрогну,
втайне ощущая
Мир вечности, полет времен.

И чую, где-то по орбитам
Мы в беспредельности летим.
О если б воспарить над бытом,
Подняться бы,
восстать над ним!

И выйти на вселенский стрежень,
И в беспредельности кружить,
Где в воздухе, что так разрежен,
Нельзя дышать,
но можно жить.

СТРАХ

В это время в малиновой шапке начальник
Дал сигнал.

Я к вагону рванул напрямком,
На отлете держа алюминиевый чайник,
Неопрятно плескавшийся кипятком.
На подножку хотел я вскочить. Без снаоровки
Промахнулся, но поручни крепко схватил.
И походных ботинок пудовых подковки
Заскребли о бегущий перронный настил.
И повис я.

И, как у канатной плясуньи,
Что готова вот-вот потерять высоту,

Зябко волосы мне шевельнуло безумье,
И почувствовал я привкус крови во рту.
Поезд мчал.

Я пытался подняться и, тужась,
Вверх хотел подтянуться усилием одним.
И под танец колес, навевающий ужас,
Горло мне разорвало вдруг воплем немым.
Я висел, ручку чайника больно сжимая
В пальцах, красных от бешеного кипятка.
И летела черта надо мною прямая
Горизонта,
отчетлива и далека.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ПОЛЬСКОЕ

Конфедераток тузы бесшабашные
Кривы.
Звезды вонзались, точно собашник,
В гривы!

Польша — шампанское, танки палящая
Польша!
Ах, как банально — «Андрей и полячка»,
Пошло...

Выросла девочка. Годы горят. Партизаны.
Проволоки гетто,
как тернии, лоб ей терзали...
Как я люблю ее
еле смеженные веки,
Жарко и снежно, как сны —
на мгновенье, навеки...

Во поле русском,
аэродромном,
во поле-полюшке
Вскинула рученьки
к крыльям огромным —
Польша!

Сон? Богоматерь?

Буфетчицы прыщут, зардев, —
Весь я в помаде,
Как будто абстрактный шедевр.

Иван ХАРАБАРОВ

* * *

Согретое живой улыбкой Ленина,
Смелеет все, что молодо и зелено,
Уходит все, что лживо и мертво, —
Вот почему я вдаль смотрю уверенно
И твердо верю в наше торжество!

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

То ковер-самолет был —
и в этом готов я поклясться.
Потому что меня
перенес он за полчаса
В край, где солнцу весны
не хотели сдаваться пространства,
Снег победно сиял
и под снегом темнели леса.
Здесь дома пахнут хвоей,
а небо такое высокое!
Даль под солнцем
белее всех мыслимых в мире белил,
И названия рек удивительны:
Согожа-речка и Сога —
Как варяжская сага,
как говор славянских былин!
В ресторане районном
я пью желтоватое пиво,
Слышу оканье севера,
слышу певучую речь,
Люди входят с мороза
степенно, неторопливо.
У дверей задержавшись,
полушубки снимают с плеч.
С шапок снег отряхают,
уверенны и плечисты,
Гордо руки несут —
как могучей природы дары —
Лесорубы, шоферы, механики и трактористы.
Как лучисты глаза их,
а лица ясны и добры!

Мне они не знакомы.
И всех не узнать их по имени.
Да и, впрочем, при чем здесь фамилии и имена!
Это люди труда, это скромные люди.
Не ими ли
Ты, Россия, славна
и бессмертна во все времена!

Леонид АГЕЕВ

ОБЕД НА СТРОЙКЕ

Подходили машины к домам.
Заходили шоферы в дома.
Руки жен,
руки мам
подавали шоферам корма.
Одобряли еду мужчины,
помогали кормить детей —
женам сглаживали морщины
над восходами радуг-бровей.
Как хозяйева, парни ели.
Оттого-то у матерей
золотые морщины мелели

над закатами радуг-бровей.
Завершался обед, кончался,
допивался домашний квас,
тяжкий маятник откачался
вхолостую, и пробил час.
И по улицам немощеным,
по дорогам среди ям и груд,
за тяжелым, крутым бетоном,
за булыжником многотонным
расходились машины со стоном,
на престол возвращался труд...

• • •

ГАЗЕТЕ — ГАЗЕТНЫЙ СТИХ!

Добрый десяток лет я проработал в газете и знаю, как трудно выкроить на полосе место для стихов. Праздничные номера не в счет. Там стихи как цветы, им всегда рады. Берем будничный, «рабочий» номер. Нам, поэтам, интересно напечататься побыстрее. А кто, как не газета, может наилучшим образом послужить нашему нетерпению? Поэтому в газетных редакциях стихов, как говорится, навалом. Еще больше телефонных звонков: «Когда же пойдут мои стихи?»

Тут-то и закавычка. Не то что для стихов — не хватает места для многого из того, что присылают за сутки селькоры, рабкоры, собкоры, спецкоры и ТАСС. Какими же должны быть стихи, чтобы перед ними посторонился даже отобранный корреспондентский материал!

В спорах о стихах для газеты большинство поэтов, кажется, сошлись на том, что газета должна печатать все, вплоть до пейзажных зарисовок и любовной лирики. Пусть, дескать, читатель отдохнет среди сухой статейной прозы на стихах про любовь и березку. Я не согласен с таким решением вопроса. Читатель берет газету не для того, чтобы литературно отдыхать. Для этого у него есть другие способы: развернет журнал, раскроет сборник. Там есть и березка, и любовь — все, что угодно. А здесь, в газете. . .

Не приравняю
 всю
 поэтическую слякоть,
любую
 из лучших поэтических слав,
не приравняю
 к простому
 к газетному факту. . .

Значит, газетный стих должен быть на высоте газетного факта! Он должен быть по содержанию и полезности равноценен заметке, статье, репортажу, очерку, фельетону и — мечта мечтаний поэта-газетчика — равноценным передовице! Равноценным? Больше: 100 строк газетного стихотворения должны быть по крайней мере в один и одну десятую раза действеннее и наполненнее 100 строк газетной прозы на ту же тему. Тогда будет смысл заверстать поэта вместо собкора.

...Звонок. Редактор берет трубку и в крайнем смущении трет лоб. Он уже по голосу знает — опять Лириков. «Когда же пойдет мое стихотворение?» Стишки задержались, неудобно перед поэтом. И редактор скрепя сердце велит ответсекретарю: «Снимите информацию из Барнаула, дайте Лирикова».

Но как бы обрадовался редактор и вся редакция стихам на любую газетную тему, любого газетного жанра: стих-заметка, стих-статья, стихотворный репортаж, очерк в стихах, фельетон. . . Уж молчу о поэтической передовой — такое счастье сваливалось на нас едва ли три-четыре раза за все существование советской прессы.

Публицистические стихи «Я с голубем стою» Ан. Софронова в «Правде», сотрудничество в «Правде» поэта-фельетониста Олейника, Евг. Евтушенко — спецкор «Правды». . . Разве это не стоящие примеры? Думаю, что на стихах этих поэтов редактор незамедлительно ставил: «В номер!»

Но так бывает не в каждой редакции. Чаще слышишь: «Да это же «в лоб», да это рифмованная проза». Понятно, что о газетном стихе речь должна идти не как о стихе-сырце, «ура»-стихе. Сыромятина и примитив газете ни к чему. Газетный стих должен быть написан на высшем уровне газетной поэзии. Во-первых, содержание: поэту мало быть заставщиком, рисовальщиком, украшателем газетного листа, он должен обладать соборовским чувством газеты, ее потребностей. Во-вторых, мастерство: творческая изобретательность, новизна поиска, постановка художественной задачи — ритмической, языковой, композиционной, эмоциональной, а если есть повод и задор, то и профессионально-полемиической, — в газетных стихах должны быть ничуть не ниже, чем в стихах «книжных», чтобы газетный стих не был стихом-однодневкой, а мог с почетом войти и в книжку поэта.

Ну, а как же с Лириковым? Все непосредственно не связанное с планами рабочих номеров следует помещать в «Литературных страницах». Для того они, видимо, и предназначены. Конечно, бывает и так: в будничном номере идет целевая полоса, скажем, о Сибири. Почему бы не дать в полосу стишок о сибирском пейзаже? Однако в принципе речь должна идти не о таких случайностях, а о газетном стихе-работяге, стихе-тягаче, который бы вез номер наравне с другими материалами.

Но пока что Лириков благополучно печатается. И не только потому, что редактору бывает неловко перед поэтом, но и потому, что поэтическая общественность вроде бы договорилась требовать от газет большего внимания к «тонкой» и меньшего к «лобовой» поэзии.

Станислав РАССАДИН

А ЧТО ТАКОЕ ГАЗЕТНЫЙ СТИХ?

«Поэт Андрей Бездетный, по паспорту значившийся гражданином Иваном Николаевичем Ошейниковым, самым счастливым месяцем в году считал ноябрь.

...Андрей Бездетный уважал даже не весь ноябрь, а только седьмое его число. К этому дню он готовился с лета.

— Богатое число, — говаривал Бездетный.

В этот день даже «Эмиссионно-балансовая газета», обычно испещренная цифрами и финансовыми прогнозами, даже она печатала стихи.

...В этот день на литбирже играли на повышение:

«Отмечается усиленный спрос на эпос. С романтикой весьма крепко. Рифмы «заря — Октября» вместо двугривенного идут по полтора рубля. С лирикой слабо».

Но Бездетный лирикой не торговал».

Это — из фельетона Ильфа и Петрова, напечатанного более тридцати лет назад. Незачем говорить, что все это имеет некоторое отношение и к большинству нынешних стихов «по поводу». Но я привел цитату не за этим.

Очень уж забавное получилось совпадение. Сатирический персонаж Андрей Бездетный и вполне реальный, здравствующий поэт Георгий Горностаев говорят приблизительно одно и то же. Первый пренебрежителен по отношению к лирике — и второй откровенно третирует Лирикова. И оба считают, что так и должно быть: «газетные стихи» ничего общего с лирикой не имеют.

Причем Горностаев — в отличие от бесхитростного практика Бездетного — теоретически доказывает свою правоту.

Он говорит о месте стихов на газетной полосе — хотя, пожалуй, лучше бы говорить об их месте в жизни — и мечтает о том, чтобы стих был «по содержанию и полезности равноценен заметке, статье, репортажу, очерку, фельетону и... передовице. Равноценным? Больше: 100 строк газетного стихотворения должны быть по крайней мере в один и одну десятую раза действеннее и наполненнее 100 строк газетной прозы на эту тему».

Вот такая точность: одна и одна десятая раза. Итак: газетное стихотворение по содержанию должно не отличаться от статьи и должно резко противостоять лирике. Все.

Честно говоря, я бы и не взялся отвечать Горностаеву, если бы его точку зрения никто не разделял. Тогда достаточно было бы телефонного спора. Но, судя по газетам, особенно праздничным, сторонников у Горностаева так много, что экономнее написать статью.

... Два с лишним года назад мы впервые прочли в газетах о сорокадевятидневном дрейфе четверки советских солдат. Естественно, газеты запестрели стихотворными откликами.

Почему-то добрая половина этих откликов напоминала арифметические упражнения учеников начальной школы. Поэты ухватились за цифру четыре, и большинство так называемых «находок» было связано с ней. Мы узнали, что, хотя солдат было четверо, они держались, как один. Узнали, кто с ними был пятым — песня, или любовь к родине, или воля к победе. А один из поэтов занялся более сложным подсчетом:

Вы вынесли
Эти высокие мухи,
И выше они
Человеческих мер!
Вручи из вас каждому
Только по букве,
Вы вместе составите
СССР...

Это, кстати, напоминает упражнения того Андрея Бездетного, который таким образом воспевал тринадцатую годовщину Октября:

Пальцев пять да пальцев пять
Ты сумеешь сосчитать,
К ним прибавить только три —
Годовщину ты сочти.

Впрочем, литературной проблемы здесь нет. В таких случаях надо говорить о вкусе редакции. Я же хочу говорить о другом.

О подвиге четырех солдат написали многие профессиональные и известные поэты. И вот что получилось:

Но не смогли сломить друзей
Ни голод, ни волна —
Влила в них кровь богатырей
Их богатырь-страна.

Это — у одного автора. У другого:

И победили! В рост сумели встать
Лицом к лицу с бедою неминучей!
И оказались Родине под стать —
Своей любимой матери могучей.

На всей земле сегодня говорят
О глубине неслышанной отваги.
Да, для таких подвижников-солдат
Священно слово воинской присяги.

Это — у третьего:

Побили вы отваги все рекорды,
Презревши ярость белопенных вод...

С приездом, парня!
Вас, железотвердых,
На Родине приветствует народ.

Вероятно, найдутся охотники назвать это романтикой, героикой или еще как-нибудь. И спорить с ними трудно. Попробуй докажи, что такое-то стихотворение плохое, а не хорошее. Но против одного уж никто не возразит: различаются эти стихи только размером и именами авторов. Больше ничем.

Почему, собственно, появились на свет эти стихи? Что их авторы хотели сказать читателям? Точнее, что они хотели добавить к газетным сообщениям? Этого мы так и не узнали, потому что за этими стихами не видно поэтов — ни хороших, ни разных.

Отсутствие чувства в стихах оборачивается эмоциональной неправдой. Поэтому такие слова, как «богатыри», «подвижники», «железотвердые», звучат необязательно и высокопарно. Поэтому один из поэтов смог даже договориться до того, что четверо героев «презрели ярость белопенных вод». Ничего себе «презрели»!

И немного спустя в «Литературной газете» появилось такое стихотворение:

...Я вспомнил пристально и зорко
Сквозь развидневшийся туман
Ту легендарную четверку
И возмущенный океан.

...Мы сразу их назвали сами,
Как разумели и могли,
Титанами, богатырями
И чуть не в тоги облекли.

Но вкоре нам понятно стало,
Что, обольщавшие сперва,
Звучат неверно, стоят мало
Высокопарные слова.

По этой раздумчивой, жестковатой суровости мы уже готовы признать поэта. Но может быть, мы помедлим, пока не услышим такую знакомую и всякий раз заново волнующую нежность:

И нам случилось удивиться,
Увидевши в один из дней
Не лики строгие, а лица
Своих измученных детей...

Это Ярослав Смеляков. И больше никому эти стихи не припишешь. Что же, эти стихи написаны «по поводу»? Да.

А какие они — лирические или нет? Конечно, лирические — ведь в них воплощено очень индивидуальное чувство поэта.

Превосходят ли они по содержанию статью или заметку? И тут оказывается, что так просто нельзя ставить вопрос. Как и всякие настоящие стихи — о чем бы они ни были написаны и где бы ни были напечатаны, — они ничего не подменяют и не заменяют. У них свое место в жизни — а значит, и на газетной полосе.

Поводом для стихотворения должно быть не само по себе событие. Им должно быть волнение, чувство радости или гнева, возбужденное у поэта событием. Если этого волнения нет, если поэт остался холоден и спокоен, — лучше помолчать.

Писать без повода, без чувства, имитировать отсутствующую гражданскую страсть — лучше не писать.

— А Маяковский?! — слышу я радостный возглас. — Он же призывал поэтов чаще выступать в газете, быть агитатором, откликаться на все события...

Верно. Только Маяковский призывал не поставлять рифмованные «отклики», а жить жизнью страны, воспринимать каждое событие в жизни народа как свое, личное.

Николай ГРИБАЧЕВ

ВО МНЕ И ВОВНЕ

ГДЕ МЕСТО С КРАЮ!

(Почти не шутка)

О господи! В твоей вселенной,
Когда б она была твоя,
Так много всяких наслоений
Небытия и бытия,

Так много всяческих соблазнов
Уму на этой целине —
От радуги
До звездной плазмы,
До поцелуев при луне.

И вот, телесной оболочкой
Как бы совсем не дорожа,
По ней, в числе различных прочих,
Пустилась в путь моя душа,

Пошла с упорством окаянным,
В распространенный впад искуса,
По небесам, по океанам,
По джунглям и пустыням чувств.

Она, как прорва, ненасытна,
Ей подавай наверняка
Что неизвестно, не испытано.
Что не пережито пока.

И что там явь с горячим буднем —
Она все чаще и во сне
То вдруг меня погонит к людям,
То созовет людей ко мне,

Срастит коня и бронтозавра,
Даст голос рекам и лесам,
А ты гляди, а ты назавтра
Как хочешь разбирайся сам.

И я с ней маюсь, маюсь, маюсь
Все сутки сквозь, все дни в году,
И в бездны века обрываюсь,
И до звезды пешком иду.

И что тут делать, сам не знаю,
И как сказать ей — выбирай
То, лоспокойней, место с краю,
Когда не обозначен край,

Когда и малое событие,
И континенты, и сердца
Взвиты
на яростной орбите,
Где ни начала, ни конца!

ГОРИ, ГОРИ. . .

Всецветность солнечного диска,
Ветра, сводящие с ума,
В озера мерзлые глядится,
Холмами катится зима.

И стынет небо в серой коже,
И лоз обтрепаны хвосты,
И на абстракции похожи
Снегов безмерные холсты.

Но что и взять с нее? По воле
Неодолимых сил извне
Она приходит в лес и поле
В своей холодной белизне.

И не нарушить повеленья,
И штопкой не спасти наряд,
Когда горящие поленья
В свои закаты бросит март.

Пусть нашей песне дольше петься, —
У нас свои календари, —
Но ты всю работу, сердце,
Но ты гори, гори, гори.

Лети в снега и ливни лета,
Спешу, спешу в иную даль —
В конце концов составлен где-то
И наш последний календарь.

В багрянце, в желтизне,
Во всех тонах зари
Пылает лес извне,
И даже изнутри,

И даже по низам
Сентябрьскою росой —
Как будто небесам
Бросает вызов свой,

Как будто нету сил,
Хоть ветерок остер,
Чтоб он заснул, застыл
И краски лета стер...

Вот и тебе бы так
Пылать, моя душа,
Когда подастся знак,
Что осень подошла!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ИСТОРИЯ

История!
Пусть я —
 наивный мальчик.
Я верил слишком долго,
 слишком искренне,

что ты —
точнее всяких математик,
бесспорней
самой тривиальной
 истины.

Но что поделатъ, —
 мальчики
 стареют.

Твои ветра
по лицам их
 секут.

Секунды
предъявляют счет
столетьям!
Я говорю
 от имени секунд...

История
 прекрасная, как зарево.
История
 проклятая, как нищенство.
Людей преобразующая заново
и отступающая
перед низостью.
История
 прямая и нелепая!

Как часто называлась ты —
припомни! —

плохой
 (когда была
 великолепною!),
хорошей
(хоть была
 постыдно подлой!).
Как ты зависела
 от вкусов мелочных,
от суеты,
от тупости души.
Как ты боялась властелинов,
 мерящих
тебя на свой
придуманный аршин!
Тобой клянясь,
 народы одурманивали!
Тобою прикрываясь,
земли
грабили!
Тебя подпудривали!
 И поддурманивали!
И перекрашивали!
И перекраивали!

Ты наполнялась
 криками истошными
и в великаны
возводила
хилых...
История!
Гулящая
 история!
К чему тогда

вся пыль
 твоих архивов?!
 Довольно
 врать!! . .
 Сожми сухие пальцы.
 Живое сердце
 людям отвори.
 Смотри,
 как по-хозяйски
 просыпаются
 бессмертные создатели
 твои!
 Они проглатывают
 немудреный завтрак.
 Торопятся.
 Целуют жен своих.

Они уходят.
 И зеленый
 запах
 взволнованно окутывает их.
 Им солнце бьет в глаза.
 Гудки аукают.
 Плывет из труб
 невозмутимый дым. . .
 Ты станешь
 самой точною
 наукою!
 Ты станешь!
 Ты должна!
 Мы
 так
 хотим.

ВИНТИКИ

Время
 в символе разобраться.
 Люди — винтики. . .
 Люди — винтики. . .
 Сам я винтиком был!
 Старался!
 Был
 безропотным.
 Еле видимым.
 Мне
 всю жизнь за это
 расплачиваться!
 Мне себя, как пружину,
 раскручивать.
 Верить веку.
 И с вами
 раскланиваться,
 люди-винтики,
 люди-шурупчики. . .

Предначертаны
 ваши
 шляхи.
 Назначение каждому
 выдано.
 И не шляпы
 на вас,
 а шляпки! —
 шляпки винтиков,
 шляпки винтиков.
 Вы изнашивайтесь.
 Вы ржавеете.
 Исполняйте

все, что вам
 задано.
 И в свою исключительность
 верьте!
 Впрочем,
 это
 не обязательно.
 Все равно
 обломают
 отчаянных!
 Все равно
 вы должны
 остаться
 там, где ввинтят:
 в примусе,
 в часиках,
 в кране,
 в крышке от унитаза!
 Вам такое
 неудивительно.
 Вам такое —
 как вдох и выдох. . .
 Не приказано
 спорить
 винтику.
 Он молчит.
 На то он
 и винтик.
 Установлено так
 Положено.
 И —
 не будем
 на эту тему. . .

Славься,
винтичная психология!
Царствуй,
лозунг:
 «Не наше дело!»
Пусть
 звучит он
как откровение!
Пусть
 дороги
зовут напрасно. . .

Я не верю —
хоть жгите, —
не верю
в бессловесный
 винтичный разум!

Я смиренню
не завидую.
Но, эпоху
 понять
 пытаюсь,
я не верю,
 что это
винтики
с грозным космосом
 побратались!

Что они
 седеют над формулами
и детей пеленают
бережно.
Перед чуткими
 микрофонами
говорят

с планетою бешеной!
И машины ведут
 удивительные,
и влюбляются
безутешно. . .
Я
не верю,
что это
 винтики
на плечах
нашу Землю
держат! . .
Вот она
 в напряженье невиданном
от морей до морей
расстелена.
Никогда не приснится
винтикам
все,
что сделали
 мы!
Что сделаем! . .

Посредине
 двадцатого века
облетают
ржавые символы. . .
Будьте счастливы,
 человеки!

Люди
 умные.
Люди
 сильные.

● ● ●

ПОЭЗИЯ ВЫСОКИХ ШИРОТ

Помните матроса Пантелея, который в прекрасном стихотворении И. Сельвинского ловко глушил тюленей, привлеченных к рыбацкому боту певучей итальянской мелодией? Так вот, нерпа, убитая им тридцать лет назад в Тихом океане, оказалась столь живучей, что внезапно вынырнула теперь для Юнны Мориц у берегов Таймыра. Зачем? Ведь вынырнула она как легкомысленная вариация на серьезную тему — об опасных соблазнах искусства. Тем более легкомысленная, что вся-то книга Юнны Мориц сложилась как раз под знаком доверия к искусству, которое позволяет ей ощутить полноту бытия, радость познания его глубин.

На сей раз нерпа уцелела. То ли люди стали впечатлительнее («у бригадира сдали нервы»), то ли сама Юнна Мориц сжалась над ней. Нет, пожалуй, слово «жалость» к ней не подходит — она умеет смотреть в глаза самой жестокой правде. А вот умной, всепонимающей доброты ей, видно, хватит на долгую поэтическую жизнь. Доброты и далекого от какой бы то ни было сентиментальности чуть-чуть печального сочувствия людям.

А читатель проникается подобным же родственным сочувствием к самой лирической героине этих стихов: нелегко, наверно, жить на свете с таким острым и неотступным ощущением драматизма жизни. И то, что она не боится в себе этого чувства, не отгоняет его прочь, а смело идет ему навстречу, в свою очередь обостряет ее восприятие красоты окружающего мира, укрепляет в ней веру в человека и надежду на счастье. Это характер ранимый и мужественный одновременно.

Листая страницы сборника Юнны Мориц, легко наметить ступени духовного роста ее героини, проследить ее биографию, которая еще невелика, но уже нравственно значительна. Начало, правда, может показаться традиционным. Неясное, почти безотчетное на первый взгляд пристрастие к дальним дорогам и поездкам, беспокойная тяга в неведомые края, к невиданным морям, туда, где чудится еще зыбкий, но уже притягательно сияющий «контур мечты». Предчувствие простора жизни не обходится без тревог и сомнений — а хватит ли сил, а достанет ли выдержки и самостоятельности, что уже само по себе обещает читательское доверие и отзывчивость? А потом выясняется, что все это не просто «охота к перемене мест», не туристская любознательность и не поиски приключений, а нечто более серьезное. Даль манит ее потому, что без странствий не сложится судьба и не сложатся стихи, а они уже живут в ней, но им пока не хватает глубины и законченности, и для нее это очевидно.

И вообще Юнна Мориц достаточно ответственно и целомудренно относится к своему дару, чтобы не тратить его на пышное, бездумное суесловие. Тем более что действительность сразу ставит перед ней множество вопросов, я бы сказал, морально-психологического ряда. Зачем мужественная простота уживается с бытовой пошлостью? В чем высокое значение разлук? Почему так притягательно все запретное? Где кончаются прихоти многокрасочных впечатлений и начинается подлинное искусство? Когда и как мудрое понимание приходит на смену простодушному удивлению?

Руками нежными своими
Вокруг Москвы копали рвы!

Но это вы душой следили,
Как в надмосковной синеве
Тревожный след чертили крылья
Ушедших в небо сыновей. . .

Но даже по московским скверам
Пороховая мгла плыла. . .
Но как нетленна ваша вера
В нас, оставлявших вас, была!

О, платьишек сиротских ситец,
И вы — на пенсию права!
«Простите, женщины, простите», —
Шуршит могильная трава. . .

Как странно — волосы седые
В прическах ваших вижу я. . .
А ведь в альбомах — молодые,
Двадцатилетние мужья.

II. СОПЕРНИЦА

Она, как брустверы, горбата,
Ужасна в профиль и анфас.
Она сквозь дверь военкомата
Багровый глаз косит на вас.

Она призывна, как повестка,
Лиловым чуть подведена.
Она всех юношей невеста,
И всех мужей она жена.

И в час, когда захоронит
Она средь сполохов-огней,
Мужчины, бросив вас, уходят,
Уходят с ней, уходят к ней.

И уходящих топот мерный
Глушит напутственная медь.
Она уводит самых верных
Свои стальные песни петь.

В своих объятиях железных
Их будет смертно целовать. . .
И с нею спорить бесполезно,
И бесполезно ревновать.

III. ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Нет, никогда не угасала
Людская память о войне.
Гудят военные вокзалы,
И эхо их гудит во мне.

И в этом гуле станционном
Из слухов, правды и легенд, —
Не поезда, а — эшелоны,
Не пассажиры — контингент.

В теплушках нары и скамейки,
В теплушках — удаль, боль и страх. . .
А на перроне — в телогрейках,
Пальтишках, шубках, соболях.

Вокзал гудел, и был значале
Он пестр на слух и пестр на вид:
Там шубки, гордые, молчали,
А телогрейки — те навзрыд.

И разом — колокол! По нервам
Ударил колокола звон,
И остальных — от тех, что в сером, —
Отъединил угрюмо он.

Он плыл и возвещал в печали,
Что семафор уже открыт. . .
И телогрейки замолчали,
А шубки всхлипнули навзрыд.

Взлетел гудок, под сводом рея,
И — повернулось колесо!
И нет ни шуб, ни телогреек,
И нету лиц — одно лицо.

Одно — дрожащее на стыках,
Одно — у неба на щите,
Одно — с Великой или Тихой
Слезянкой скорби на щеке.



Игорь КОБЗЕВ

КАК ЦИОЛКОВСКИЙ

Конечно, над ним коллеги
Подтрунивали в Калуге:
— Куда? На Луну? В телеге?!
— Вы, батенька, близорукий!

Коллеги его отчитывали
(О, эта злая бездарь!):
— Оторваны вы от жизни,
Милостивый государь!

А он, покуда не признанный,
Им отвечал: — Спокойненько!
Оторванными от жизни
Бывают только покойники. . .

И в свете коптилок, вечером,
Под въедливый скрип телег,

Рассчитывал и вычерчивал
Грядущий ракетный век!

Преследуя цель геройскую,
Не бойтесь прослыть кругом
Похожим на Циолковского
«Чокнутым чудачком»!

Пусть в памяти пролетают
Ночные пути планет,
Пусть череп, как планетарий,
Хранит чергежи ракет!

И пусть коллеги, калеки,
Смеются над вами. Что ж!
Прописанный в новом веке
На них уже не похож. . .

Агния БАРТО

ВОВКА — ДОБРАЯ ДУША

(Глава из новой книжки)

У солнышка есть правило:
Оно лучи расправило,
Раскинуло с утра —
И на земле жара.

Оно по небу синему
Раскинуло лучи —
Жара такая сильная,
Хоть караул кричи!

Изнемогают жители
В Загорске-городке.
Они всю воду выпили
В киоске и в ларьке.

Мальчишки стали неграми,
Хоть в Африке и не были.

Жарко, жарко, нету сил,
Хоть бы дождь поморосил!

Жарко утром, жарко днем,
Влезть бы в речку, в водоем,
Влезть бы в речку, в озерцо,
Вымыть дождиком лицо.

Кто-то стонет: — Ой, умру! . . —
Трудно в сильную жару,
Например, толстухам,
Стали падать духом.

А девчонка лет пяти
Не смогла пешком идти —
На отце повисла
Будто коромысло.

Жарко, жарко, нету сил,
Хоть бы дождь поморосил!

Вовка вызвал бы грозу —
Не сговоришься с тучей,

Она — на небе, он — внизу,
Но он, на всякий случай,
Кричит: — Ну где же ты, гроза?
Гремишь когда не надо! —
И долго ждет, подняв глаза,
Он у калитки сада.

Жарко, жарко, нету сил. . .
Пить прохожий попросил:

— Вовка, добрая душа,
Дай напиться из ковша. —
Вовка, добрая душа,
Носит воду не дыша,
Тут нельзя идти вприпрыжку —
Расплескаешь полковша.

— Вовка, — просят две подружки, —
Принеси и нам по кружке!
— Я плесну вам из ведра,
Подставляйте горсти. . . —
Тридцать градусов с утра
В городе Загорске.
И все выше, выше ртуть. . .
Надо сделать что-нибудь,
Что-то сделать надо,
Чтоб пришла прохлада,
Чтоб не вешали носы
Люди в жаркие часы. . .

Вовка, добрая душа,
Трудится в сарае,
Что-то клеит не спеша,
Мастерит, стараясь.

Вовка, добрая душа,
Да еще три малыша.

Паренькам не до игры.
Предлагает каждый,
Как избавить от жары
Разомлевших граждан.

В городе Загорске
Горки да пригорки,
Что ни улица — гора. . .
Шла старушка в гору,
Причитала: — Ох, жара!
Помереть бы впору!

Вдруг на горке, на откосе,
Ей подарок преподносит,
Подает бумажный веер
Вовка — парень лет пяти:
Мол, шагайте поживее,
Легче с веером идти,
Обмахнетесь по пути.

Вовка, добрая душа,
Да еще три малыша,
Да еще мальчишек восемь
Распевают на откосе:

— Получайте, граждане,
Веера бумажные.

Получайте веера,
Чтоб не мучила жара.

Раздаем бесплатно,
Не берем обратно.

На скамью старушка села,
Обмахнулась веером,
Говорит: — Другое дело!
Ветерком повеяло.

Обмахнулся веером
Гражданин с бородкой,
Зашагал уверенной
Деловой походкой.

И пошло конвейером —
Каждый машет веером,
Веера колышутся,
Людям легче дышится.

• • •

Владимир ЖУКОВ

ПАРТА ФУРМАНОВА

Я времени не помню бурного:
подзапоздал,
 родясь в двадцатом.
Но я сидел за партией Фурманова
и чувствовал себя солдатом.

Та школа и сейчас красуется,
меняет номер то и дело.
В родном Иванове на улице,
что называлась Негорелой.

И в школе снова дети учатся,
как Дмитрий Фурманов когда-то.
И в жизни нет прекрасней участи —
быть коммунистом и солдатом.

Иван БАУКОВ

ДОРОГА К СТАНЦИИ

Дорога к станции не близкая,
Но я ей все же благодарен:
Под тою вон березкой низкою
Мне был любовью стих подарен.

А на холме, за речкой Сетунью,
Лишь зарумянит листья осень,
Я часто с местными поэтами
Решал поэзии вопросы.

Пусть не легко дорогой зимнею
Идти на станцию с рассветом,
Зато без запаха бензинового
Я каждый год встречаю лето.

Над календарными листочками
Я не дрожу: «Весна приходит!»
Мне краснотал своими почками
Расскажет больше о природе.

А на заре
Про страны дальние
Кричит мне стая первых чаек.

И трясогузку на проталине
Я раньше всех весной встречаю.

Дорога к станции не близкая,
Порой идешь как по ступеням.
В осенний день здесь небо низко,
Но люди много откровенней.

Мне помогает расстояние
Себя раскрыть, других послушать.
Короткий путь не в состоянии
Помочь войти в чужую душу.

Мои попутчицы случайные
Делились радостью, печалью.
Я знаю горькое отчаянье
Тех, что любимыми не стали.

И если рассказать по совести —
Дорога мне что стол рабочий.

... Вот и сейчас, шагая к поезду,
Я вновь в плену неожиданных строчек.

Владимир ЛИФШИЦ

МАРГЕЛАНСКИЕ САДЫ

* * *

С утра орет петух-горлан —
наместник муэдзина.
Узбекский город Маргелан.
Ферганская долина.

Еще в России время выюг,
еще пуста скворешня,
а здесь уже отцвел урюк
и зацвела черешня.

Шашлычник жарит шашлыки
под небом на мангале.
Громоздкие грузовики
гремят по магистрали.

И, словно древности послы,
задумчиво, без спешки,
везут по улицам ослы
груженные тележки.

Средь тополей и плоских крыш
в стене мы видим дверцу,
и нас приветствует малыш,
прижав ладошку к сердцу.

Мы третий чайник пьем до дна.
Шумят над нами ветки.
Поет над нами бедана,
подвешенная в клетке.

Того же самого пера,
вся та же, что на русском
напоминает «Спать пора! . . .»
в вечерней ржи под Курском.

Я все вобрать в себя спешу,
и, отведя в сторонку,
я оператора прошу
снять чайхану на пленку.

А он в ответ: — Прошла пора
экзотики дешевой!
Сниму я лучше трактора
и этот кран ковшовый. . .

Я умолкаю, посрамлен.
Хоть он меня моложе,
конечно, прав не я, а он.
(Но я, пожалуй, тоже. . .)

Кино. Базар. Подъемный кран.
Дувалов серых глина.
Узбекский город Маргелан.
Ферганская долина.

* * *

— Я не люблю тщеславия могил, —
один мой друг когда-то говорил.

Я с ним согласен: холоден гранит
надгробий пышных и могильных плит.

Высокопарны, приторно-нежны —
слова живых ушедшим не нужны.

И мне могила вспомнилась одна
в прославленном колхозе «Фергана».

Там в изголовье честная звезда
венчает путь отваги и труда.

Спит под звездой Раимберды-ака
в родной земле родного кишлака.

Его деянья и его труды —
цветут кругом фруктовые сады.

И сквозь пролом кладбищенской стены
видны ему просторы Ферганы.

А вдоль дороги, высажены им,
закутаны весной в зеленый дым,

высокие шагают тополя,
ветвями благодарно шевеля.

* * *

В бело-розовом кипеньѣ
маргеланские сады.
Соловьев ночное пенье.
Шелест шелковой воды.

Эта нежность, эта сила
возникала на холстах,
и, конечно, это было
у поэтов на устах.

Как художника работа,
счастье смешано с тоской,
и опять услышит кто-то
все, что слышал Луговской.

Снова хлынет за ворота
бело-розовый прибой,
и опять увидит кто-то
все, что видим мы с тобой.

Ну и что же?.. Ну и что же?..
Ведь и жизнь всего одна,
и всегда одно и то же
распевает бедана.

И всегда звенят весной,
глядя в тихие пруды, —
без меня или со мною —
маргеланские сады.

* * *

Мановением руки
отряхнув дорожный прах,
садоводы-старики
восседают на коврах.

У ковров красив узор,
и лежат ковры в саду,
и ведется разговор
у деревьев на виду.

Председатель держит речь, —
мне известен перевод, —
как взрастить и уберечь
для колхоза каждый плод.

Закивали старики,
речь достойна похвалы.
Опадают лепестки,
попадают в пиалы.

Садоводы говорят.
Я с узбекским не знаком.
Но понятно — «химикат».
Но понятно — «агроном».

Снова чайники в ходу...
Ветер. Солнышко. Апрель.
И метет, метет в саду
лепестковая метель.

* * *

Не томясь
ни голодом, ни жаждою,
меж деревьев тутовых — подряд —
беззаботно
молодые граждане
в люльках одинаковых висят.
Машут ветки
листьями пахучими.
Золотой струится с неба зной.
Молодые граждане поручены
из бригады женщине одной.
Спят, качаясь
как матросы в кубрике,
и, причмокивая, славят бытие
молодые граждане Республики,
сыновья и дочери ее.

Яков АКИМ

* * *

Редактор мой, прости-ка,
Не досаждай перу:
Велишь убрать грустинку,
А я не уберу.

Ее ловил я смутно,
Искал ее следы
В сомнении минутном,
В молчании звезды.

В покинутой отцами
Безбрежности веков,
В несбыточном мерцанье
Далеких огоньков.

Она в осенней прели,
В улыбке старика,
На мокрой акварели —
В лиловости мазка.

И в камне, и в железе
Я выискать берусь
Особую, поэзии
Доверенную грусть.

Она строку держала,
Томилась, как птенец,
И без нее, пожалуй,
Стихам моим — конец.

ЧТО ВИДЕТЬ, А ЧЕГО НЕ ВИДЕТЬ

О чем писать?

По-моему, странный вопрос. Это как если бы, выходя из дому, вы задались вопросительной целью: на что я буду смотреть, когда пойду по улице? Как на что?

— Наверное, на то, что больше всего заинтересует меня!

Хорошо, если это будет вся улица сразу. Но если я не смогу обслужить своим взглядом ее всю, хорошо будет уже и то, что я примечу отдельное дерево, голубя на карнизе, лицо прохожего... И наконец, пусть это будет афиша, пусть это будет...

Вдруг — грозный оклик: «На что изволите смотреть?»

Оглядываюсь: милиционер!

— Я... я смотрю... на витрину книжной лавки...

— А почему, — грохочет он, — на витрину книжной лавки?! А почему не на здание ателье?

— Простите, но разве в этом городе есть что-нибудь такое, на что нельзя смотреть?

...Этой сцены не было и не могло быть. Таких нелепиц не бывает нигде, кроме как на полосах критических статей, авторы которых удивительным образом удивляются: почему тот или иной поэт пишет о том, а не об этом? Или наоборот: об этом, а не о том?

О чем писать?

Этот вопрос можно задать лишь себе самому; поставить его можно лишь перед самим собой.

Другому — это может повредить. Коль скоро поэт уже что-то пишет — что бы он ни писал и как бы несовершенен ни был, — свою синицу он напишет куда лучше, чем твоего журавля. Он работает. Плохо ль, хорошо ли, а работает — и тут уже ему мешать не надо. Искусственность пересадок из одной темы в другую отрывает поэта от обеих тем, одаренного — убивает, бездарного — вдохновляет на новые взрывы пустозвучия.

Вопрос «о чем писать?» еще более странно звучит в своей другой форме, а именно: «что видеть?»

Это даже и не вопрос, а половина вопроса, потому что вопрос «что видеть?» естественно приводит ко второй своей половине: «чего не видеть?»

Ну, это уж совсем что-то не наше: так и веет плесенью!

Не видеть — значит не бороться. Мы не затем построили новый мир, чтобы делить его на видимое и невидимое!

Или завязать глаза, или видеть решительно все! Близоруких больше нет. Есть только зрячие и слепые.

Дело, стало быть, не в том, что мы видим, а в том, как мы видим.

Думается мне, задача критики — заботиться о чистоте мировоззрения поэтов, о нравственной их безупречности, о хорошем вкусе, правильном тоне, главное — о правдивости.

Если же взять и попросту обложить нашу поэзию принудительной тематикой, это принесет пользу и радость, как я уже сказала, лишь самым что ни на есть отъявленным бездарностям.

У нас много поэтов: вполне хватит на то, чтобы в конце концов написать все и обо всем, если это нужно. Но у каждого отдельного порядочного автора есть своеобразие, которое может проявляться во всем, в том числе — в выборе темы.

Михаил СВЕТЛОВ

ДОЖДЬ

Дождь идет. Пустячный дождь идет.
Он — осенний, он — обыкновенный.
Дождь идет. И человек идет.
Он, как этот дождь, — обыкновенный.

Старость, торопить тебя не будем!
Ты придешь немного погоды...
Мне не бурю донести бы людям,
Донести бы капельки дождя.

Я люблю природу: звезды, тучи,
Небо наверху, земля внизу.
Ходит Блок, а рядом ходит Тютчев,
По обочине и я ползу.

Твердо знаю: как мой век ни бурен,
Мне земля видна во все концы.
Не тебе, мой друг Степан Халтурин,
Мне взрывать бы Зимние дворцы.

На спине висит походный ранец,
Выстрел из старинного ружья...
Кто же настоящий итальянец —
Гарибальди или я?

Снова, снова, снова, снова
Юность на меня глядит в упор,
Коммуниста Якова Свердлова
Так мне не хватает до сих пор!

Задыханье, а не передышка!
Нужно, чтоб опять ко мне пришел
Большевик ли старый иль мальчишка,
Только что вступивший в комсомол.

Ежедневно утро оживает,
Ежедневно, что ни говори,
День грядущий людям раскрывает
Свой волшебный занавес зари.

Что нам дождь, он ничего не значит,
Он — обыкновенная вода,
Пусть осенние дожди поплачут,
Я заплачу знаете когда?

Михаил ЛУКОНИН

ПЕСНЯ В ДОРОГЕ

Нас ни кривдой, ни ложью
Не рассорить вовек.
Я приписан к Поволжью,
Я его человек.
Оторви меня только,
Буду жизни не рад.

Нет, моя она — Волга,
Это мой — Волгоград.
Мне начальственным тоном
Пожелали беды.
Мы с соленым Эльтоном
Съели соли пуды!

Поклонюсь я поклоном
Всем зеленым полям,
А не гладкозеленым
Канцелярским столам.
Я обиду и эту
Не поставлю в зачет.

Беды сплыли — и нету.
Волга — дальше течет.
Как я смерть свою встречу,
Как живу, как дышу,
Только Волге отвечу,
Только Волгу спрошу.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

— Я слушаю! —
«Любила!»
— Что? Любила? .. —
«Послушайте,
страдала, и не раз».
— Не слышу, что? —
«На всех углах ловила...»
— Ну, продолжайте,
слушаю я вас.
Искала счастья? Радостей хотела? —
Рокочет трубка:
«То-то и оно!»
— Кто говорит? —
«Да нет, не в этом дело».
— Кто говорит? —
«А вам не все равно?
Вас беспокоит просто незнакомка,
Все говорю из уваженья к вам...»
Сквозь трубку голос слышится негромко
Я чувствую, как холодно словам.
Постойте, как же так,
я понимаю,
Да, понимаю, долго шли года,
И поворачивалась к октябрю и к маю
Земля,
И пролетали города.
Как ей найти в переплетенье света
И в пересвете незнакомых дней,

Легко ли ей, когда летит планета,
Искать свое,
Найти свое на ней.
Я, войны и миры пройдя устало,
Я — площадь от плеча и до плеча, —
Как я не слышал, что она искала?
Как жил, свое смирение влача?
Ей было неизвестно все с начала,
Сердечко в страхе ежилось в комок,
Я не услышал, как оно стучало,
И к ней не вышел раньше, не помог.
Она просила жизнь одну: не выдай!
Во все глаза глядела на нее,
И перехватывало обидой
Тоненькое горлышко ее.
И надо было столькому случиться
И столькому ответить в ответ,
Чтоб нашим двум путям перекреститься,
Найти свое в круговороте лет! ..

— Ну, говорите... —
Нет ее, пропала.
Я понимаю. Не нужны слова.

А к сердцу моему уже припала,
Хохочет —
Золотая голова.

Владимир ЦЫБИН

* * *

Откуда во мне беспощадность,
Что в сердце приходит, слепя?
О, поздняя, правая ярость
Судить и других, и себя.
На правом
Легко оступиться,
В неправом — легко откупиться!
Я славлю крутое смятенье
Своей правоты и чужой!
Сомненье в себе
Как смиренье,
Сомненье в большом — покоренье
Чужим
И судьбой, и душой!
Я славлю упорство, что будет
Победой, —
Лишь этим дышу!
Неправо и строго пусть судят —
Себя сам жесточе сужу!
Сомненье равняется бунту —
Что кружит меня,
Как пращу!
Ничто я себе не забуду,
Себе ничего не прощу!

Ни памяти жаркого праха,
Ни злобы, сжимавшей кулак,
Ни праздного, строгого страха —
Мол, все, что ни сделал,
Не так,
Что я уступал даже в правом,
Не рьяно друзей защищал.
Не только талантом —
Тараном
Дорогу себе пробивал!
Я думал упорно: так надо,
Той верой свой путь осеня!
И все-таки горькой пощады
Себе не просил у себя!..
Мне жалость к себе будто немощь!
Смиренность — страшнее руин!
Откуда во мне эта нежность
И солнечность эта к другим?
На чем эта нежность скрепчала?
О чем эта нежность скучала?
Я знаю: я лучше умею,
Открытей, надежней, верней!
Я чую: я сердцем добрею,
Ведь время со мною добрей!

СМЕРТЬ СТАРИКА

Он слышит,
Как, почувяв дождь,
Корова снова беспокоится,
И думает:
«Скотина все ж,
А тоже у нее бессонница...»
Он дышит тяжело и медленно,
Хватается за левый бок
И смотрит в потолок,
Уверенный,
Что смерть и та бывает впрок!..
И думает:
«Был сухожил,
Жил, только черта понимая,
И сыновей всех пережил
И многих внуков пережил
И все-таки — вот помираю...
Кто постучится в ставень? Кто?
Вот если б можно —
По годочку
Отдал бы каждому сыночку,

А мне-то столько лет на что?..»
Сто весен живший на веку,
Сто изб поставивший в деревне,
Он умирает, как деревья,
На правом высохшем боку.
И, чуя темноту несметную,
Он мечется в тоске опять:
«Вот жалко,
Что рубаху смертную
Из сундука нельзя достать!..
Вот годы прожил без остатка,
Ни дня у жизни не моля!
Хоть жил с семьею не в достатке,
А все же как ей без меня?
Оставляю ей одну избушку,
Где дождик крышу прохудил...»
И вдруг запахло жженой стружкой,
Сосновым холодом стропил.
И вспомнил он свою жену,
Что в сорок пятом похоронена, —
И сердце старое отворено

В ту,
В отшумевшую войну! . .
И, смертную потянув грусть,
Он удивленно потянулся
И к стенке тихо отвернулся
С последней мыслью:
«Отосплюсь! . .»

А утром дым все плыл и плыл
И мужики молчали чинно.
Дым белым
Покрывал морщины
Тому, кто столько лет мужчиной
Единственным в деревне был. . .

ВОЗРАСТ

Я живу, убывая в годах,
Я живу,
 убывая свой страх.
Он приходит глазастей совы.
Он сжигает в глазах моих
 сны, —

И тогда я оглох и ослеп,
Спотыкаюсь о собственный след!
Распрямятся мои кулаки,
Разойдутся мои желваки,
Чтобы встал я, позором покрыт,
Безоружный, как первенца крик!
Почему,
 когда бьют по плечу,
Снисходительно бьют —
 я молчу?

Помню:
 пахнувший весь первачом,
На меня шел с тупым финачом
В Магадане отбывший свой срок
Митька Селезень, давний дружок.
Я бы струсил, —
Но видел в глазах
У него

 я свой собственный страх,
Белый, белый,
 пещерный,
 седой!

Он кричал из него, как живой!
Я тогда устоял, устоял. . .
Я бояться тогда перестал! . .
И когда вот теперь не смогу
Я как надо ответить врагу —
Значит,
 страх мой во мне еще жив.
Как же жить мне,
 не победив
Ни его, ни себя?
 Как же быть?

Я — сильней,
Я хожу напролом,
Я его убиваю добром,
Теплым словом, своей
 красотой.

Пусть не будет
 мой страх добротой!
Помню, в давние, горькие дни
Мать корила меня:
 «Не сболтни
При других о начальстве своем,
Иль о власти еще,
 иль о чем.

За такое, сынок, —
 в Воркуту!»
Я не слушал ее воркотню,
Только видел одно — как в глазах
Подымался стоймя
 ее страх.

Он слезами зрачки пеленал. . .
Может, страх я у ней
 перенял?

О, вернись,
 мне опять улыбнись,
Дядя Митрий — бесстрашный чекист
У тебя я учился — гореть,
Если надо — принять и смерть
За страну,
 за других,
 за себя.

Нет, мой страх не ворвется, слепя,
В мою память, в беду
 и в глаза!

Страх рождает в беде образа!
И пока твоя правда жива,
И пока твоя совесть жива,
Не боюсь за себя, за других
На дорогах эпохи крутых!

• • •

Александр БАЛИН

НЕЖНОСТЬ ЧУГУНА

Ты знаешь нежность чугуна,
Пока не льется он в изложницы?
Она застенчива,

она
В металле в качестве заложницы, —
Опаловая глубина
С оранжевою кромкой кожицы.
Так хочется достать рукой
Такой недолгой и изменчивой,
Как тело трепетное женщины
В заре вечерней над рекой.
Она еще совсем ничья.
Вся —

и желанная,

и пленная.

О, нежность чугуна мгновенная!
Мгновенье жаркого ручья.
И звездопад.

И не дыша

Гляжу,
как льется из ковша.

Гляжу, —
мерцает тускловато.

Нет нежности,
но пусть чревата
Той нежностью твоя душа.

* * *

Земля покоем дорожит,
Чтоб в жите быть,
в лесах...

На бруствере солдат лежит,
Не тает снег в глазах.
А сын его,

его пацан
Не хочет — сиротой,
И поднимает он отца
С земли необжитой.
Идет отец, и руки врозь,
И пятерня — вразлет.
А на рябине ягод гроздь,
А в небе — самолет.
Да только ягоды черны
И облака черны, —

Солдатский сын не знал цветных
Карандашей войны.

Какая,
в сущности,
беда,

Что шлялся большаком
И спрашивал:

— Ты папка?

Да? —

У дядек с вещмешком.
Ему совали концентрат
Чудные мужики
И говорили:

— Так-то,

брат! —

И прятали зрачки.

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

ВОЗРАСТ

Я ждала от двадцати пяти:
— Ты уже крылатая, лети!

Дождалась от двадцати шести:
— Нет, сначала крылья отрасли!

Может быть, услышу в двадцать семь:
— Просто ты бескрылая совсем!

Чтоб усвоить к двадцати восьми:
— Начинай сначала, черт возьми!

* * *

Мы с этой девушкой-аваркой
На пляже нежимся вдвоем
И чай с немыслимой заваркой
Из голубой пластмассы пьем.

Она мне гордо показала
Листы конспектов и программ,
Она мне строго рассказала
Про свой студенческий роман
Секретный. . .
— Что там слушать старых?
Он не такой, он не предаст!

Два поколения аварок —
Какой разительный контраст!

Мать как неслыханную милость
Поездку в город приняла.
А дочь не просто с гор спустилась —
Пять лет в столице провела.
За той адаты, как солдаты,
Весь век тащились по пятам.
А эта — дерзкая!
— Куда ты?
— Куда хочу! —
Да, тут — не там. . .
Но там не только
«Небо, сжался!»,
Не только
«Плачу и молю!»,
Но и «Не тронь!»,
«Не приближайся!»,
«Не наступай на тень мою! . . .»

Он перед нею на колени,
А у нее суровый взор. . .
Мы все — второе поколень,
Которое спустилось с гор.

Борис СЛУЦКИЙ

СВЕТИТЕ, ЗВЕЗДЫ

Светите, звезды, сколько
Вы сможете светить.
Устанете — скажите.
Мы новые зажжем.

У нас на каждой койке
Таланты, может быть.
А в целом общежитии
И гения найдем.

Товарищи светила,
Нам нужен ваш свет,

Мы только обучаемся,
Пока светите вы.

Пока у нас квартиры
И комнаты даже нет,
Но ордера на космос
Получим из Москвы.

Пока мы только учимся,
Мечтаем, стало быть,
О нашей грозной участи:
Звездой горячей быть.

КАК МЕНЯ НЕ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ

Очень долго прения длились:
Два, а может быть, три часа.
Голоса обо мне разделились.
Не сошлись на мне голоса.

Седоусая секретарша,
Лет шестидесяти и старше,
Вышла, ручками развела,
Очень ясно понять дала.

Не понравился, не показался,
В общем, не подошел, не дорос.
Я стоял, как будто касался
Не меня
 весь этот вопрос.

Я сказал «спасибо» и вышел.
Даже дверью хлопнуть не стал.

И на улицу Горького вышел.
И почувствовал, как устал.

Так учителем географии
(Лучше в городе, можно в район)
Я не стал. И в мою биографию
Этот год иначе внесен.

Так не взяли меня на работу,
И я взял ее на себя.
Всю неволю свою, всю охоту
На хореи и ямбы рубя.

На анапесты, амфибрахии,
На свободный и белый стих.
А в учителя географии
Набирают совсем других.

ОЧКИ

— Подкеросинь ему пивоко,
Чтоб заорал он.
(А было это далеко,
Ах, за Уралом!)

Пивоко ему подкеросинь
И дай копченок.
Я не люблю растяп, разинь,
В очках, ученых.

У Юли груди — в полведра.
У Юли — челка.
Она — любезна и добра,
Но к здешним только.

И вот приедем под нос
Суют для пира
Кругом уставленный поднос:
Копченки. пиво.

ПАРК

...Разговорились люди нынче.
От разговоров этих чад.
Вслух и кричат, но вслух и хнычут,
И даже вслух порой молчат.

Мне надоели эти темы.
Я бледен. Под глазами тени.
От этих споров я в поту.
Я лучше в парк гулять пойду.

Уже готов я лезть на стену.
Боюсь явлений мозговых.
Пусть лучше пригласит на сцену
Меня румяный массовик.

Я разгадаю все шарады,
И, награжден двумя шарами,
Со сцены радостно сойду
И выпущу шары в саду.

Потом я ролики надену
И песню забурчу на тему,
Что хорошо поет Монтан,
И возлюбуюсь на фонтан.

И, возжелавши легкой качки,
Лелея благостную лень,
Возьму я чешские шпекачки
И кружку с пеной набекрень.

Но вот сидят два человека
И спорят о проблемах века.

Один из них твердит о вреде
Открытой критики у нас,
Что, мол, враги кругом, что время
Неподходящее сейчас.

Другой — что это все убого,
Что ложь рождает только ложь
И что, какая б ни эпоха,
Неправдой к правде не придешь.

Я не доем шпекачки, встану,
Вновь удеру гулять к фонтану,
Наткнусь на разговор, другой...
Нет, в парк я больше ни ногой!

Все мыслят — доктор медицины,
Что в лодке сетует жене,
И женщина на мотоцикле,
Летя отвесно по стене.

На поплавах уютно-шатких,
В аллеях, где Нескучный сад,
И на раскрашенных лошадах —
Везде мыслители сидят.

Прогулки, вы порой фатальны!
Задумчивые люди пьют.
Задумчиво шумят фонтаны,
Задумчиво по морде бьют.

Задумчивы девчонок челки,
И ночь, задумавшись всерьез,
Перебирает, словно четки,
Вагоны чертовых колес...

НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ

На танцплощадке станции Клязьма,
Именуемой «пятакком»,
Танцует девочка высокого класса
С подобающим пиджачком.
Что мне делать с этим парнишкой,
С его модной прической парижской,
С его лбом без присутствия лба,
С его песенкой «Али-баба»?
Что мне делать с этой девчонкой,
С ее узкой,
приклеенной челкой?
Что скажу?
Назову их «стилягами»
Или просто сравню их с телятами?

Или,
полный презренья усталого,
Поясню:
«Пережитки старого...»
А парень ходит
и в ус не дует,
И ногами
о времени думает.
Не пойму,
не пойму я многого,
И смотрю я в щемящей тоске,
Как танцуют пережитки нового
Возле Клязьмы на «пятакке».

НОВАЯ КНИГА АЛЕКСАНДРА ЯШИНА

У меня был соблазн назвать эту заметку так же, как названа книга, — «Совесьть». Но тогда совесьть оказалась бы в кавычках. А это в данном случае недопустимо, потому что у Яшина имеется в виду совесьть без кавычек. И в этом — значение его книги, ее новизна.

Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!

Совесьть, искренность, скромность, душевность, трудолюбие, бескорыстие, чистота — все это Яшин считает не только достоянием словарей, но и превращает в постоянные мерилы человеческих отношений. Так в этой связи на новом душевном опыте, на новом историческом материале возникает тема Ленина, сильно звучащая в книге, как синоним совестливости и человечности.

Поэт говорит о взыскательной и действенной любви, и тут же возникает образ Ленина, в котором «не парадная, не напускная человеческая доброта». И далее — «Он делил с народом хлеб и воду и хвалился только тем, что есть». Это — масштабно.

И когда в книге возникает призыв — «Спешите делать добрые дела!» — я верю поэту и иду ему навстречу. Я знаю: это не слова. Это выстрадано, и я знаю, что стоит за этими словами.

Как завоевывает Яшин мои симпатии? Очень просто: он сообщает мне только то, во что верит, он не старается приукрасить себя и свои чувства.

Все чаще память изменяет,
Подводит.
Вот опять — пробел...
Но из нее не исчезает,
Что сам бы я забыть хотел.

У нас много авторов, хорошо, превосходно, весьма благосклонно относящихся к себе и беспощадных к другим. Мне куда ближе позиция Яшина: он беспощаден к себе и с добрым, открытым сердцем выходит к людям.

Перед всеми в долгу я,
А чем помогу?
Я много могу.
Ничего не могу.

От горя ушел,
От хвори ушел,
От смерти ушел —
От себя не могу.

Я давно не слышал в нашей поэзии таких воспаленных слов. Это не самобичевание. Это тоска по совершенству, святое беспокойство человека, держащего равнение на идеал. Эти слова не пригодятся цинику и покоробят ханжу. Но человеку труда они придутся по душе.

Яшин это знает. Вот почему он и спешит предупредить: «Боюсь, чтоб кичливость не помешала нам постигать иные миры».

Яростно обрушивается Яшин на двоедушие — этот страшный общественный порок.

Страшно любить и быть нелюбимым,
Жить с людьми,
А слыть нелюдимым.
Страшно недруга боготворить,
Правдою клясться
И зло творить.

Верно, сильно. Но концовка этого стихотворения, ее рецептурный характер не устраивает меня ни по существу, ни по форме. Убежденность и страсть уступают место назойливой дидактике:

Только терпенье, одно терпенье.
Выдюжить, выждать —
И в свой черед
Все образуется, боль пройдет.

Это сказано по типу: «Ничего, до свадьбы заживет!»
Я поклонник не всех книг Александра Яшина. Но эта книга о со-
вести современника не может оставить равнодушным. Она рождена
горячим сердцем.

Михаил ДУДИН

* * *

У меня не смертельная рана,
Я еще доползу до огня.
Улыбается мальчик с экрана,
Бесподобно играя меня.

Добреду, опираясь о стену,
До палатки с кровавым крестом,
Зал внимательно смотрит на сцену —
В жизнь мою на ходу холостом.

Жизнь моя мельтешит и мелькает
И у смерти висит на краю.
Удивляюсь, откуда он знает
Обожженную душу мою.

Я совсем этвергаю досаду
И клопный ее непокой.
А своею игрою награду
За меня перехватит другой.

С голубого экрана без грима
Он сойдет через десять минут.
И девчонки в бездумье игриво
Спотыкаясь за ним побегут.

Он пройдет, на меня непохожий,
Улыбаясь загадочно мне:
Дескать, шире дорогу, прохожий,
Отойди и постой в стороне.

Что ж, толкайся, но только не шибко.
Торопись, но спешить погоди, —
Где-то есть в моей жизни ошибка,
Не споткнись о нее впереди.

И не хмурь недовольного взгляда,
Непокорный вихор теребя.
Не играй меня, мальчик, не надо, —
Я и сам доиграю себя.

Михаил ДЕМИН

ДОРОЖНЫЕ ОГНИ

Огни смещаются, вращаясь.
Бегут огни,
не прекращаясь.
В струистом рокоте лесов
тревожен
их далекий зов.
И вот забрезжил, возникая,
и встал огонь у полотна,
у полотна — где мгла плотна...
И на мгновение такая
вдруг разразилась тишина!
Там к покосившимся воротам
ведет, пронизывая мхи,
тропа
с внезапным
поворотом,
как современные стихи.

Она ведет в сырую просинь.
Окно...
На нем проявлен профиль.
Сырой сквозняк знобит свечу.
Я подойду!
Я постучу!
Быть может — ждет...
Ведь, может стать,ся,
вовек мгновенья не вернуть;
что стоит — встать,
стоп-кран рвануть,
остановиться
и остаться!
Но за окном бегут, вращаясь,
бегут огни,
не возвращаясь.

Семен КИРСАНОВ

ЭДЕМ

(Из лирического дневника начала войны)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ты, если болен, положишь на бред.
Не охлаждай свой жар литературой.
Горишь? — гори, и если лоб нагрет,
Живи с высокою температурой.

Уверен будь, что бред не подведет,
Ни слова лжи горячка не прибавит,
И здравый смысл в палату не войдет
И не поправит сбившийся алфавит.

Болеет одной горячкою души
С Землею, воспаленной и недужной? —
Так не спеши с упреком, а реши:
Переболеть, чтоб выздороветь, нужно.

Ты, плача, расстаешься, но идешь,
Познав, что несть из мертвых воскресенья,
Ты чувствуешь не собственную дрожь,
А мировую зыбь землетрясения.

Все кратеры растрескались, дымя,
Дома стоят с контуженными лбами,
Когда вулкан поблизости — земля
И та не может жить без колебаний!

Ты врезывался словом и мечом
В стальные груди панцирного Ада?
Ты ощущал болезненным плечом
Удары в сердце, как толчки приклада?

Ты на передней линии полей,
Твоя душа изрыта и кровава? —
Так погружайся в обморок, болей!
Боец на боль приобретает право.

Не охлаждай свой жар, горишь — гори!
Вот так оставь нетронутыми строки,
А если есть табак — перекури
Рецензии, намеки и упреки.

Поберегись резинкою стирать
И подчищать своей души тетрадь.

1

И губ мы еще не успели, не отняли,
И будущность не загадали свою,
И мы еще не были вместе на отмели,
Где место себе присмотрели в Раю.

Еще я смотрелся в два утренних глаза,
Семь дней от Начала еще не прошли,
Еще мы не слышали Трубного Гласа
И первую сводку еще не прочли.

Еще не по карточкам куплено яблоко,
Еще мы острим о библейском уже,
Еще продолжается райская ярмарка —
Мгновение между «еще» и «уже».

Газеты еще довоенные изданы,
Мы в поезде знать не могли ни о чем —
Что мир раздвоился, что мы уже изгнаны,
Что нас уже огненным гонят мечом.

Мы точно к бомбежке в гостиницу прибыли,
В начищенный бархатный Бронзовый Век,
И стены задвигались, окна запрыгали,
Увидя Железного Века набег.

Без отдыха, в небе, на бредущем бешенстве
До Вязьмы нас гнал ополчившийся Ад.
Так мир, начинавшийся мифом о беженцах,
За темой изгнания вернулся назад.

Взвывая, носился бензиновый двигатель
За локомотивом на полных парах, —
Но изгнанных — Еву с Адамом — при выходе.
как нас,
 не бомбил Человеческий Враг.

2

Все на белом свете разъезжаться стало
Поднялись и едут. Встали и идут.
Пастухи уводят золотое стадо,
Потому что надо воевать и тут.

Мы еще не видим ни крестов, ни свастик
Духотой вокзалов задышал июль.
Темнотой летит фугасный головастик
В розовый фонтан трассирующих пуль.

Племя пулеметов странно и треного.
Небо тяжело дышит голосом чужим.
Говорит домам воздушная тревога,
Что не мы на тучах дышим и жужжим

К зареву состав подвозит новобранцев.
Появились ночи из других планет.
По краям Москвы стоят протуберанцы.
Погреб ждет рассвета, а рассвета нет.

Крыша бьет багром термических тритонов,
С чувством отвращения отшвырнув в ведро
Сына в одеяле понесла Мадонна
В первый Дантов круг по лестнице метро.

Я записан тоже в легион защитных.
Наискось по сердцу боевой ремень.
И в кармане слева в ладанку зашитый
Лепесток на память и про черный день.

Спрятан и засушен лепесток Эдема.
Говорят, спасает от немецких пуль.
Но в теплушке, здесь, любовь уже не тема,
Как уже не лето — фронтовой июль.

3

Этот страшный август — отче наш, прости! —
Я сравню с началом светопреставленья.
В небе появились желтые кресты
С черными крестами — в лето отступленья

Только мы входили в незнакомый лес,
В затемнение сосен, жаром обогранных,
Сразу рыли щели, чтобы гнев небес
Не настиг бы смертью нас, непогрешенных.

Август, я поверил в воплощенный Ад,
В свист нечистой силы, медленный и тонкий,
И в геенне взрыва умирал снаряд,
Нам высвобождая логово воронки.

Я узнал за август зыблемость земли,
И во время этой восьмибалльной тряски —
Среднеевропейские медные шмели —
Сплющивались пули, ударяясь в каски.

Но когда взрывчаткой в воющей трубе
Вероятность смерти в нашу щель летела, —
Я узнал, что можно — к мысли о тебе
В миг землетрясения прижиматься телом.

И когда, казалось, смерть уже велит
Минному огню распорядиться мною, —
Я спешил взмолиться, но из всех молитв
Имя вспоминал не божье, а земное.

И поверил я: на просьбу «отзовись» —
Издали еще — при имени любимой
От меня мгновенно отклонялся свист,
Слепо повинуюсь приказанью: — Мимо!

4

Войска Геенны и Эдема на середину мира прибыли.
Уже страдания и раны в обоймах выгнутых готовы.
Подвозят ящики с пожарами, землетрясения и гибели,
Вдали столбами соляными стоят заплаканные вдовы.

По пояс в глине первозданной, стальные, серые и серные,
Возникли рати за плечами других, форсирующих Неман,
Отрезают отступающим моря спасительные Чермные,
По сто вулканов ставя рядом, теснят геенняне эдемян.

Штыком проткнуто милосердие, в своей крови лежит добро,
Любовь в разорванной рубахе ведут к пылающему кратеру,
На дыбе нежность, жизнь на плахе, подвешен разум за ребро,
На колесо четвертованья дитя привязывают с матерью.

Дрожит Вселенная от топота, народы на полях распяты,
Лежат с разрезанными выями и обожженными глазами,
Сын Человеческий растоптан, кровоточат его стигматы,
Бегут Иосифы с Мариями, Петры уходят в партизаны.

Чтоб лучше видеть схватку эту, я встал за северным сиянием,
Где низкорослые березы и марсианский красный мох,
Оттуда открывалась сфера и простирались расстояния,
Каких в скитаньях неоконченных и Агасфер обнять не мог.

Я видел, как в Тавриду тычется таран неистовый осадный,
К источникам огнепоклонников, к запасам адского огня,
Я видел дальше — ты в опасности, вот-вот и новые десанты
Отрежут часть Земного Шара, с тобой, навеки, от меня!

5

На снежную землю меня опустило создание
С ревущей утробой и вдаль покатило по тропам.
Когда я увидел ночные погасшие здания,
Я понял, что прибыл к началу второго Потопа.

Тяжелые взрывы до сорванных крыш закоптили их,
Ночная тревога взывала от залпа до залпа,
Одни лишь машины светились еще — как рептилии,
Они проползали, мигая глазами, к вокзалам.

Леса под Москвой закишели уже бронтозаврами,
Убит у заставы один бронированный ящер,
Не все еще дети в теплушки скрипучие забраны,
Не все еще знают о бедствии, им предстоящем.

Но семьи толпились, с пожитками двигались новые,
Одни — относились к своим очагам как утратам...
По рельсам тянулись ковчеги резервные Ноевы
С дымками печурок, кто знает, к каким Араратам?

И я заблудился в путях между Адом и Муромом,
Меня две недели водил и запутывал демон,
Локтями толкаемый, раненный взглядами хмурыми,
В лесу, на разъезде я встретил стоянку Эдема.

Мой бедный Эдем! Бесплацкартный, холодный,
неубранный,
С водою в жестянках, с лиловым огнем керосинки...
Но радуга встречи! Какой семицветностью утренней
Из неба в ресницы, блестя, проступают росинки!

И мы оторвали еще трое суток у вечности
На полках с тюками, на жалких лежанках ночлега.
Сирена кричит. Уже сдвинулось все человечество.
У пристани волжской качается чрево ковчега.

6

Я встретился с чудом, с могучей, сплошной белизной
Лепные снега возлежат, тяжелы и пологи.
Стучит телеграф, что, дойдя до опушки лесной,
Потоки потопа замерзли еще по дороге.

Угрюмые ящеры вязнут в снегу, говорят,
Воители Ада торчат сапогами из снега.
Россия стоит, как надежный, седой Арарат,
С вершиной Кремля, с защитной звездой ковчега.

Космический пух накопился в осях колесниц,
Застыла вода в небесах кристаллической пылью,
И хлопьями сбилась и медленно падала вниз,
И все тяжелели слепых птеродактилей крылья.

И снова остался в живых человеческий род,
Вступивший в союз с величавой морозною твердью,
Закат и Восход превратились в охват и обход,
И жизнь осмелела и стала командовать смертью.

И выпустил голубя утром бумажного я,
Связного любви с треугольной печатью на бланке,
Но он не вернулся, письма не принес от тебя:
Лежат океаны снегов от Земли до землянки.

7

Передней линии окопы, о Елисейские поля!
Мы как на облаке блаженном живем и ходим только в белом.
Скрипят сугробы кучевые, недосыгаема земля,
А наши кельи дровяные зарыты в небе огрубелом.

Барашек белых полушубков, святой апостольский кожух,
Рязанский отрок с автоматом на маскировочном хитоне.
Я с ним по грядам снежно-белым на послушанье прохожу,
Меж пулеметных курьих ножек мы по колена в тучах тонем.

Отсюда в розовом сиянии из-за кустов по Аду бьют
В сетях и мантиях из снега машины молнии и грома.
Во время утренних налетов, как звуки благовеста, тут
Стоит святая канонада на небесах аэродрома.

Иным кладут на лоб кровавый благословение бинта,
Несут на белый стол хирурга, покрыв забвением и болью.
На полпути Земли и Неба лежит запретная черта —
Контрольный пункт между Войною и человеческой Любовью.

А нас на полупоцелуе разъединил мечами бой,
Мы сна вдвоем не досмотрели, когда ворвался грохот грубый.
Следи за картой, слушай сводку — мой крик далекий: «Я
с тобой».
И пусть твой шепот телефонный примчат архангеловы трубы.

Со всеми, кто живет и любит в бою, у Ада на краю,
Я буду ждать, я буду верить, я вымолю тебя у неба.
Я предъявлю дежурным стражам свое, с печатями, «люблю»,
С котомкой веры за плечами, с буханкой фронтového хлеба.

8

Не за жизнь цепляюсь — за тебя.
Я вернусь через неделю к бою.
Ждет меня старинная изба,
Синие наличники с резьбою.

Солью слез не растравляй рубец,
Грустным взором не встречай, не надо.
В двери приоткрытые небес
Вижу свет потерянного сада.

Я иду в мерцающую мглу,
Светом озаренную неясным.
Золотой иконостас в углу.
Полотенце, вышитое красным.

Боже, ты ворот не отворяй.
Я не верю в твой престол небесный,
В облачный, с угодниками, рай,
С титлами славянскими над бездной.

Встреча там? Но я уже познал
Силы атома и тайны клетки,
Я отведал плод добра и зла
Человеком выращенной ветки.

Почему же я к тебе пришел?
Что мне твои лики, твои свечи?
Я не верю, боже, в твой престол!
Но молюсь, как набожный, о встрече.

9

Так я выпросил встречу, молясь и кощунствуя,
И меня в грузовик подсадила мольба,
Ангел холода пел надо мной до бесчувствия,
Опахалом касаясь усталого лба.

И когда я совсем потерял осязание
У знакомых дверей, у земного огня —
Чьи-то пальцы, как пальмы, расцветшие заново,
Прикоснулись и к жизни вернули меня.

И три ночи мы видели сон одинаковый,
И три дня мы делили вино и еду,
И не ведали неба, покрытого знаками,
По ночам предвещавшего людям беду.

Мы ходили во сне только вместе и об руку,
Как корабль сновидений стояла кровать,
Было дело — высокому темному облаку
От воздушных налетов наш дом прикрывать.

Там борьба продолжалась — огромная, трудная,
Поединок не кончился, бой не затих,
Но ворочались в просинях панцири трубные,
Легионы выстраивал Архистратиг.

И когда я вернулся, неся твою заповедь,
В наши темные щели, лишённые дня, —
Человеческий Враг, показавшись на западе,
Бесполезную молнию бросил в меня.

10

Уже привыкли руки срастаться с пулеметом,
Уже лицо притерлось к поле шинели рваной,
Мы дорожим в апреле — не молоком и медом,
А мерзлотой и мраком земли обетованной.

Уже переменялся цвет глаз детей Адама,
Они — сердцебиенья перестают стыдиться,
И научились жизни с промокшими ногами
Они, что в годы мира боялись простудиться.

И нас не укоряют обидой отступленья,
К таким тяжелым ношам привыкли наши плечи,
Любовь нашла такое огромное терпенье,
Что научилась мысли о невозможной встрече.

Солдатскую лопатой мы столько ям нарыли
И столько черных взрывов спокойно отмечали,
Что, может, в самом деле у нас хранятся крылья
Для будущего рая — в котомках за плечами.

Когда подрос подснежник под серую шинелью,
Когда запахло паром окопы на рассвете,
Когда ручей апрельский пополз траншейной щелью —
Большие перемены произошли на свете.

11

А теперь уже это типичного Ада окраина.
Мы спокойно живем на цветном от ракет рубеже,
Где дивизия авелей бьется с дивизией каинов
И Адам наклонился над картой в своем блиндаже.

Белый шар опускался на землю затмением солнечным,
Как, наверное, было за час до рожденья Земли,
Хаос был, вероятно, таким же фугасным, осколочным,
И бризантные брызги, такие же, землю мели.

Я попал в катастрофы, имевшие место до Библии,
В суету элементов, в распад, в огневую метель,
В битву Альфы с Омегой, в ритмичное уханье гибели
Гордых твердых металлов и редкостных редких земель.

У начальника штаба имелись железные данные,
Чтобы адскую бездну сводить методично на нет,
И опять начиналось вторичной Земли созидание,
С непрерывной подачей снарядов, ракет и комет.

Я, когда подо мною дрожала болотная почва,
Сейсмографией сердца вычерчивал эти бои,
А хотел одного: чтоб исправно работала почта,
Чтобы шли аккуратно короткие письма твои.

12

На адрес боя, наугад
Пришло письмо из Рая в Ад.

Исписанный клочок лазури,
Святая весть — что небо есть.
И можно в свете амбразуры
«Люблю» далекое прочесть.

Пусть возвращению не срок
И слышен близко вой снаряда —
Целую свежий лепесток
Нам возвращаемого сада.

А пулемет стучится в ночь,
Мелькающую блеском смерти,
Ракета хочет мне помочь
Найти твой адрес на конверте. . .

Твой адрес? Это целый ответ!
Все руки, ждущие свиданья!
И все глаза, где столько лет
Сияют слезы ожиданья.

13

Мы теперь еще не вместе спим.
Это временно, моя подруга.
Ты не видишь серогорбых спин,
Подползающих к отрогам юга.

Но у нас одни и те же сны:
«Мир настал, и мы остались в мире,
Окна дома не затемнены,
Семьи возвратились из Сибири.

Белый свет горит на площадях,
Ночи — с удивительными снами,
И судьба, бессмертие щадя,
Дорожит оставшимися нами.

Стол накрыт, и белоснежна соль,
Все забыто — взрывы и ознобы,
Медленная ноющая боль,
Скоростные воюющие бомбы.

Женщина не хочет жить вдовой,
Зарастает поле боевое,
У окопов с новой травой
Обнимаются и бродят двое.

Пишет Данте, ищет Эдисон,
Любит Вертер и тоскует Лиза,
Новый Кампанелла потрясен
Красотой порталов коммунизма».

В это завтра хочется смотреть
Нам, забывшим жалость и усталость,
И уже не страшно умереть,
Чтоб оно кому-нибудь досталось.

Так и будет, мы придем в Эдем,
Обожженный до небес геенной!
В ночь войны я вижу новый день —
Радужный, земной, послевоенный.

ПРАВА РОМАНТИКИ¹

Можно создавать стихи, которые для детей будут былью, а для взрослых сказкой. Важно только, где поэты сказку найдут, как ее расскажут. Бывает, поэт вместо того, чтобы рассказывать просто о простом, начинает выдумывать, добавлять «недостающие детали» и, стало быть, обманывать читателя. Быль должна быть правдива. Поэтому хорошие стихи для детей интересны для взрослых.

..Ты мерцаешь
многие сотни веков,
Марс,
планета мечтателей и чудачков.
Марс —
обитель таинственных Аэлит...
Ты плывешь,
красногазым светом облит.
На твоих полюсах
снег лежит голубой...
Марс!
Я с самого детства
бредил тобой.
Жил я,
взрослых вопросами теребя,
и однажды
покаялся
увидеть тебя...

Здесь нет иронии. Сказочная Аэлита взрослых для мальчика-подростка существует в действительности. Существует она и для поэта-романтика Роберта Рождественского, поэта, обладающего редкой способностью писать стихи для взрослых, но так, словно он рассказывает своим читателям об их детстве. У него ненасытная жажда путешествовать. Смотрите-ка, что я увидел и услышал, говорит он, и самые незначительные события превращаются в чудеса.

...Я не мерил высоты,
чуть видна земля была...
Но увидел вдруг —
вошла
в самолет летящий
ты!
В ботах,
в стареньком пальто...
И сказала:
«Знаешь что?
Можешь не убегать!
Все равно у тебя из этого
ничего не получится...»

Рождественский переходом от рифмованного стиха к прозе опровергает читательские сомнения в том, что «так не бывает». Может быть, это ему приснилось, но это не придумано для того, чтобы сделать запоминающееся своей невероятностью стихотворение. Чем-то это похоже на веселые, озорные стихи молодого С. Михалкова «Я приехал на Кавказ...» Рождественский умеет разговаривать стихами, писать для людей, обладающих хорошим слухом, он знает, что иной раз важней,

¹ Из книги «Хорошие и разные», готовящейся к изданию в «Советском писателе».

правильней акцентировать показывающую особенность человеческого характера слово, нежели поражать множеством поэтических изобретений.

Я уехал от весны,
от весенней кутерьмы,
от сосулечной,
апрельской,
очень мокрой
бахромы...

Если зачеркнуть слово «очень» и заменить его инверсионным приемом, конкретизирующим строку, например: «мокрых елок бахромы», стихи утратят нечто весьма существенное. Мальчишеская искренность исчезнет. А она лучше ремесленного мастерства.

Рождественский учился в Литературном институте. О его первых стихах легко вспомнить, когда вспоминаешь открытое окно в полутемной аудитории. Юный поэт любил глазеть во время лекций на облака, листву деревьев и все, что происходит на улице. Тогда он писал:

Мы были рады
 тому, что — лето,
что взять удалось на автобус билеты,
что едем к морю,
 что очень скоро
впервые в жизни
 увидим горы.

Так может сказать каждый; где здесь поэзия? — критиковали Рождественского его сверстники. Им больше нравилось, когда рослый, похожий на голкипера парень читал ершистые, с «маяковской интонацией» стихи, где осмеивались стилиаги и маменькины дочки.

Не понимали, что в стихах, где говорилось о радости «впервые увидеть горы», есть первоначальные черточки характера поэта, если не яркие, то и не раздражительные. Понятней было, что начинающий хочет идти путем Маяковского. И скольких молодых начинающих это погубило... Шагать так же, как великан, может не каждый. Пробовали, спотыкались, и становилось очевидным, что, вместо того чтобы найти свою собственную походку, раздражители принимают неестественные для их характеров позы.

Рождественский любит рассказывать читателю о своем детстве. Это верно, это его тема. Новые стихи «Фотограф», «Концерт» не что иное, как детали и эпизоды детских лет способного поэта. И все-таки Рождественский правильно делает, когда не хочет ограничить себя и продолжает преодоление трудностей. «Неомраченной чертой детства у глаз» (счастливое выражение Александра Грина) обладают в нашей стране люди самых разнообразных возрастов и профессий. Для них поэт должен жить, вдохновляться, путешествовать, чтобы и в ледяной Арктике, и в домашнем тепле поддерживало его

Святое презренье к покою.



Василий ЖУРАВЛЕВ

ЦЕЛИНОГРАД НА ЗАРЕ

Перед людьми непогрешима,
Потягиваясь, спит река.
И ветерок из-за Ишима
Несет дыханье полынка.

За сквером тьякает собака.
Дымится сваленный камыш.
И замирают стайки мака
На глиноземах плоских крыш.

Ползет к заречью неуклюже
Какой-то старомодный двор.
И карагач, завязнув в луже,
Как пьяный, лезет на забор.

И кажется в ночном унынье:
Как бы забывший про дела,
Еще здесь властвует доньяне
Уездный город Акмола.

Но вот, ночную синь узоря,
Степных побудок ветеран,
Уже петух горланит зорю,
Взлетая на подъемный кран.

Но вот смолкает наважденье
Ночных видений во дворе.
И мы встречаем пробужденье
Целинограда на заре.

ГОВОРIT ИВАН ПИМЕНОВ,

тракторист 2 й бригады совхоза «Армавирский»

Говорю:
— Молодым
В одиночестве грустно,
Особенно
Если душа широка!..

Говорю:
— Если нет у воды
Настоящего русла —
Разве это река?

Говорю:
— Не в натуре
Здоровяги мотора,
Скрипя,
Подаваться назад!..

Говорю:
— Застоявшейся буре
Без степного простора —
Где себя показать?..

И еще говорю:
— Без разгона,
Подобного ветру,
Трактористу
Не въехать в зарю!..

— Без целинного гона
На два километра
Как себя развернуть? —
Говорю.

Инна ЛИСНЯНСКАЯ

* * *

Вот какого полюбила!
И целует непокорно.
От него мне — никакого
Ни покоя,
Ни поклона.
Только тропы
Да стропила.
Только блажь таежная...
Вот какого полюбила
Я, неосторожная.
И целует по-медвежьи,
Будто улей — на губах.

Ах,
Пройтись бы по Манежной,
Походить бы
В голубях!
Но косточки — не веточки.
От ветра не хрустят.
Но выросшие девочки
По мамам не грустят.
А только помнят сладко
И пишут впопыхах
Из временных палаток
О каменных домах...

Николай СТАРШИНОВ

* * *

Только-только солнце, полыхая,
Выплывет на ясный небосвод,
Бабушка твоя, совсем глухая,
Медленно выходит в огород.

Синий воздух гаммой звуков вышит —
От колоратуры до басов.
А она гуденья пчел не слышит
И не слышит птичьих голосов.

Но когда над ульем, как над зыбкой,
Низко наклоняется она,
Бесконечно добрая улыбка
Всем ее лицом отражена.

Достает янтарные вошины,
Смотрит, чуть губами шевеля...

На руках, как борозды, морщины,
В них навек запахана земля...

В воздухе уже довольно знойно.
Словно в ожидании дождя,
Разлетались пчелы,
Беспокойно,
Но доброжелательно гудя.

А она с собой, на всякий случай,
Даже дымокура не взяла.
Но ее из всей пчелиной тучи
Не ужалит ни одна пчела.

Потому что им дано увидеть
В силу гениального чутья:
Бабушку никак нельзя обидеть,
Ведь она рабочая,
Своя!..

• • •

Василий КУЛЕМИН

* * *

Неба лоскут
Да высокая цель —
Величественное и простое.
Тоненькая девушка
Уходит в метель,
Чтобы стать Зоей!

В детстве, помню,
Ставил отец
На снежной дороге вешки.

Только хруст —
Из конца в конец —
Хрустят по снегу сапожки.

Солдатская стеганка
Да треух,
Да вся Россия — в наследство!
Стала фигурка ее
Мне вдруг
Вешкой, пришедшей из детства!

Виктор БЕРШАДСКИЙ

ПОЭЗИЯ

Здравствуй, искренний друг,
Моя книга поэзия!
Шелестят на страницах
Леса Индонезии.
И волна
под бенгальскими звездами
катится,

И весна в ней стирает
Зеленое платье.
На поселок,
где домики
ярус на ярусе,

Держит пеленг
Рыбацкая песня о парусе.
На заре не прибой закипает у Беринга —
Разбивается ямб
У скалистого берега.
Я любил.
И любовь, что со мной не лукавила,
Снова сердце
на чистой странице
оставила.

Три небесные звездочки
Синим горением
Над лирическим вспыхнули
стихотворением.

Я поверил,

Узнав вдохновенные почерки, —
Что творцы современной поэзии —
летчики.

Что Гагарин стихи сочиняет,
случается,
Только их никому не читает — смущается.
Мчитесь стих с автоматом
И кистью художника,
Чтоб спасти на рассвете в Бизерте
заложника.

На Миссури,
на Темзе,
на По,
на Замбези я!

Рвет пространство
в четыре мотора
Поэзия.

Я хочу, чтоб жила ты
В эпоху реактора
С визой Времени —
главного в жизни редактора.

Чтоб от пламенной Кубы
До северной отмели
Эти строки
всю соль океанскую
отняли.

Николай ГРАЧЕВ

ПЕСНЯ О СОЛНЫШКЕ

Метали девчата стога у реки
Да песнями солнышко славили,
Плели по дороге в деревню венки,
А песню
у речки оставили...

Гуляет поземка.
Замерзла река.
А песня о солнышке
тоненько
Плеснулася в полдень
струей молока
О белое днище подойника.

ПАМЯТЬ

Стоял ноябрь.
Рябин пылали кисти,
Бежала зыбь по зеркалам прудов,
И улетали сорванные листья,
Как канарейки желтые, с кустов.

Старик в саду, минуя строй трехлеток,
В движениях своих нетороплив,
Срезал кривым ножом сучки ранеток
И ветки пожилых колючих слив.

Меня тогда
Точил червяк досады,
Мне было жаль загубленных ветвей,
Был неприятен четкий контур сада
С безрукостью античной своей.

Зачем ему переводить на хворост
То, что зацвезть могло бы по весне?..
Старик ворчал, бросая ветки:

— Хворость! —
Он понимал невидимое мне.

* * *

Ничто на свете разом не дается.
Чтоб красоту и истину найти,
Покуда в сердце кровь толчками бьется,
Мне путником
без устали
идти.

Иду.
Растет трава.
Бормочут реки.
Лежат стихи мои —
Строка к строке...

...Я не могу забыть о человеке
С кривым садовым ножиком в руке.

ЗВЕЗДЫ

Над полушарием Европы,
Мерцают миллионы лет,
На Альпы, Татры и Родопы
Созвездья льют холодный свет.

А здесь, внизу, еще упрямей
Пылают звезды на пути,

Где нам с обугленными ртами
Тропой боев пришлось пройти

Они из жести и фанеры,
Они не входят в сонм светил.
Под ними те, кто полной мерой
Все звезды в небе оплатил.

ВЕРНОСТЬ

Один свой разговор с Ильей Львовичем Сельвинским, который произошёл добрых пятнадцать лет тому назад, я помню по сей день (и, вероятно, никогда не забуду), потому что в нём определилась для меня главная черта его творческого характера — верность себе.

Прочитав какие-то, по тем временам «рискованные», строки Сельвинского, я долго уговаривала его их не печатать или хотя бы повременить с их публикацией, но Илья Львович был непоколебим.

— Раз я это написал, я, поэт, должен хотеть это напечатать.

Так было всегда: негибкая верность самому себе во всем, что он писал, делала его поэзию порою беззащитной, открывая ударам догматических стрел ее самые уязвимые места. Но эта же верность своей музе, основанная на твердом убеждении в том, что он, Сельвинский, написал в данном конкретном случае только то и только так, как об этом должно было написать, — эта верность сохранила целостным и бескомпромиссным открытым всем ветрам и бурям эпохи творческий характер глубоко самобытного и сильного поэта.

Еще в тридцатых годах Илья Сельвинский провозгласил лозунг возрождения эпоса в революционной поэзии наших дней. И он действительно стремился быть и был эпиком, но эпиком новых времен, когда гигантский накал общественных страстей окрылил эпос силою лиризма. Общее выступало в неразрывной слитности с личным. Для Сельвинского, с его идейно-художественным максимализмом и образной гиперболичностью, этого было мало. Для него общее только тогда могло обрести поэтическую плоть, когда целиком сливалось с интимным.

Это особенно ясно выражено в стихотворении Ильи Львовича «Письмо», адресованном в 1944 году В. Вишневскому и раскрывающем самый процесс перехода личного (и даже интимного) в общее, происходящий в бою. Преодолев все оградительные инстинкты индивидуальности, в том числе и сильнейший из них — страх смерти, личность становится обществом, человек поднимается на философский уровень народа.

И ты глядишь на цепь знакомых рот,
На Сидоровых,

Павловых,

Петровых,

И видишь не соседей, а народ

И волю, а не линию винтовок.

Но начало-то этой всеобщности у И. Сельвинского обязательно коренится в частном, конкретном, человечество диалектически возникает из соседей, Сидоровых и Петровых. Но, раз возникнув, сложившись, эта всеобщность дает человеку, ставшему народом, свои высокие права.

На черной от огня передовой
Дымящаяся

хаосом

великим

История

встает

Рябым от боя,
перед тобой

но интимным ликом.

Как бы замыкающая собою могучий цикл лиро-эпических драм И. Сельвинского, целиком посвященная Ленину трагедия «Человек выше своей судьбы» во многом сходна с ними и в одном, решающем — отлична. Пламенный лиризм образа Ленина здесь высоко оптимистичен, хотя пьеса и кончается смертью уходящего в бессмертие героя. Уже доводилось слышать и читать о том, что в новом произведении И. Сельвинского нельзя принять некоторые его исторически не оправданные тенденции, положения.

Давая в целом высокую оценку трагедии, принимая ее «условность», выражающуюся в том, что герои ее говорят стихами, К. Зелинский сетует, однако, на то, что пьеса эта «еще не является произведением, основанным на историко-документальной почве». Правда, К. Зелинский рассматривает это не как «вину», а как «беду» автора (что, думается мне, звучит синонимично!) и конкретизирует свой упрек неприятия назначения Лениным в качестве своего заместителя на время болезни кузнеца Чохова («Литературная газета» от 21 апреля 1962 года).

Я думаю, что эта позиция критика имеет принципиальное значение и поэтому о ней надо говорить. Она, с моей точки зрения, будучи совершенно правильной в общем, отвлеченном смысле, к трагедии И. Сельвинского попросту неприменима, так как он не писал и не задумывал историко-документальной пьесы, а писал философскую драматическую поэму о бессмертии, выражая в образе Ленина свое понимание коммунизма во всей многогранности и многообразии его воплощения в народной жизни.

Если мы отвлечемся от того живого обаяния, которое исходит от образа самого человеческого из людей, нарисованного И. Сельвинским, то мы увидим за ним вдохновенную работу философской мысли автора, услышим биение сердца поэта, страстно провозглашающего устами своего великого героя свое коммунистическое «верую и надеюсь!».

Как уже было сказано выше, лица, окружающие Ленина, являют собою не портреты неких реально-исторических лиц, а фигуры широко обобщенные. Тяготеющая к троцкизму Крылова; политически легковесный, стремящийся повторять во всем (начиная с галстука) Ленина, но не дотягивающий даже до его тени потенциальный «вождик» Березов; до глубины души преданная делу революции и лично Ленину, но растущая в догматика Лида и такой же преданный, как она, но излишне прямолинейный, склонный к командованию и перегибам Гадалин, — это не просто действующие в конкретно-исторических обстоятельствах люди, а поэтически обобщенные тенденции своего времени. Это те именно тенденции, в силу которых ленинские заветы дано было выполнять не отдельной какой-либо личности, не Сталину, именовавшему себя наследником Ленина, а ленинскому ЦК, народу.

Именно это и выражено И. Сельвинским в мотиве преемственности кузнецом-большевиком Чоховым ленинской власти, мотиве, который был бы немислим в документально-исторической драме, но вполне уместен в лирико-философской поэме-трагедии.

Говоря о той мудрой и терпеливой работе — воспитании — борьбе, которую Ленин ведет с окружающими его и в чем-то ошибающимися людьми, поэт отвечает на общенародное стремление к тому, чтобы, осознав и преодолев все ошибки прошлого, жить и творить по-ленински. И отвечает в каждом отдельном случае по-своему, но всегда в страстном устремлении к Ленину. Именно благодаря лирической выношенности, выстраданности мыслей и чувств поэта, на которые отвечает Ленин в этой трагедии, язык героя предельно поэтически точен, афористичен. Вот Ленин наставляет левацки настроенную Крылову в том, как надо относиться к проблеме самоопределения народов России, в котором не должно быть места грубому принуждению.

Если миллионам, идущим вперед,
Не хочется жить по вашим эскизам,
Делайте так, как желает народ, —
Это и есть настоящий марксизм.

И на вопрос упорствующей Крыловой, в чем же тут марксизм, отвечает:

В чем?
Не человек для революции,
А революция для человека.

Вот Ленин страстно возражает против понимания Крыловой проблемы коммунизма как абстрактной идеи, против попытки заставить людей

Смеяться, дышать —
Все это только по вашим визам,
На все это требуется печать,
А коммунизм — любовь к человеку!

И на попытку Крыловой оторвать якобы любимое ею «дальнее» человечество от сегодняшнего человека, судьба которого представляется ей и ее единомышленникам «мелочью», Ленин выдвигает вопрос о коренном переустройстве общества с сегодняшними, реальными людьми, потому что

Дальный растет из ближнего!

Главная идея, принцип, определяющий ленинское бессмертие, это в трагедии Сельвинского активный гуманизм, великий общественный подвиг, не игнорирующий, однако, отдельного человека, сегодняшнего, в интересах завтрашнего, но совершаемый для счастья «ближнего» во имя «дальнего». Величайшее героическое деяние Ленина, который, узнав о своем смертельном недуге, спокойно и мудро перестраивает свою жизнь с тем, чтобы как можно больше успеть сделать за оставшийся ему короткий срок этой жизни, по Сельвинскому, есть не подвиг отречения, а страстное и радостное творческое воплощение человеком своей личной воли и мечты. И это отнюдь не рисуется поэтом как проявление фанатичного однолинейного характера. Нет! Именно в Ленине воплощено здесь все многообразие человеческих чувств и стремлений. Именно теперь, перед лицом смерти, Ленин начинает ощущать и любить жизнь не только как политик и гражданин, но и как художник, открывая в ней все новые и новые краски, заново осмысливая, например в любовании оперением ворона, что «черного цвета в природе нет», а есть многоцветная «черная радуга». Старость по Ленину: «Это боязнь не успеть», не успеть сделать и перечувствовать все то, к чему естественно и неодолимо стремится действенная, играющая всем своим многоцветьем человеческая жизнь.

Ленин, который исполнен сознанием необходимости дела всей своей жизни, ее полноты, приходит к отрицанию смерти вообще. «Человек несчастлив, ибо умрет», — говорит профессор Бурятов. «Неправда! Он счастлив, ибо родился!» — возражает Ленин. Говоря о том, что даже предсмертные страдания — это жизнь и что радость бытия в том и заключается, что «каждый из нас для себя бессмертен», ибо никто не может осознать, почувствовать своей смерти, увидеть себя на дне могилы, герой провозглашает:

Но если смерть — это минус «я»,
Значит, и нет ее для меня.

Может быть, здесь и в других подобных местах, где до предела точно совмещены общефилософские понятия с интимными ощущениями отдельного человека, и сказывается с особой силой поэтическая концепция И. Сельвинского. Она всегда вела его к удаче или срыву (в зависимости от того, насколько в каждом отдельном случае личное поэта соответствовало общему), но сам-то он всегда оставался ей верным.

Думается, что в трагедии «Человек выше своей судьбы» эта верность себя оправдала.

Дмитрий КОВАЛЕВ

РАСКРАСКИ

Раскраски яркие
Подобны встряскам.
И слепоте подёнок —
Не чета.
Истосковалось время
По глазастым краскам
Прозренья ищут
Темные цвета.
Лицо их
Не желает быть безлико.
Их свежесть непривычная дика.
В потемках виденье.
Беззвукость крика.
Пространство ломится
Из тупика.

* * *

Всё о тебе, всё о тебе...
Но ты —
У дальних тропок тех,
Где спят цветы,
В стране,
Где все навеки позабыто,
Дождями,
Как гвоздями,

Позабито...
Как старятся ровесники твои
С понятиями нестарыми своими!
Как странно,
Что играют
Вновь в бои
И что твое им
Неизвестно имя.

Алексей КОНДРАТЬЕВ

* * *

Все ближе к нам
далеких звезд секреты,
И убыстряет время вечный ход...
Но перед тем, как ввысь уйдут ракеты,
К своей груди Земля сынов прижмет.
Да, звезды ближе...
А Земля — роднее...
И там, в глухой космической дали,
Вдруг станет сердцу
чутьку теплее
От света голубой звезды — Земли...

ТЯЖЕСТЬ ЗЕМЛИ

Было довольно поздно,
Ноги почти не шли.
Казалось, я нес всю тяжесть
Вращающейся Земли.
Вдруг мир покачнулся —
И больно
Ударил асфальт в лицо.
— Давненько я не виделся
С лучшим своим бойцом.
Разведчик Орлов! Хороший...
Откуда? Я слезно рад.
Постой... Ведь тебя убили
Лет двадцать тому назад! —
Небритый, он улыбнулся
И поднял вверх автомат:
— Нет, не убит, бессмертен
Погибший в бою солдат!
А ты это что здесь ищешь,
Ночью, на мостовой?
Давай помогу подняться,
Пошли, отведу домой.
Я слышал — ты стал поэтом?
Давай, лейтенант, пиши,
Только получше, с сердцем,
Чтоб правда, и от души!
Я в рифмах силен не очень,
Но душу всегда пойму.
А правда, она поэту
Приятнее самому! —
Поэт улыбнулся косо...
— А с чем эту вещь едят? —
И был удивлен вопросом
Погибший в бою солдат,
Разведчик Орлов,
Под Клином
Убитый врагом в упор...
Он из-под каски кинул
Поэту в лицо укор:
— Дело, как видно, скверно...
Ты влип в этот мрачный ил,
Ты слезы и кровь, наверно,
Давно, лейтенант, забыл!
А помнишь, какое слово
В санбате ты нам давал?
Сам Батя тебя — Подкова —
Полковник поцеловал!
Ты клялся: «Пока, мол, бьется
Сердце в груди моей,
В стихах будет вдоволь солнца,
Правды суровых дней!»
Нету тебе пощады —

Вставай и пошли скорей! —
 И я почувствовал взгляды
 Своих фронтовых друзей.
 — Куда вы меня ведете?
 Я сам, не толкай,
 пойду! —
 Кто с пулею на излете,
 Кто с мхом и землей во рту...
 Без рук, без обеих даже...
 Все это ко мне ползет...
 Меня обвиняют в краже,
 Расправа поэта ждет!
 Где правда, поэт, тебе мы
 Вручили ее в бою?
 Из этой бессмертной темы
 Долю отдай мою!
 — Долю отдай мою!
 Я ради нее, той доли,
 Я жизнь положил в бою! —
 Было довольно поздно...
 Ноги почти не шли.
 Кажалось, я нес всю тяжесть
 Вращающейся Земли.

Булат ОКУДЖАВА

ЖИВОПИСЦЫ

Юрию Васильеву

Живописцы, окуните ваши кисти
 В суету дворов арбатских
 и в зарю,
 Чтобы были ваши кисти словно листья,
 Словно листья,
 словно листья
 к ноябрю.

Окуните ваши кисти в голубое
 По традиции забытой городской,
 Нарисуйте и прилежно и с любовью,
 Как с Любовью мы проходим по Тверской.

Мостовая пусть качнется, как очнется,
 Пусть начнется,
 что еще не началось.
 Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется.
 Что гадать нам: удалось — не удалось?

Вы, как судьи,
нарисуйте наши судьбы,
Нашу зиму,
наше лето
и весну...
Ничего, что мы чужие,
вы рисуйте.
Я потом, что непонятно,
объясню.

ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Когда метель кричит как зверь —
Протяжно и сердито,
Не запирайте вашу дверь,
Пусть будет дверь открыта.

И если ляжет дальний путь,
Нелегкий путь, представьте,
Дверь не забудьте распахнуть,
Открытой дверь оставьте.

И, уходя в ночной тиши,
Без лишних слов решайте:
Огонь сосны с огнем души
В печи перемешайте.

Пусть будет теплою стена
И мягкой — скамейка...
Дверям закрытым — грош цена,
Замку цена — копейка!

Алла МАРЧЕНКО

«СТРУНА»

Лирическая героиня «Струны» Беллы Ахмадулиной привлекает естественным отвращением ко всему «натужному», принудительному. Даже в любви поэтесса не хочет уступать «свободы». Уже сдавшись, все еще диктует условия:

Мне надобно свободы от тебя,
И торжества, и празднества, и мести.

А ведь ей известно, что чувство свободы, как писал когда-то Л. Мартынов, — «одно из самых трудных чувств на свете».

Свобода равнодушья, ты одна
Будь проклята и будь благословенна.

Однако вместе с «этим чувством трудным» поэтессе достался и еще один дар — уже не только трудный, но и опасный: незащищенность. И потому «свобода равнодушья» очень часто оказывается свободой выбора между «оранжевым» и «алым», между «тем» огнем и «этим», между этой и той болью. Беззащитность перед грубостью, обидой, несправедливостью натягивает «струну» до предела — звук становится непереносимо высоким и пронзительным.

К счастью, еще более «беззащитна» поэтесса перед красотой, будь то человеческое тело, имя, голос, цветок, и особенно перед искусством:

Чужое ремесло мной помыкает...
Поет высоким голосом кинто,
И у меня в тбилисском том духане,
В картинной галерее и в кино
Завистливо заходится дыханье.

Это не минутное восхищение дилетанта, — профессиональная зависть посвященного, добровольно осудившего себя на пожизненную верность своему «ремеслу». И это делает ее — беспечную, капризно-непринужденную, легкую, как девочка на мотороллере, «чье тело светится сквозь плащ, как стебель тонкий сквозь стекло и воду», — тяжелой и медлительной:

Затем твои качели высоки
И не опасно головокруженье,
Что по другую сторону дошки
Я делаю обратное движенье.

Так проносишься, я все еще стою,
Так лепечи, я все еще немею,
И легкость поднебесную твою
Я искупаю тяжестью своею.

«Поднебесной легкостью» заплачено за счастье все испытать, за право увидеть никому не видное.

Л. Мартынов написал: «Я видел очертанье ветра, я видел, как изменчив штиль, я видел тело километра через тропинопную пыль». Б. Ахмадулина пытается «вылепить из лунного свеченья тяжелый, осязаемый предмет!». То есть не просто дать план, чертеж, рентгеновский снимок, но сделать невидимое зримым, пластичным, осязаемым!

Ей нужно приостановить движение, и потому она не берет — «приподымает» «белый снег с земли» и, замедлив быстротекущее, мгновенное, видит, как «нарушались прежние расцветки»...

Способность к усилению оттенков и позволяет ей «безобидно и невинно» «совершать чудеса», например превратить банально раскрашенную автопоилку в нечто фантастически-красочное и пузырящееся газом («Автомат с газированной водой»).

И дело тут не в «импрессионистичности манеры», но в резкой «особливости» — если употребить словцо Достоевского — ее дарования.

Борис ШАХОВСКИЙ

* * *

Прилипала к стеклам мгла слепая.
Спал губернский город.
Русь спала.
Молодых ночей не досыпая,
Гимназист склонялся у стола.

И заря симбирская глядела
Юному мыслителю в лицо.
Может быть, уже тогда —
Что делать? —
Он решал за нас и за отцов...

Входим мы —
Земли Российской дети,
Гордости высокой не тая,
В комнату,
Которая на свете
Многим людям ближе,
чем своя.

Василий ФЕДОРОВ

* * *

О Русь моя!..
Огонь и дым...
Законы вкривь и вкось...
О, сколько именем твоим
Страдальческим клялось!
От мономаховой зари
Тобой — сочти пойдя —
Клялись цари и лжецари,
Вожди и лжевожди.
Ручьи кровавые лились,
Потоки слов лились.
Все, все — и левые клялись,
И правые клялись.

Быть справедливой
Власть клялась,
Не своевольничать в приказе.
О, скольких возвышала власть,

О, скольких разрушала власть
И опрокидывала наземь.

У ложных клятв
Бескрыл полет,
Народ — всему судья.
Лишь клятва Ленина живет,
Лишь клятва Ленина ведет,
Все клятвы перейдя.

Народ,
Извечный как земля,
Народ с большой судьбой,
Все вековые векселя
Оплачены тобой.
Не подомнет тебя напасть,
Не пошатнешься ты,
Пока над властью будет **власть**
Твоей земной мечты.

* * *

Любовь мне
Как блистание
Звезды
Над миром зла.
Любовь мне
Как призвание
На добрые дела.

Чтоб мир
Отмылся
Дочиста,

Душа тревогу бьет.
Любовь мне
Как пророчество,
Зовущее вперед.

Любовь как жажда истины,
Как право есть и пить.
Я, может быть,
Единственный.
Умеющий любить.

* * *

Влюбленных шумно
Легок воз,
Зато любовь
Влюбленных тихо
Как горе горькое без слез,
Как боль болящая без крика.

Молчу.
Таюсь.
Боюсь наскучить.

Иным признанье трын-трава,
Меня же долго будут мучить
В груди
Застрявшие слова.

Иной споет
И отпоется,
А у меня гудит душа
И сердце тяжелее бьется,
Готовое для мятежа.

Николай УШАКОВ

МОДНЫЙ ПОЭТ

Он выступил с крупной ставкой, —
Играл он на тысячу лет.
Он следовал моде.
В отставку,
В отставку уходит поэт.

Не повинуется челюсть,
И голос сорваться готов,
И каждое слово как шелест
Увядших лавровых венков.

В аудитории давка,
Там места свободного нет:
Смотрите —

в безвестность,
в отставку
известный
уходит поэт.

Ладошку приставила к уху,
Но в старческий клонится сон...

Склонилась...
На эту старуху
Напрасно надеялся он.

Ударилась куклой о лавку,
И в зале движение и свет...
Врача поскорее!
В отставку,
В отставку уходит поэт.
Он сменной модой недельной
Когда-то пленял молодежь.
Так что ж ты, цветок рукодельный,
Сегодня не модно цветешь?

Он делал последнюю ставку,
А слева и справа — совет:
— В отставку!
— В от-став-ку!
— В о-т-с-т-а-в-к-у!

В отставку уходит поэт.

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА

УСТАРЕВШИЙ КРАН

Еще недавно грузами ворочал,
И вот он оказался не у дел.
Ему сказал молоденький рабочий:
— Ты, старина, морально устарел.
Пойдешь на слом...
Да ты, чудак, не кисни.
Стать новой сталью —
Это тоже плюс... —
Стараясь в главном не отстать от жизни,
Я не стареть,
А устареть боюсь.

Владимир ФИРСОВ

* * *

Есть в мире нечто большее,
Чем должность и зарплата,
Есть синева глубокая
И золото заката.

Есть в мире тропки узкие
С лосиными следами,
Есть в мире песни русские
И солнце над садами.
Есть в мире люди близкие,
Печали есть людские,
Есть руки материнские,

Усталые такие.
И все-то, все им дорого,
Забоятся о каждом...

Есть где-то та, которая
Не встречена пока что.
Есть горечи и сложности
В забытой мною хате...
А ты, мой друг,
О должности
И о своей зарплате.

Эльмира КОТЛЯР

УРАЛ

(Эвакуация)

Куда этот поезд?
Куда этот поезд?
За Урал.
За каменный пояс.
Над белой зимой
Месяц как неживой.
Это не смешно,
Не глупо.
На платформе
Прощаются два тулупа.
Паровозный свисток
Пополам их рассек.
Чьи-то руки
Хватают за край —
Отпирай! ..
Мальчонка в углу
Тихий, синюшный,
Чужой, ненужный.

Приехали!
Снега, снега,
Крыш берега.
Белый дым
Держит трубу.
Надо привыкать к труду.
Надо пимы.
А у нас

Ничего для зимы.
Ходить по сугробам
По снегам двухметровым...
На работу идешь
Как до звезд!
С деревенскими
По-черному моемся в бане,
Сталкиваемся лбами.
Что я помню?
Спали в сенах,
Пололи сорняк.
Подойдет колхозница,
Скажет с горькой нежностью:
Возьмите огурчика,
Беженцы!
Снопы вяжу, вяжу.
Тяжело,
Никому не скажу.
Солдатки в платках
Как вдовы,
Руки пудовые.
С парнем,
Как царевич с царевной,
Шли деревней.
А потом
Он ушел в обмотках...
У репродуктора
Тихие сходки.

Коптилка,
Стирка золой.
Как в тамбуре,
Уют нежилой.
Ожиданье,
Оживанье...
И только снег, снег.
Если бы есть его можно,
Хватило б на всех.
Помню:
Вышла я на крыльцо.
Время —
Позднее-позднее.
Небо —
Звездное-звездное.
Степанида!
Куда это все бегут?
Сколько кругом народу,
Распахнутые ворота...
Как воздухом захлебнуться

С разбега!
Победа! Победа!
Что ни день
Птицами в поднебесье
Добрые вести.
Эвакуированные,
Как грачи, всполошились,
Уложились,
Уезжают,
Друг друга провожают...
Вот он,
Вот он, мой дом!..
Перекрещены
Занавешенные окна,
Сдвинутый,
Разинутый сундук,
Нежилой дух.
Ключи в чемодане
Два года вдовели.
Не заржавели.

Михаил ЛЬВОВ

УДИВИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ

Я очень любил Колю Майорова.

Мы часто ходили — плечо в плечо — по Москве, он читал мне свои стихи, стихи могучей жизненной силы, и я чувствовал — вдобавок к тому, что восхищался стихами, — трепет юношеской привязанности и верности к более сильному товарищу, абсолютно настоящему во всем, неподдельно сильному и честному. Коля «признавал» меня — это признавало меня благодарностью.

Я понимаю теперь, как я плохо и несмело писал тогда, мне мешала моя провинциальная школа (в поэзии она есть)... Но, конечно, я беззаветно любил настоящее в поэзии, довольно ясно различал — в чужих стихах, — что настоящее, что нет, в этом смысле это понимание меня делало в глазах моих сильных сверстников активным и полезным «штыком» в поэзии. Я лично на этом непонимании плохого и хорошего в своей работе, конечно, потерял много времени и темпов.

Потом, я бы сказал — сжатие судеб, до предела, в годы войны, когда жизнь как бы прижала нас к железной действительности, к железной и трагической реальности, — это сжатие породило первые вскрики перед трагедией жизни, первые пронзительные строки.

Миша Кульчицкий до войны писал:

Я б запретил декретом Совнаркома
Писать о родине бездарные стихи.

Это была маяковская постановка вопроса. Так работала большая группа молодых, истинных и злых, по-честному голодавших молодых поэтов.

Коля Майоров был одним из ярчайших и сильнейших среди них. Он угас на дорогах войны.

Через двадцать лет после его гибели в «Молодой гвардии» вышла его книга «Мы», куда вошла небольшая часть того, что он написал, то, что сохранилось у друзей, у близких.

В книге помещены также воспоминания друзей поэта: Володи Жукова, Николая Глазкова, И. Пташниковой, Даниила Данина. Читаешь эти воспоминания с благодарностью. Душевно хочется поблагодарить В. Болховитинова, В. Жукова и В. Сякина, так много сделавших для того, чтобы книга Майорова увидела свет.

...Вчера на заседании редколлегии «Дня поэзии» я выпросил у Володи Цыбина эту книгу. Вернулся домой поздно. Не спится. Лежит рядом книга Коли Майорова. Тихонько зажигаю свет — боясь разбудить домашних... Листаю книгу, смотрю на снимки Коли... начинаю читать — и возвращаюсь в двадцать лет назад.

Невольные слезы, непрошенные, невызванные. Перед честностью юности, перед пронзительностью трагедии.

Эта книга — не скидка, не дань памяти, это живая, звучащая сегодня поэзия.

Книга открывается мужественным стихотворением «Мы»:

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым:
Не все умрет.

Это звучит как завещание. Это перекликается с лучшими традициями большой русской поэзии.

Коля любил слово «прямой» — он был прямым, точным, верным, как он сам удивительно сказал о себе:

...Где я прошел, большой, нескладный
И удивительно прямой.

Да, удивительно прямой! Таким он и остался в нашем представлении. Жизнь не согнула его — не то что не успела — может, никогда и не согнула бы. Вероятнее всего так, хотя где-то у Хемингуэя сказано, что жизнь ломает всех, что многие только крепче на изломе, что тех, кто не ломается, она убивает.

Сегодня это мне не кажется абсолютной и обязательной истиной. Во всяком случае, применительно к Коле Майорову. Я его не представляю гнущимся перед жизнью. Таким он и остается в благодарной душе ровесников и любимых... .

Читаешь книгу и — живая жизненная сила торжествующе хлещет из строк. Какая жажда жизни! Жажда творчества!

Есть жажда творчества,
Уменье созидать,
На камень камень класть,
Вести леса строений,
Не спать ночей, по суткам голодать.
Не дописав,
оставить кисти сыну,
Так передать цвета своей земли,
Чтоб век спустя все так же мяли глину
И лучшего придумать не смогли.

Именно так! Искусство, настоящее произведение искусства — это то, лучше чего не придумаешь. Можно шагать дальше по тропе искусства, но лучше сделать нельзя.

Я уже как-то писал о том, что у Коли Майорова зрение было как бы цветным, он видел мир густо, красиво, в цветах, в движении, в страстях, в борьбе.

. Мир встает такой неторопливый,
Весь в цветах, глубокий, как вода.

.. Мне двадцать лет. А Родина такая,
Что в целых сто ее не обойти.
Иди землей, прохожих окликай,
Встречай босых рыбацек на пути.

Штурмуй ледник, броди в цветах по горло,
Ночуй в степи, не думай ни о чем,
Пока веревкой грубой не растерло
Твое на славу сшитое плечо.

«Мужество познания и выражения — это и есть литература», — прочитал я когда-то в одном из романов Томаса Манна. В стихах Майорова есть это мужество точного выражения сути вещей, явлений.

Как великолепно звучит стихотворение:

Когда умру, ты отошли
Письмо моей последней тетке,
Зипун залатанный, обмотки
И горсть той северной земли,
В которой я усну навеки,
Метаясь, жертвуя, любя,
Все то, что в каждом человеке
Напоминало мне тебя.
Ну, а пока мы не в уроне
И оба молоды пока,
Ты протяни мне на ладони
Горсть самосада-табака.

В другом стихотворении (1940) он писал:

Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы. . .

Слава, конечно, частенько опаздывает. Но та, которая приходит с опозданием, приходит надолго. Всерьез. Слава Коли Майорова слита со славой нашего поколения — вместе с ним он пришел к славе, в поэзию. С ним — со своим поколением — он утвердился в поэзии, в жизни.



Пабло НЕРУДА

ПОЭЗИЯ

В том раннем возрасте... Пришла поэзия
за мной. Не знаю я, откуда вышла
она — то ль из зимы, то ль из реки.
Не знаю, как, когда.
Нет, не было ни голосов, ни слов,
и не было молчанья.
Но с улицы она меня звала,
с ночных ветвей.
То вдруг среди других,
среди неистовых огней,
а то когда один я возвращался,
она, безлика, бывала рядом,
меня касалась.

Не знал я, что сказать,
и губы не умели называть,
и слепы были
глаза, и что-то билось
в моей душе,
не знаю — лихорадка или
затерянные крылья;
наедине я становился сам собой,
разгадывая те ожоги.

И написал я первую туманную строку,
туманную, без тела, глупость чистую
и мудрость чистую
того, кто ничего не знает, —
и вдруг увидел небо
рассыпавшееся, открытое,
планеты,
растений трепет,
и тень пробитую,
простреленную стрелами, огнем, цветами,
и ласковую ночь,
и всю вселенную.

И я, ничтожное создание,
огромной звездной пустотой опьяненный,
по образу и по подобию тайны
почувствовал себя
чистой частью бездны,
со звездами бродил,
а сердце в ветре растворялось.

Перевел О. Савич

Назым ХИКМЕТ и Яннис РИЦОС

«О ПОЭЗИИ БЕЗ ГРАНИЦ»

*Разговор в редакции
женевдальника «Культура» в Праге*

ОТ РЕДАКЦИИ

Когда мы предложили двум поэтам: греческому — Яннису Рицосу и турецкому — Назыму Хикмету — во время их посещения нашей редакции устроить по древнему обычаю диспут о поэзии, мы предвидели уже заранее: это будет двухголосый монолог, а не столкновение двух разных точек зрения. И действительно, две такие внешне противоположные творческие личности, как своевольный, горячий Хикмет и воспитанный, сдержанный Рицос, не противостояли ни в чем. Поистине с восточной вежливостью они уверяли друг друга, что один никогда не мог бы так убеждать другого, а тот, другой, в свою очередь, что собеседник помог ему правильно довести мысль до конца. И может быть, читателю, познакомившемуся с нижепубликуемыми высказываниями поэтов, тоже придет в голову вопрос: разве сходство человеческих судеб обоих революционных поэтов, которых больше понимают и больше принимают во всем мире, чем на их родине, не определяет их поэтическую основу прежде, чем отличия характеров и национальных источников, из которых они растут?

В наши дни считается хорошим тоном сомневаться в значении поэзии для современного человека. Поэтому наш первый вопрос: какова Ваша точка зрения на смысл и задачи современного поэтического творчества?

Рицос: Вопрос, казалось бы, достаточно простой, таит в себе много подводных камней. Собственно говоря, он включает всю проблематику поэтического творчества, начиная с далеких времен и до сегодняшнего дня. Трудность заключается не столько в ответе на данный вопрос, сколько в определении самой поэзии. Определение предмета, возможно, могло бы заменить ответ. Я не скажу ничего нового: явление, которое мы называем поэзией, — в высшей степени сложное. Оно — результат воздействия многих факторов — биологических, общественных, исторических, этических и т. д. Отдельные влияния воздействуют друг на друга, они сталкиваются, переплетаются, и потому трудно решить, преобладает то или это. Каждое определение поэзии, так же как и каждая характеристика поэтического произведения, таит в себе опасность, — ведь поэзия не поддается полному объяснению. Но действительно ли она необъяснима и не бывает ли так, что необъяснимая сторона поэзии является одной из черт ее очарования и достоинства? Разве она не скрывает серьезные повороты мысли и души поэта и разве она не вынуждает читателя, идущего по пути открытия тайны, стать соучастником творческого процесса поэзии? Одна из задач поэзии (не исключительная, ибо о других речь пойдет ниже) — это не только взволновать читателя, но сделать его также творцом. Поэзия становится открывателем жизни, она заявляет о себе как о жизненном принципе, открывающем неизведанное.

Издавна известно, что искусство — явление безусловно общественное. Из этого логически вытекает его стремление охватить жизнь, овладеть ею целиком. Если я говорю о поэзии как о явлении общественном, то я не имею в виду простые лозунги, заключенные в рифму и ритм. Речь идет о вопросах более серьезных, значение которых обязывает нас смотреть в лицо искусству так же, как жизни — прошлой, настоящей и будущей. Конкретно: поэзия, если она достойна такого имени, — это не игра словами. Значение слова, как мне кажется, в чем-то гораздо более важном, чем ритм и музыкальность. Каждое слово в нашем языке, в разговорном, а значит и в поэтическом, включает опыт тысячелетних усилий к взаимному пониманию, опыт, объединяющий работу рук и мозга; содержание каждого слова имеет такой вес, что играть с ним, делать из него простую игрушку было бы недопустимым легкомыслием. Из этого вытекает настоятельное требование ответственного обращения со словом. Именно в связи с этим я вижу великую заслугу современной поэзии в том, что она находит подлинное значение слов, что она употребляет слово так, чтобы выразить его правдивое и основное содержание. Именно сознание глубокой ответственности за слово сделало из поэзии настоящего посредника взаимопонимания между людьми, она познакомила всех со всеми. И в этом, с моей точки зрения, тоже значение современной поэзии, которая становится явлением не только общественным, но и международным, универсальным.

Хикмет: Я охотно присоединился бы к словам друга Рицоса, с которым безусловно согласен. У меня лишь два замечания. Первое: задача современной поэзии ненамного отлична от задач хлебных полей и промышленных предприятий. Поэзия так же важна, как и они. Когда-то так уже было — в античной Греции и в моей древней Турции. Но позднее, при иных общественных условиях, поэзия стала в силу жизненной необходимости игрушкой людей, которым нечего было делать. Диалек-

тикой исторического развития поэзия возвращается к своей первоначальной роли.

Второе замечание: поэзия является не только необходимостью, но и одним из самых революционных принципов нашего современного общества, одним из самых действенных инструментов изучения человека, его души, а в конце концов и существенных перемен в нем самом. Технический прогресс человечества за последние десятилетия — действительно фантастический. Я не исключаю возможности, что через ближайшие десять лет в нашем распоряжении будут циклотроны или другие аппараты, которые дадут нам возможность превратить, скажем, вот эту папиросу в золото. И все же я убежден, что изменить человеческую душу гораздо более сложно, чем превратить папиросу в золото. И та точно не определяемая сторона поэзии, ее флюидум, о чем говорил Яннис Рицос, является фактом, который решающим образом помогает поэзии изменять человека. Ведь эта сторона поэзии, я бы сказал, отвечает еще необъяснимым, неопределяемым, находящимся вне власти сторонам души сегодняшнего человека. Поэт, естественно, такой же человек, как и все другие. Однако у него есть возможность не только конкретно осмыслить действительность, но и почувствовать ее аромат. Когда-то еще Энгельс сказал, что поэты чувствуют аромат будущего. Именно эта их способность может оказать влияние на человека и на общество.

Рицос: Ваши слова о поэзии как факторе, изменяющем человека, последовательно продолжают ту мысль, которую я уже высказал. Если я утверждаю, что характерной чертой современной поэзии является бережное отношение к слову как к средству взаимопонимания, а следовательно и братства людей, то это означает, что поэт также участвует в общем процессе изменения мира.

Мы еще не можем сказать, что сегодня люди взаимно понимают друг друга и что все они — братья. Поэзия, по-моему, так же как и по-вашему, изменяет человечество.

В разговоре Вы задели вопрос об универсальности поэзии. Вы утверждаете, что только современная поэзия смогла возвести свод над пропастью, разделяющей языки и различные образы мышления. Не смогли бы Вы уточнить, что здесь имеется в виду.

Рицос: Я считаю этот вопрос одним из решающих для современного поэта. А именно, я предполагаю, что только он избавляет поэзию от ненужных украшений и орнаментов. И именно этот факт делает современную поэзию такой, какая она есть. Я имею в виду, конечно, ту поэзию, которая без оговорок встает на службу прогрессу человеческого общества, я имею в виду поэзию Маяковского, Хикмета, поэзию Поля Элюара и Пабло Неруды, поэзию Арагона и Гильена, Астуриаса и, если позволите, частично и мою собственную. Какая общественная необходимость, какая неотступная сила воздействовала на этих поэтов и влияла на их творчество? Мне кажется, это была именно потребность общения, понимания между людьми. Этой общечеловеческой задаче отвечала и определенная форма. А именно, такая форма, которая дает возможность перевода поэтического произведения с одного языка на другой, причем не слишком в ущерб его красоте. Ведь стихотворение существует только в том виде, в каком оно было создано. И если оно слишком отягощено игрой слов, строгой рифмой и необычным ритмом, то оно, хотя бы и отвечало внутренней потребности поэта, не может дойти до читателя, который не знает родного языка поэта. Найти эквивалент для рифмы, ритма и музыкальности стиха бывает трудно, а ино-

гда и просто невозможно с этой точки зрения. Такие поэтические произведения бывают осуждены на то, что они остаются достоянием одной страны, одного народа, если у них вообще есть сила распространиться в данной стране. Ведь каждое стихотворение создается на своем определенном языке. Но подлинное стихотворение, достойное такого наименования, несет в себе прежде всего заряд мысли и чувства, и этот заряд — международный. Язык, слово, точнее, звучание слова, его фонетика — национальны, а содержание, значение слова — всеобщие. Поэзию, ограниченную языком исключительно того или иного народа, то есть ту, которая придает слишком большое значение звучанию, музыке гласных и согласных, — такую поэзию переводить невозможно. Поэтому я полагаю, что подлинно современная поэзия избавляется от всего побочного, от всего излишнего, что отягощает ее и препятствует ее большому прыжку чрез границу одной страны и одного народа. Ведь границы народа никогда не являются границами поэзии. Это, с моей точки зрения, тоже довод, почему современный поэт оставляет в стороне все излишние украшения, стремясь к тому, чтобы поэзия могла стать совершенно обнаженной, собственно поэзией, той, которая отвечает идеалу взаимопонимания и братства людей.

Х и к м е т: Женщина, стоящая в лунном свете на берегу моря, подкрашенная и элегантно одетая, всегда прекрасна. Но в этом есть элемент фикции. Если мы хотим знать ее истинную красоту, мы должны видеть ее обнаженной и при полуденном солнце. Только так мы познаем женщину, только так мы познаем и поэзию.

Вы говорите о поэзии, освобожденной от всего, что затрудняет ее универсальное распространение. Но есть еще один элемент, который делает стих стихом и о котором еще не было речи. Я имею в виду поэтический образ. А его не всегда можно перевести с одного языка на другой, особенно когда он вырастает из национальных традиций и опыта.

Р и ц о с: Без поэтического образа нет поэзии. Однако если я говорю «образ», то имею в виду нечто иное, отличное от того, что ранее понималось под образом. Поэтический образ, как я его понимаю, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с декоративным искусством, ни с поверхностным описанием мысли или чувства. Поэтический образ — это плоть поэзии. И опирается он на новую, иную символику, чем это имело место в поэзии предшествующего периода. Условный символ, созданный столетними традициями и опытом, позволял выразить мысль или чувство простым намеком и избавлял поэта от необходимости искать собственную символику, которая отвечала бы действительности сегодняшнего дня. Мне кажется, что показательным моментом ответственности современного поэта является то, что он не только не опирается на символы уже существующие, но, наоборот, создает более широкую, всеобъемлющую их шкалу, корнями уходящую в современность. Из нее современный поэт черпает свои образы. Поэтому такие предметы будней, все, чем мы окружены, — стул, кресло, машина, вся атмосфера современной жизни, получают в поэтической эстетике сегодняшнего дня такое большое значение. Ведь предметы, окружающие нас, не являются лишь внешней формой материи. Они — продукт человеческой деятельности за миллионы лет. Они — конкретное выражение истории. И если мы сумеем посмотреть на них взглядом ясным и глубоким, то увидим в них весь мир.

повесил я красный шарик стеклянный, вложив в этот шарик
тебя.

Ты прости,
я умру и тебя там оставлю.
Эстония

самое маленькое социалистическое государство,
больше всех читающее стихи,
больше всех пьющее водку,
больше всех болеющее автомобилями,
мотоциклами,
мотороллерами,
знаменитое кожаными изделиями,
мебелью
и тридцатитысячным хором.

Не могу смотреть в глаза умирающему,
стыжусь.

Жить мне кажется чем-то преступным, если кто-нибудь
рядом со мною прощается с жизнью.

Люся
умирает в Москве на шоссе Энтузиастов,
в больнице с каким-то номером.
Лицо точно старая деревянная ложка.

Сливаются с тающим снегом вечерние сумерки.
Грузовики

проходят один за другим, сотрясая шоссе.
Это Люсяна грусть морщит мой лоб
или близость собственной смерти?

Новогодняя елка

на заснеженной площади
эстонские песни поет,

высокая, яркая новогодняя елка.

Ты прости,

я умру, оставив тебя в этом красном стеклянном
шарике.

На земле живет одна вещь,
бесподобная вещь.

И никто ее не замечает, кроме меня,

может, это растение,

может, животное или слово,

может, это металл, или свет, или счастье,

может, это упало с какой-то звезды,

на земле живет одна вещь, живет для тебя,

но ты ее не замечашь.

Я умру, ты прости меня, умру,

и, разбив красный шарик, ты выйдешь оттуда

и опустишься

на морозную площадь

это будет в Москве или в Таллине,

может быть в Ленинграде,

ты опустишься

на морозную площадь,

с новогодней сверкающей елки,

только я уже унесу

то, что жило на этой земле для тебя.

Умирает Люся,
лицо точно старая деревянная ложка.
Умирают те, кто должен был меня пережить.
Как странно, смерть после войн мировых спутала весь
свой порядок.

Грузовики

идут, сотрясая шоссе.

На плакатах цифры 1965 года:

столько-то тонн угля,
столько-то нефти,
столько-то метров ткани.

На заснеженной площади
новогодняя елка эстонские песни поет,
среди готических башен,
окруженная трубами фабрик.

2

О НОЧНОЙ ПРОГУЛКЕ НА ТРАМВАЕ В ОДНОМ ГОРОДЕ

Ночами сажусь в трамвай,

в трамвай, идущие куда-то.

Широкие, чистые, трехвагонные трамваи со страшным
скрежетом увозят куда-то ночами.

Предо мною встают обгорелые стены

и, при свете уличных фонарей,

идут на меня, высокие и упрямые.

Окна

возникают из тьмы и навстречу мне движутся
толпами, задевая, толкая друг друга, без стекол, без рам,
окна,

но не домов, не людей, а пустот.

Проезжаю мимо дверей без створок,

мимо дверей, которые не открываются никуда.

Люди с желтой повязкой на рукаве, на которой темнеют
три точки, ждут трамвая, опираясь на палки с резиновыми на-
конечниками.

Все ли из них тут глухие, немые — не знаю,

но у слепых большей частью открыты глаза.

В их раскрытых глазах отражаются фары трамваев,

но они и не знают, что в глазах их сияют огни.

Кондукторши,

пожилые усталые женщины,

сажают слепых в трамвай.

Женщины,

которые, взяв меня мягко под руку, водили меня,

многим из вас я не смог подарить ничего, кроме не-
скольких строчек стихов

и, быть может, немного печали.

Всем я вам благодарен.

Проезжаем развалины.

Проезжаем площади, чьи дворцы барокко разрушены.

Но так как все обгоревшие камни друг на друга по-
хожи, у меня уже кружится голова,

мне все кажется,

будто кружусь я на месте.

Этот город разрушен, потому что послал солдат своих
разрушать города другие.

Я их видел, те, сровненные с землей города,
они не послали солдат своих разрушать города другие,
их сровняли с землею солдаты других городов.
И я видел еще города, которые только готовятся по-
слать солдат своих разрушать города другие, чтоб самим им
разрушиться.

Скрипачи садятся в трамваи,
футляры под мышкой,
и не могут грустные длинные волосы скрыть их лы-
сины.

«Этот август, быть может, последний август мира?» —
спросил один из скрипачей кондукторшу на незнако-
мом мне языке.

На площадках трамвайных вагонов стоят сердитые
юноши.

Почему, на кого они сердятся,
вероятно, и сами не знают.

Интересно, который там час, в моей милой Гаване,
ночь сейчас или день?

Девушки сходят с трамваев.

Ноги стройные, длинные.

Я, не двигаясь с места, за ними иду

и под каменным старым мостом

на лице своем ощущаю
теплоту их губ.

Оборачиваюсь —

молодая женщина, о которой не знаю, где
находится в эту минуту, касается моего плеча,

волосы цвета соломы,

ресницы синие,

шея белая, длинная, круглая. . .

На остановках

страшные высохшие старухи в черных соломенных шля-
пах, держась за руки, переходят трамвайные рельсы.

Человек, сидящий справа, ушел в себя, потерял самого
себя в себе, впал в задумчивость.

Знаю, старость, начинается с этого.

У ворот трамвайного парка сошел я с трамвая.

Возвращался пешком через город.

Уже занималась заря.

Все огни погасили, когда я дошел до отеля.

Включил радио.

Передавали

о полете космического корабля.

3

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЛЮБЛЮ

Год 62, март 28,

поезд Прага — Берлин,

я у окна.

Опускается вечер.

Оказывается, я люблю, когда опускается вечер на ту-
манную мокрую равнину, точно усталая птица.

Нет, не нравится мне этот образ: вечер как усталая
птица.

Оказывается, я люблю землю.

А имеет ли право сказать «я люблю землю» тот, кто ни разу ее не пахал?

Я ее не пахал.

И оказывается, это и есть моя единственная платоническая любовь.

Оказывается, я люблю реку,
течет ли вот так, без движенья, извиваясь у подножья холмов, европейских холмов, на вершинах которых поставлены замки,

или тянется ровная-ровная сколько видят глаза.

Знаю, в одной и той же реке нельзя выкупаться даже раз,

знаю, река принесет другие огни и ты их не сможешь увидеть,

знаю, наша жизнь чуть длинней лошадиной,

намного короче жизни ворона,

знаю, и до меня ощущали уже эту грусть

и после меня ощутят,

до меня это сказано тысячи раз

и после меня будет сказано.

Оказывается, я люблю небо,
пусть открыто оно, пусть закрыто,
небосвод, на который смотрел Андрей, лежа на Бородинском поле.

Я в тюрьме перевел на турецкий язык две книги «Войны и мира».

Донеслись голоса...

не с небесного свода — с тюремного двора,

опять надзиратели бьют кого-то...

Оказывается, я люблю деревья.

Березы встречают меня зимой под Москвой в Печелкино, благородные, скромные.

Березы считаются русскими, как тополя считаются турецкими.

...А в Измире тополя

выбегают на поля,

Чакыджи меня зовут,

эй, спалим все дворы.

Здравствуй, милая моя!

В лесах Илгаса в году 920 повесил я на ветку сосны холщовый платок, вышитые края...

Оказывается, я люблю дороги,

в том числе асфальтовые.

Едем, Вера сидит за рулем, из Москвы едем в Крым, в Коктебель, а верней Гек Тепе Или — Край Синих Холмов.

Мы в закрытой коробке,

там снаружи, с обеих сторон, мир течет

далекий,

немой...

Я ни с кем никогда еще не был так близок.

Мне разбойники преградили дорогу, когда я спускался из Болу в Герде,

а мне восемнадцать,
а в арбе ничего, что могли б они взять, кроме жизни моей,
а жизнь в восемнадцать для нас это самая пустяковая вещь, —
я об этом однажды уже говорил.
Улица, грязь, темнота,
ноги вязнут,
иду смотреть Карагез в ночь рамазана,
впереди бумажный фонарик в гармошку...
Может, этого не было,
может, это я где-то читал, как идет восьмилетний мальчик в ночь рамазана, в Стамбуле, держа за руку деду, смотреть Карагез,
дед в феске, поверх рубахи шуба с собольим воротником,
фонарь в руках евнуха,
и я сам не свой от восторга.

Почему-то я вспомнил цветы,
кактусы, маки, фиалки,
в Кадыкее, на фиалковом поле поцеловал я Марику, миндалем пахли губы...
Мне семнадцать,
сердце мое качнулось,
качели вошли в облака, вышли оттуда...
Оказывается, я люблю цветы.
Три красных гвоздики послали в тюрьму мне товарищи в 1948.

Вспомнил звезды.
Оказывается, я люблю звезды,
смотрю ли на них снизу вверх и удивляюсь или рядом с ними лечу.
Я хотел бы спросить космонавтов,
намного ль крупнее там звезды
и какие оттуда они — драгоценные камни на черном бархате
или персики на оранжевом?
И еще —
испытывает ли гордость человек,
поднимаясь так близко к звездам?
Фотографии космоса, цветные, я видал в «Огоньке» — не сердитесь, друзья, только очень похожи они на картины — беспредметные, или абстрактные, — назовите их как хотите, — то есть очень предметные и конкретные.
У человека при виде их подступает к горлу комок.
Они — безграничность нашей мечты,
нашего разума,
наших рук,
глядя на них, я мог думать о смерти без крупинки тоски.
Оказывается, я люблю космос.

Вспомнил снег,
хлопья снега, немые, тяжелые, или метель,
оказывается, я люблю снег.

Оказывается, я люблю море,
даже такое, заходящее, испачканное вишневым вареньем.
И в Стамбуле солнце часто вот так же заходит, как
на цветных открытках, но все ж ты не должен рисовать его
так.

Оказывается, я люблю море,
и как еще!
Только не море Айвазовского.

Оказывается, я люблю облака,
будь я под ними или над ними,
будь похожи они на великанов или на тучных жи-
вотных с белой шерстью.

Вспоминается лунный свет,
самый томный, самый обманчивый, самый мещанский...
оказывается, я люблю лунный свет.

Оказывается, я люблю дождь,
и когда он как сеть накрывает меня,
и когда растекается каплями на стекле моего
окна,
и, оставляя меня внутри этой сетки, или маленькой
капли, сердце мое уходит одно путешествовать, в страну,
которой на карте нет,
оказывается, я люблю дождь.

Почему я вдруг обнаружил все это
в поезде Прага — Берлин
у окна?
Может быть, потому, что шестую уже закурил сигарету,
когда и одна для меня уже смерть?
Потому ли, что думаю, задыхаясь,
о той, что осталась в Москве,
волосы цвета соломы,
ресницы синие...

Поезд идет в кромешной тьме,
оказывается, я люблю кромешную тьму,
искры летят от паровоза,
оказывается, я люблю искры,
и сколько вещей люблю я, оказывается,
и обнаружил это в шестьдесят лет, в поезде Прага —
Берлин, у окна,
та́к на землю смотря, точно вышел я в путе-
шествие, из которого нет возврата.

Перевела М. Павлова



«ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ» АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Я читаю и перечитываю это стихотворение. Оно захватило меня своим ладом, своим свирельным перехватом стиха:

Свисаю с вагонной площадки,
прошайте,
прощай мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прошайте...

Вот еще новости — говорю о стихе и начинаю сразу с формы! Да, с формы. Потому что она-то как нельзя лучше и выражает содержание стихотворения, его прозрачность, его артистичность и его высокую человечность. Я бы назвал это стихотворение поэзией прощания. В нем непрерывно происходят прощанья — домов с дачниками, лесов с листвой, поэта с матерью, поэта с любимой, для которой он находит щемяще нежные в своей трагической простоте слова:

побыть бы...
еще на щеке твоей душевной —
«Андрюшкой»...

Это стихотворение трагично. Оно полно печали. Обыденные встречи и расставанья, извечные смены времен года и ландшафта, к которым люди привыкли, воспринимаются поэтом вновь, он по-своему, по-вознесенски кричит мгновению, чтобы оно остановилось, но время неумолимо идет и движет с собой все, что ему подвластно. Оно увлекает своим потоком и самого поэта и меняет его, оно зовет его стать зрелым мужем на поле жизни, где гремят ее мечи и раздаются звон щитов.

А ведь совсем недавно так беззаботно пелось Вознесенскому в Грузии:

Я ехал по Грузии,
Грушевой, вешней,
Среди водопадов
И белых черешней.

Чинары, чонгури,
Цветущие персики
О маленькой Туле
Свистали мне песенки

Мы с ней не встречались,
И все, что успели,
Столкнулись — расстались
На Руставели...

Но свищут пичуги
В московском июле:
«Тунт —
ту-ту-
туля!
Туля! Туля!»

Все столкновение с реальностью выражалось у поэта формулой «столкнулись — расстались». Позже в своей подмосковной «Осени» он уже возьмет жизнь за руки и увидит ее не в мелькании на проспекте Руставели, а в глубоком обнажении, в неумолимости судеб:

Она откинет мне щеколду,
К тужурке припадет щекою,
Она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
Поймет осенний зов полей,
Полет семян, распад семей...

Я вспомнил два этих стихотворения не случайно. В них уже как бы намечалось стихотворение «Осень в Сигулде». Как ни мажорно и радостно стихотворение «Туля», но конец его грустен и так родствен крылатому чеховскому: «Мисюсь, где ты?»

Как ни велико горе безмужней женщины в стихотворении «Осень», но к этому горю «чужие тянутся следы». Формула «столкнулись — расстались» выражает отношение поэта к жизни и здесь.

В «Осени в Сигулде» звучит другое — не столкнулись, а встретились, и не расстались, а были вместе. Все сразу существенно меняется. Не легкая грусть, а глубокое чувство владеет поэтом.

..уходим мы,
 так уж положено,
из стен,
 матерей
 и из женщин. . .

Это уже философия. Но что бы она стоила, если бы поэт лишил нас прелести своего стиха, деталей, наполненных теплом бытия:

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо. . .

Что бы стоило это произведение, если бы поэт не владел волшебной палочкой вдохновенья, а пустился в рассуждения, в ложную философию, которую, к сожалению, нет-нет да подымают на щит некоторые наши критики.

Что стоило бы оно, если бы в нем не было поэтического искусства, которое, по словам нашего учителя В. Маяковского, «существует и ни в зуб ногой!»

К этому искусству я отношу умение Вознесенского воспользоваться найденной формой. Четыре гласных равносложных слова — «ПРОЩАЙТЕ», «ПРИСЯДЕМ», «СПАСИБО», «СПАСИТЕ» — он заставил светиться через все стихотворение «Осень в Сигулде». Эти слова каждый раз стоят на том месте, где, как бы вторя сердечному сжатию, мужественно сжимается, достигая большой энергии выражения, сама строка:

свисаю с вагонной площадки,
прощайте. . .

наверно, умаялась за день,
присядем. . .

пластинка блатного пошиба,
спасибо. . .

Где-то Вознесенского вдруг потянет на рациональное:

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот, —
природа боится пустот. . .

Но, высказав эту не новую поэтическую мысль, он спешит к главному предмету разговора:

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном. . .

Спасите!

Но спасителя нет! Не остановить мгновенья, как бы прекрасно оно ни было. Лето — мимо, дом, в котором жил, — мимо, родившая поэта женщина — мимо, любимая его — мимо, багряный лист осени, как красный флажок дежурного по станции, — мимо, поезд, на котором, свесившись с площадки, уезжает поэт и увозит свое мятущееся сердце, — мимо! И все свирели осени возглашают над миром, над всеми расставаньями лета свой печальный реквием: прощайте!

Валентин ЕРМАКОВ

НА РОДИНЕ

Сады зазеленевшие.
Навязчивая грусть.
Вопросы надоевшие:
— Все учишься?
— Учусь. —
И умолкаю вскорости.
Как будто есть вина.
А ведь сказать по совести,
Всему виной — война.

Она меня поставила
От парты да к тискам.
Она меня заставила
В строю — да по пескам.
А глупым второгодником
Я не был никогда.
Я просто был работником
В учебные года.

ДЕВЧОНКИ-ЗЕМЛЕКОПЫ

Получали девчонки получку.
Создавали девчонки толкучку.
О расценках шумели-судили.
Хлопнув дверью, в буфет уходили.

А в буфете цыганка встревала.
О судьбе погадать приставала.
Намекала, что ждет перемена:
Дескать, счастье придет непременно.

Но девчонки-то знали о счастье:
Завтра снова в брезент да в ненастье;
Завтра снова копать спозаранку...
Прогоняли девчонки цыганку.

Сергей БАРУЗДИН

ГОВОРИЛИ...

Говорили,
Говорили,
Говорили,
Говорили.
И про были
Говорили
И про небыли.
И где были,
Говорили
И где не были.

И про это
Говорили
И про то,
Зачем и как,
И о том
Не позабыли,
Что все помнили
И так.
Много слов
Наговорили!

Посудили,
Порядили —
Отложили
До утра...
Хорошо,
Что отложили!
Потому
Что
спать
пора!

Владимир СЕМАКИН

* * *

Сушь на горях — и, венчая
Предосенние деньки,
Вьются кудри иван-чая,
Серебристы и легки.
Он отцвел, и что там проседь? —
Голова белым-бела.

Пожил он — и зря не просит,
Чтоб зима подождала.

Что просить, когда мальчишки,
Торопя ее деньки,
Лыжи сбрасывают с вышки,
Точат загодя коньки?!

* * *

Горят костры, желты и языкаты,
Водовороты в омурах не спят,
Встают рассветы, падают закаты,
И птицы в коростельниках скрипят.

Из века так. И милые приметы —
Цвета и звуки, дым и пузыри —
На все лады воспеты-перепеты,
Хоть авторучку в руку не бери.

Расписаны — где гуще, где пожиже —
Дуб и трава, черемуха и снег...
Бежит воронка — ближе, ближе, ближе,
И в ней случайно вспыхивает смех.

Далекий смех единственной девчонки
И неумелый первый поцелуй.
И те кусты,

Те всплески,
Те воронки
Неповторимы, что там ни толкуй!

И островок, желтеющий от вербы,
Гудящий от паломничества пчел, —
Кто, как не ты, заметил это первый?
На две косички реченьку расплел.

И все у нас распалось на два русла,
И вышло так, что больше не слилось.
В родных местах мне радостно и грустно:
Все тем же смехом пронят я насквозь.

Все тем же смехом искрятся рассветы
В росинках, отражающих зарю.
И пусть простят мне жители планеты,
Что я о звездах мало говорю.

Евгений ХРАМОВ

* * *

Висят любопытные вишни
на тоненьких черенках.
Старухи к воротам вышли,
похожие на черепах.
Как будто бы вычернил порох
им лица.
Глядят из-под рук,
и словно не шепот, а шорох:
«Хто ето?» — «Петровнин внук...»

А мне и обидно, и грустно —
привык я к другим вещам:
недаром журнал всесоюзный
портреты мои помещал,
не зря за стихи и рассказы
деньги платили мне,
в телевизоре был я показан
обширной московской родне!

Так что же мне нету признанья,
не ценят моих заслуг?
Придумали — тоже мне — званье:
«Хто ето?» — «Петровнин внук...»

И вспомнил я бабкины руки —
каждый палец стерт,
и как она хворост рубит,
как прямо ведра несет,
как, выслушав все советы,
один другого умней,
дядья мои — интеллигенты
спешат за советами к ней.

И я, откашлявшись глухо,
трогаю пряжку ремня,
и я улыбаюсь старухам
за то, что признали меня.

Наталья АСТАФЬЕВА

* * *

Отделилась ветка от меня,
стала жить сама.
На зеленых листьях
жилки как дорожки.
Линии расходятся
на ее ладошке.
Гляну с удивлением
чуть со стороны. . .
Были, как растенья,
мы тесно сплетены.
Как одна волна.
Только легкий стук
клювиком в скорлупку —
в тяжесть моих рук.
Под рукой биенье,

как к оплате чек. . .
Ходит по планете
новый человек.
Глаза не мои.
Слова не мои.
Ты не я, иная,
но меня пойми!
Были, как растенья,
мы тесно сплетены.
Гляну с удивлением
чуть со стороны.
Я как ствол без ветки.
Ты — вещь в себе.
Первые кольца
в тонком стволе.

* * *

Урчит, журчит живой ручей,
мне ясен смысл его речей:
живу, живу, живу!

И небо, словно полотно,
подсинено, белым-бело:
живу, живу, живу!

Лес, захлебнувшийся водой,
трясет зеленой бородой:
живу, живу, живу!

И птица, прыгнув на пенек,
звенит, как глиняный свисток:
живу, живу, живу!

И все поступки и слова
слагаются, как дерева:
живу, живу, живу!

Пчелиным роем звуков ком
над человеческим жильем:
живем! живем! живем!

● ● ●

Михаил ЗЕНКЕВИЧ

КОСМИЧЕСКИЙ СОН

Так снилось иль было —
Никак не пойму:
Ракетная сила
Меня возносила
На небо сквозь тьму...

Космической ночью
Средь пламенных тел
И я к средоточью
Созвездий летел.

Торжественно-строго
Их мощный хорал

Хвалю не богу,
А людям звучал.

Но мчался я мимо
И даже во сне
Стремился к родимой
Земле и стране...

Так было со мною.
И вновь наяву
Всей жизнью земною
Полней я живу!

Яков КОЗЛОВСКИЙ

* * *

До боли стиснув зубы,
Полк высоту берет.
И не играют трубы,
И барабан не бьет.

Солдаты умирают,
Бок о бок их кладут.
И в трубы не играют,
И в барабан не бьют.

Мы в кровь кусаем губы
И вновь идем вперед.
И не играют трубы,
И барабан не бьет.

Пускай не забывают,
Как высоту берут,
Как в трубы не играют,
Как в барабан не бьют.

* * *

Она в простом армейском ватнике
Врывалась с нами на высоты,
А про нее в тылу развратники
Рассказывали анекдоты.

На касках появились вмятины,
И было горько, было солоно,
И за нее молились матери
Всех мальчиков мобилизованных.

Не суесловия, не вымысла,
И так не мудрено представиться.
Она меня из боя вынесла,
Когда я был в плену беспамятства...

Вдали над рощами, над пущами
Плывет закат и солнце плавится.
Нам все грехи давно отпущены,
А славы больше не прибавится.

Пришла в поля пора прощальная,
Горят последние соцветия.
И плачет женщина печальная
В день своего сорокалетия.

И молодостью знаменитого
Из боя по густой полыни
Убитого, но не забытого
Еще несет она поныне.

Владимир ЛУГОВОЙ

* * *

Будь счастлив.
Быть счастливым — это просто.
Будь счастлив.
 У табачного ларька
Со стороны смотри,
 как сыплет просо
Озябнувшая женская рука.
Лед из-под крыш
 срывается по трубам,
На тротуары
 вылетает лед...
Коричневое просо
 сизый турман
С руки у папиросницы клюет.
Грузовики,
 пустых бидонов грохот
Как дальний гром
 вскрывающихся рек...
Твой пригород
 уже почти что город,
Ты сам
 еще чуть-чуть —
 и человек!
Ты вырос.
 Ты поверил в кисть и краску.
Но из подъезда,
 как из забытья,
Выкатывает синюю коляску
Замужняя ровесница твоя.
Ты добивался правды
 и успеха,
Доискивался точной простоты,
Добился ли?
 А вот она
 успела,
Она сумела
 большее, чем ты!
И на автобус в очереди стоя,
Пушистым шарфом кутая лицо:
— Будь счастлив, —
 скажешь ты кому-то снова.
Вздохнешь:
 — Ведь это, кажется, легко!

А ЕСЛИ Б И НЕ БЫЛО!

В последнее время критика часто и много говорит о лженоваторстве, псевдоноваторстве, мнимом новаторстве. Обычно разговор этот связывают с именами нескольких молодых поэтов. Причем, как правило, все рассуждения на эту тему сводятся к одному:

— Э-э... Какое там новаторство! Все это уже было...

Даже Твардовский в своей коротенькой заметке о книге Марины Цветаевой не избег этого общего места. «Кстати, — писал он, — когда некоторые особенности стиха Цветаевой (рифмы, ритмы, звукопись) станут общим достоянием (Цветаева у нас не издавалась, кажется, с 1922 года), полезно будет уже и то, что откроется один из источников завлекающего простаконства «новаторства» некоторых молодых поэтов наших дней. Окажется, что то, чем они шеголяются сегодня, уже давно есть, было на свете, и было в первый раз и много лучше».

Итак, «все это было, было, было...» Ну, а если бы и не было? Если бы все формальные изыски, на которые так щедр, скажем, Андрей Вознесенский, не были заимствованы им у Хлебникова, Цветаевой, Пастернака? Если бы они были исключительно результатом его собственного словесного эксперимента? Что тогда? Можно было бы говорить о них как о каких-то художественных открытиях?

Кстати говоря, многое из того, что делает Андрей Вознесенский сегодня, делается в русской поэзии «в первый раз». Существа дела это, однако, совершенно не меняет.

Райнер Мариа Рильке в «Письмах к молодому поэту» высказал мысль, чрезвычайно близкую одной из самых душевных мыслей Л. Н. Толстого:

«...Вы спрашиваете, хорошие ли у Вас стихи. Вы спрашиваете меня. До меня Вы спрашивали других. Вы посылаете их в журналы. Вы сравниваете их с другими стихами и тревожитесь, когда та или иная редакция Ваши попытки отклоняет. Итак, раз Вы разрешили мне Вам посоветовать, я попрошу Вас все это оставить... Есть только одно-единственное средство. Уйдите в себя. Испытайте причину, заставляющую Вас писать; проверьте, простираются ли ее корни до самой глубины Вашего сердца, признайтесь себе, действительно ли Вы бы умерли, если бы Вам запретили писать... И если из этого оборота внутрь, из этого погружения в собственный мир получатся стихи, тогда Вам и в помыслы не придет кого-нибудь спрашивать, хорошие ли это стихи. Вы также не попытаетесь заинтересовать своими вещами журналы, ибо они станут для вас любимым, кровным достоянием, куском и голосом собственной жизни. Произведение искусства хорошо тогда, когда вызвано необходимостью. В природе его происхождения — суждение о нем: нет другого».

Эта мысль может показаться ограниченной, даже неверной. Но давайте попробуем понять ее конкретно. Сделаем ее основным критерием, главным инструментом анализа совершенно конкретных поэтических строк.

Несколько лет назад, как камень на гладкую поверхность воды, было брошено четверостишие:

Зима была такой молоденькой,
Такой веселой и бедовой!
Она казалась мне молочницей
С эмалированным бидоном...

Камешек был брошен в программной статье, написанной Ю. Панкратовым и И. Харабаровым, где эти молодые поэты отстаивали свое право на новаторство, понимаемое преимущественно как право на так называемую «корневую рифму». Круги по воде расходились долго. Четверостишие дружно обсуждали и осуждали на разные голоса. И вот наконец совсем недавно оно было полностью реабилитировано как «крепкое» и «звонкое» в статье Н. Грибачева о новой книжке Ю. Панкратова.

Взглянем на этот поэтический образ с несколько прозаической стороны. Вы когда-нибудь видели у молочниц эмалированные бидоны? Скажете — пустяк, не стоящая даже упоминания мелкая неточность? Но этот «пустяк» вскрывает тот простой, очевидный и несомненный факт, что зима вовсе не казалась поэту молочницей. Просто ему показалось, что сказать так — красиво, эффектно, поэтично. Образ не родился из естественного, непосредственного чувства, он был придуман.

Итак, «в природе происхождения» этого четверостишия — суждение о нем.

Еще один пример.

Поэт (Евг. Евтушенко в одном из стихотворений своего нового сборника «Нежность») обращается к любимой женщине:

Я старше себя на твои тридцать три...

Темпераментно, с большой экспрессией рассказывает он всю жизнь своей любимой, уверяя, что эта жизнь стала его жизнью. Кончает он эффектным утверждением, что теперь, чтобы убить его, недостаточно одной пули. Понадобились бы две пули, ибо в нем, поэте, совместились две жизни, а не одна.

И сразу хочется оборвать, как обрывал Станиславский актера, почувствовав фальшь и наигрыш:

— Не верю!

Не верю потому, что если ты на самом деле чувствуешь, что в тебе совместились две жизни, ты скажешь: достаточно одной пули, чтобы убить нас обоих.

В этой крошечной обмолвке сказалось не отсутствие логики, а отсутствие подлинности, правды чувства. Сразу становится очевидно: стихотворение родилось не как естественный человеческий порыв, а как «находка», как «интересно придуманный поэтический ход».

Одному русскому поэту принадлежат гениально простые слова: «Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть».

Можно виртуозно владеть всеми «формальными достижениями» поэзии XX века, можно даже пойти гораздо дальше Хлебникова или Цветаевой по пути словесного эксперимента, но если это не является естественным, органическим, единственно для тебя возможным способом выразить свое отношение к миру — все это великолепное умение окажется лишь «умением говорить неправду». Ведь в искусстве правда — это не просто сумма истин, почерпнутых извне. Это во что бы то ни стало твоя правда, то есть правда характера, правда чувства.

А. Н. Толстой любил повторять, что точно найденная фраза — всегда результат увиденного художником жеста, верно почувствованного душевного движения героя. Но для лирического поэта строка — это результат его собственного жеста, его собственного душевного движения.

Маяковский хотел, чтобы его лирическая «лодка» была грузоподъемнее океанского лайнера. Он надрывался, взвалив на себя непосильную тяжесть, — и ломался ритм его стихов. Цветаева вступила в едино-

борство с языком, чтобы выразить свою трагедию. Она не могла выразить ее иначе:

Отказываюсь жить
В бедламе нелюдей.
Отказываюсь выть
С волками площадей...
и т. д.

Все, за что эти поэты расплачивались жизнью и кровью своего сердца, в стихах их эпигонов предстает как «ритмические и интонационные ходы», «фонетические ассоциации», «рифмы», «ритмы», «звукоспись»...

Ну можно ли всерьез считать, что Цветаева отличается от Вознесенского лишь тем, что все это было у нее «в первый раз» и «много лучше»?

Сложен, извилист, трагичен был путь Марины Цветаевой. Неприятие Октября, уход в эмиграцию — и презрение к затхлому эмигрантскому болоту; отчаянные попытки удержаться «над схваткой», на узкой полоске «ничьей земли», пролегающей меж враждующими окопами, — и огромная, всепоглощающая ненависть к фашизму. Вот лишь некоторые из этапов этого мучительного пути.

Надо ли говорить о том, что у Андрея Вознесенского нет и не может оказаться никаких точек соприкосновения с этой трагедией и этой судьбой?

В чем же тогда то «сходство», о котором так упорно и настойчиво твердит критика?

Вот стихотворение Цветаевой — ее «поклон поколению» старших современников своих, присяга в верности им:

Поколение, где краше
был, кто жарче страдал.
Поколение, я ваша.
Продолжение зеркал.
Ваша — сутью и статью,
и почтением к уму,
и презрением к платью
плоти временному...

А вот Андрей Вознесенский присягает в верности своим старшим современникам:

И поэту в ночах не спится...
Его сердце трубит трубой.
Не патрищем,
а партийцем —
В бой, в бой!

К последним отпрыскам дворянской культуры, «только душу и спасшим из фамильных богатств», обращается в своем стихотворении Цветаева. Трагедия этих людей — чужая, не близкая нам трагедия. Кажется бы, в лучшем случае мы можем лишь умозрительно понять ее. Почему же все-таки нас, никогда не имевших «фамильных богатств», не верящих в загробную жизнь и потому вовсе не склонных испытывать презрение к временному «платью плоти», так волнуют строки Цветаевой? И почему так раздражающе ненатурально, искусственно звучат строки Вознесенского?

У Цветаевой это нарочитое сближение — «платью плоти» — как бы случайно обнаруживает корневую, смысловую связь этих двух слов (пусть мнимую) и тем самым еще раз неопровержимо подтверждает мысль поэта: плоть, платье — все это временное. Вечна только душа.

У Вознесенского — словесная игра. Поэтому даже там, где есть живое, неподдельное чувство, она мгновенно заглушает его, делает неодоверенным:

ОБЕЛИСК

Обелиск. Обелиск, обелиск!
Обелиск из гранита и стали,
Обернись, обернись, обернись —
Это наши погибшие встали.

По житейским заботам спеша,
Посмотри из кабины наружу —
И не может не вздрогнуть душа,
Если ты сохранил еще душу.

Обернись и душой обелись
Перед этим прямым обелиском.
Ведь затем они шли в обелиск,
Чтоб светить нам — и дальним и близким.

Необъемлемо мертвых число.
Сколько их — пусть не все Прометеи —
По земле проползло и прошло!
Вы из тех, кто по ней пролетели!

Есть щемящее что-то в тебе,
Ежедневная жизнь Современья.
Есть щемящее в нашей судьбе,
Что не знает ни дня повторенья.

Не как дым, не как тлен, не как прах
На планете останемся этой.
Будем звездами плавать в мирах.
Обелиском взойдем над планетой.

* * *

Выносят саркофаг.
 Выносят саркофаг.
История вот так
 вождей на место ставит.
Над ним не плещет флаг.
 Над ним не плачет флаг.
И слез никто не льет.
 Никто его не славит.

Он так себя впитал
 и в мрамор и в металл —
Казалось, на века
 впечатан он в бессмертье.
Над смертными витал,
 и молнии метал,

И властвовал над всем
 в величии бессменном.

И правда и закон,
 о, неужели он
Не понимал всего,
 не мучился ночами?
О, если б кончил он,
 как раньше начал он,
О, если б был в конце,
 каким он был в начале.

Тяжелый это шаг.
 Необходимый шаг.
Выносят саркофаг.
 Выносят саркофаг.

Надежда МАЛЬЦЕВА

ЗЕМЛЯ

Горы на руках твоих — мозолисты,
Глаз озера — плещут синевой.
Ты, земля, от полюса до полюса,
Мне не представляешься иной.

Ты такая — трудная и новая,
Нераспаханная до конца,

Так и шла бы по твоим дорогам я,
Начиная с нашего крыльца.

И, стирая пот ладонью пыльною,
Я смогла бы много верст пройти,
И тебя — огромную, обильную —
Познавала б заново в пути.

* * *

Когда еще я маленькой была,
Мне утром солнце половику стелило,
Чтоб ноги я себе не простудила,
Когда еще я маленькой была...

Когда своих силенок не хватало
И дверь открыть, мне открывали двери
И ветры, и снежинки, и метели.
Когда своих силенок было мало...

С тех пор прошел десяток трудных лет.
Никто мне половику для ног не стелет,
Сама себе я открываю двери...
Увы! Снежинок добрых больше нет...

Александр ЛЮКИН

* * *

...А где ж ты, милый,
Душу расплескал?
Дороги-то твои
Ровны ведь были.
Их подметали в ночь,
Когда ты спал,
Когда ты нежился,
Их чистили и мыли.

Седой старик
Убрал твой тротуар,
Собрал твои окурки
У подъезда.
Он очень хил,
Он немощен и стар,
Дел для тебя
Он переделал бездну.

А где ты нервы,
Милый, расшатал?
Пока сидел ты
В школе на уроках,
Мать слезы вытерла,
Чтоб ты не знал,
Что есть нужда
И что она жестока.

Ты обругал ее,
Старушку мать,
Ну что же,
Видимо, не мог иначе.
Ложись, сынок,
Ложись спокойно спать, —
Когда уснешь,
Пускай она поплачет.

• • •

Александр РОМАНОВ

КИНОЖУРНАЛЫ

С. В.

Мы полюбили в людных залах
Средь наступившей тишины
Сперва смотреть киножурналы
О людях, о делах страны.
И удивительное дело,
Что эти новости подчас
Нас больше за сердце заденут
И большему научат нас.
Кого же упрекать за это,
Что мы порой находим
Прекрасней сказок многоцветных,
Крупноэкранных и иных?
...Сидим с тобою в чутком зале —
Ты — шляпу, я кепчонку мну —
И смотрим влажными глазами
В мерцающую тишину.
А там спокойно, безбоязно
Над стрежнем, где ревет вода,
Висят, качаясь, верхолазы
И тянут, тянут провода.
Но вот уже через минуту
Иное трогает сердца —
В степи сугробной, неудобной
Дрожат от ветра деревца.

И первый след машинный рядом,
И люди снегом руки трут,
И кажется, веселым взглядом
И нас туда, к себе, зовут.
У них негромкие фамилии,
Они немного смущены,
Что вот, под стать артистам, в фильме
Самих себя сыграть должны.
Но как сыграть, коль жили прямо,
Лишь безыскусственность любя,
Не для хвалы, не для экрана
И малой частью для себя?
Они снимались все когда-то,
Но лишь на карточках простых
Для вузов и военкоматов
И так, на память, — для родных.
А тут — кино. Как не стесняться?
Но раз должны — так уж должны.
И вот они идут сниматься
Теперь на память для страны.
Они — немало их в России —
И на заводах, и в полях
Неподражаемо красивы
В своих неписанных ролях.

Станислав КУНЯЕВ

ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

А вот и ветряные мельницы
стоят в Калининградской области.
Но ничего на них не мелется,
повисли сломанные лопасти.
Напрасно рядом ветер крутится —
они не вертятся, не трудятся.
Они работой не загружены,
зерном, как прежде, не завалены.
Стоят — почти полуразрушены.

Стоят одни полуразвалины.
Хлеб нынче по-другому мелется.
Большие руки опустили,
стоят и вымирают медленно
производительные силы.
Давно закончилось кружение.
Они не делают погоду.
И не с кем начинать сражение,
случись приехать Дон-Кихоту.

• • •

Анатолий РЫБОЧКИН

ОРЛИНЫЙ ПЕРЕВАЛ

Гора в полнеба на дороге,
На стыке неба и земли
Котенком рыжим на пороге
Играет облачко вдаль.

Под это облачко, туда нам,
Все вверх и вверх до той скалы,
Где лишь одни, по нашим данным,
Гнездятся бури да орлы.

Ползет почтовая машина,
С глубиной рейсовая связь.
Купив билет за рубль с полтиной,
Трясусь, на борт облокотясь.

А лес такой на перевале,
Что ахнет житель городской:
То будто мы в колонном зале,
То в узкой улице какой.

Сыр-бор что поле без прополки,
И мох как слипшийся туман.
Того гляди на сером волке
Из чащи выедет Иван.

И что вы скажете на это?
Когда вверху сырая мгла

В один наскок спугнула лето
И к нам под ватники вползла,

Когда, сраженный бурей горной,
Стволом навис над нами кедр,
Как миномет с плитой опорной,
Подняв корнями тяжесть недр, —

Вдруг вышел он — обыкновенный
Солдат — и встал за тем стволом,
А там радар своей антенной
Вращал, как мельничным крылом.

Ребята сельские в машине
Плели догадки невпопад,
Но я-то знал, какие ныне
«Глаза» и «уши» у солдат.

А он, по-юношески нежен,
Застенчив, слова не сказал,
И лишь объезд вокруг валежин,
Как строгий лоцман, указал.

И раньше, чем в полет могучий
Орел поднялся со скалы,
Я понял, что на этой круче
Живут действительно орлы.

Виктор УРИН

СКУЛЬПТУРА

Однажды один знаменитый скульптор,
напутав что-нибудь, может быть,
не очень щедро, но и не скупо
сказал, что хочет меня лепить.

Сказал:
— Мне нравятся ваши странствия,
они для художника как руда,
и ваши стихи, молодые, страстные,
и ваша мятежная борода...

Лепить характер мой — что за невидаль.
О скульптор вдумчивый, не спеши!

Какую рыбку резцом, как неводом,
ты выловишь в море моей души?

Есть люди такие — самозаводятся.
И скульптор жару мне поддавал.
Летим в метро на Автозаводскую,
и с корабля, как на бал, — в подвал.

А в том подвале мне уготовлено
местечко было — полудиван.
Под гривой Людвига ван Бетховена
мечтал Ван Клиберн и Пырьев Ван.

И море души моей вроде замерло,
и бровью боялся я шевельнуть,
и стал уже я почти что мраморным
и вроде под даты подставил грудь.

И я сидел в напряженной строгости,
а скульптор ехидничал:
— Ну и ну,
напрасно вы собственный образ строите,
вас нет, сейчас вас месить начну.

Он глину брал.
И в каком-то чане
он меня похлопывал по плечу,
и мое таежное одичанье
из глины промолвило: «Вить хочу!»
А скульптор меня на станок, навалом,
и некий временный пьедестал
моей квартирой, моим журналом,
моей грядущей поездкой стал.

Еще нереальный — я ехал в завтра.
Мои возникающие черты
спешили в страну моего азарта,
летели в адрес моей мечты.

Да, я был глиняный, я был заляпанный,
а скульптор, бледный и молодой,
бил по лицу меня своими лапами,
своею радостью, своей бедой.

Глаза, казалось, цвели от яблок,
и бровь работала, как весло,
и борода плыла куда-то набок,
против течения ее несло.

Я был в раздумье, в нелегком поиске.
Я перелистывался, как тетрадь,
я стал героем чудесной повести,
каким я не был, а мог бы стать.
В портретном сходстве — такая истинность,
и среди чувствований ветровых
мне было страшно смотреть на искренность
и на возвышенность черт своих.
Я все же — робость,
а этот — мужество.
Я весь — наружу, он — в глубине.
И тут я понял с каким-то ужасом,
что эта повесть не обо мне.
Но если высказаться откровеннее,
когда свою жизнь целиком берешь,
наверно, когда-нибудь хоть мгновение
я был на скульптуру свою похож.
По сути ведь человек — кресало,
он — родина праздничного огня.
И скульптор,
поверив в мое начало,
меня выхватывал из меня.
Да, в каждом,
я утверждаю — в каждом
что-то прекрасное может быть.
Таковыми бываем мы все однажды,
а нет чтоб всегда нам такими быть.

Федор ФЛОМИН

НА РЕКЕ УСТЕ

Ладонь отдавая сынишке,
свежа, синеглаза, мила,
мамаша в обидном платьишке,
в платьишке заплатанном шла.

Простушка несла постирушку
с плота, где дышало белье.
Шагала, оставив подружку,
скрипела корзинка ее.

Чего бы не отдал!
Без просьбы,
сюда, на пленительный плес,
букеты перлона привез бы,
стеклянну шубу принес!

Улыбка мне станет наградой,
а может быть, отклик во сне;
а может быть, скажет:
— Не надо!
Попроше бы ситчику мне!

Варлам ШАЛАМОВ

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

Тороплюсь, потому что старею.
Нынче время меня не ждет.
Поэтическую батарею
Я выкатываю вперед,

Чтоб прицельные угломеры
Доставали до подлеца,
Подхалима и лицемера,
Чернокнижника и лжеца.

Не отводит ни дня, ни часа
Торопящееся перо

На словесные выкрутасы,
Изготовленные хитро.

И недаром боятся люди,
Сторонящиеся меня,
Самоходных моих орудий
Разрушительного огня.

Кровь колотит в виски! Скорее!
Смерть не ждет! Да и жизнь не ждет.
Поэтическую батарею
Я выкатываю вперед.

* * *

Луна потрясает моря,
Она потрясает и сушу.
И море в разгар сентября
Грохочет: разрушу! разрушу!

И волн поднимается ряд,
Как ряд вопросительных знаков.
На первый лишь кажется взгляд.
Что будет ответ одинаков.

Казалось, скала или риф
Задеты волною любою
И станут подобием рифм
Ритмичные вздохи прибою.

Но это, конечно, не так.
Любое здесь — неповторимо:
И старый платан, и маяк,
И столб золотистого дыма

Над черным рыбацким костром
Вблизи от бетонных надгробий,
И где-то катается гром
В ведре пересыпанной дробью.

И будто бы лепят рукой
В талантливом быстром движенье
Причудливый берег морской,
Меня камней положенья...

И даже я сам не таков,
Как был за минуту до чуда,
До этих внезапных стихов,
Явившихся тоже оттуда —

Оттуда, из той глубины,
Копившихся там постепенно,
Взлетевших на гребне волны,
Как пена, как светлая пена...

* * *

Не в Японии, не на Камчатке,
Не в исландской горячей земле,
Вулканическая взрывчатка
На заваленном пеплом столе.

И покамест еще примененья
К отопленью сердец не нашло —
Застывает, утратив движенье,
Беревившее душу тепло.

* * *

Упала, кажется, звезда
Или, светя с вершины,
Сквозь ночь спускается сюда
С горы автомашина?

Вокруг палатки — темнота
Бездонная ночная.

Не слышно шелеста листа,
Умолкла речь речная.

Я в лампе не зажгу огня.
Чтоб летней ночью этой
Соседи не сочли меня
Звездой или планетой.

Владимир САВЕЛЬЕВ

ЧУДЕСНАЯ КАПЛЯ

«Капля океана» — так называется новая книга стихов Михаила Львова. Судя по всему, название это не случайно: чудесная капля постоянно находится в том движении, без которого нет поэзии.

Вот она, эта капля, в черных грозовых тучах нависает над бескрайней степью, над степью, которая в продолжение веков

...была открыта для баталий,
Для кровавых распрей и утех.
Для татарских ханов.

И тотчас же в капле отражается добродушное и умное лицо поэта:

Я — татарин,
Только я, конечно, не из тех.

Вот она, чудесная капля, блестит слезой на ресницах ветерана минувшей войны, который «был убит приснившимся осколком», но...

...в шесть утра горнисты Измаила,
Как ангелы, трубящие в раю,
Солдата вновь поднять из могилы,
И я опять ревную и люблю.

Да, чудесная капля все время освещена огнем одного из тех «безотказных» сердец, которые «никаким инфарктам не подвержены», которые бились в груди настоящих поэтов. А поэты эти

Умели держать пистолеты в руках,
Умели и выстрелить тоже.

И конечно же именно поэтому в чудесной капле, сверкающей утренней росой, в полный рост отражается настоящая, большая любовь:

Шагаю перед домом и вокруг.
Нарадоваться счастью не могу.
За кругом я вышагиваю круг,
И спишь ты в заколдованном кругу.

Мне думается, что светлая «Капля океана» Михаила Львова, не смотря на извечную противоположность стихий, во многом сродни той искре, из которой возгорается пламя большого искусства.

Яков БЕЛИНСКИЙ

НЕГРЫ В ЛУВРЕ

Негры в Лувре.
Из Танганьики.
У Венеры Милосской.
У взвихренной Ники.

Залы — светлые храмы,
как саванны просторны...
В розовеющий мрамор
профиль врезанный черный.

Негры в чопорном Лувре.
Из Танганьики.
Смотрят строго и мудро
на мрамор великих,

что мерцает, как снег
в складках Килиманджаро,
на вершинах на всех
в предрассветных пожарах...

Там стропила их дома,
там в сумерках серых

сквозь тамтамовый гомон
смотрят сонно Венеры,

бедрa чьи как тиски —
мастер вытесал смело,
чьи косые соски
как летящие стрелы,

чьи угрюмые скулы
надменны и плоски...
Негры в Лувре.
Средь гула.
У Венеры Милосской.

В старом Лувре.
Из Танганьики.
Смотрят дерзко и мудро
в бессмертные лики.

А за окнами — утро
невиданной эры:
время белой Венеры,
время черной Венеры.

Париж

ИЗ ОКНА САМОЛЕТА

С высот видней Москвы громада.
Яснее каждая черта...
Шпилей торжественных бравада.
И новых улиц прямота.
Вся пышность граней золотых.
И — луч рассвета на фасадах...
Дворцы конца сороковых.
И — улицы шестидесятых.

• • •

Борис РАХМАНИН

ЗНАМЯ

Прорезались острые листья,
На улицах запахи гроз.
Знамена уборщица чистит,
Которые дал ей завхоз.
Она развернет их, как свитки,
Воздаст им достойный почет.
Смахнет все пылинки и нитки
И надписи тихо прочтет.
Ни золото букв ей не нужно,
Ни лент золотая трава.
Она, понимая все глубже,
Шепнет:

«Золотые слова...»

А ветру повсюду есть дело.
Он резкий, весенний, живой..
Полотнище вдруг загудело
Над белой ее головой.
Обняло ей узкие плечи,
И стало тепло и легко.

Уборщица ждала покрепче
Шершавой рукою древко.
Лицо ее строго и просто,
Все в тонких морщинках прямых...
Уборщица на знаменосца
Вдруг стала похожей на миг.
Ей кажется, нет у ней права,
Чтоб знамя летело над ней,
Что слишком высокая слава
Нечаянно

выпала ей.

Стоит она

прямо, как в зале,
В цветастом веселом платке,
С растерянными глазами,
Со знаменем

чистым

в руке.

Ирина ВОЛОБУЕВА

РОВЕСНИЦАМ

Много нас, что скорбели по-вдовьи
О товарищах, павших в бою.
Нам казалось, что с первой любовью
Мы хороним и юность свою.

Ну, а годы текли торопливо,
Шли снега, и сирени цвели.
Мы влюблялись в других,
но ревниво
Тех, погибших, в сердцах берегли.

А над нами все всходят рассветы,
Все заметней морщинки у глаз,
Сыновья
одноклассниц портреты
Потихонечку прячут от нас.

Ну, а те всё зовут нас «девчата»,
Ждут в аллеях садов городских,
И все так же мы нежно и свято
С благодарностью помним о них.

Андрей ТУРКОВ

КОГДА, И ПРАВДА,—В ДОЛГУ...

Ходячие разговоры о том, что критика — в долгу, часто раздражают. Мы уже осторожнее подходим к поэтам и не требуем от них медленного реагирования на то или иное событие: надо уметь дожидаться всходов! Критиков часто еще тормозат: смотрите, товарищ такой-то еще ходит невоспетый! Ну что вам стоит написать рецензию?

Дорогие товарищи, ведь это же неуважение не только к нашему труду, но и к «невоспетому» поэту! Так ли это просто: написать о поэте, ведь это значит написать его маленький портрет, если не хочешь ограничиться отпиской, которую, видимо, и требуют от тебя под видом рецензии. Есть поэты, которых я очень люблю и... не могу найти слов для «признания».

Так что я совсем не отрицаю «долгов», но не хочу расплачиваться фальшивыми купюрами.

Уже несколько месяцев лежит у меня на столе книжка Владимира Гордейчева. Он живет в Воронеже, и поэтому я избавлен от необходимости бормотать при встрече что-то невнятное в свое оправдание.

Автор сборника «Беспокойство» — очень скромный человек и в то же время неуступчивый, не рвется в первый ряд, как это бывает на некоторых групповых фотографиях, и в то же время не склонен никому подпевать.

В прошлом году я несколько раз слушал его выступления на целине и хорошо помню, как его глуховатый, «невывыгршный» голос заставлял слушателей напряженно притихнуть. Он читал тогда стихи «Кукушкины слезки» — об «оболганной птице» и о людях:

Где кукушек потом не клеймили —
Да уж так ли виновны они,
Что в лесном неустроенном мире
Нестерпимы голодные дни!
Так куркуль, подавая подачки,
Говорил, отваясь от стола,

Безработной, бездомной батрачке:
— Дармоедка, гнезда не свила. —
Так лабазник острожницу хаял
За подкидыша, зная сполна,
Что, ребенка от смерти спасая,
На такое решилась она.

С той же проникновенностью пишет Гордейчев и о матери, потопливающей сына на работу, помогающей ему войти в нелегкий ритм трудовых будней:

...мать печалилась, поди,
Вздыхала, но молчала,
Как будто снова от груди
Ребенка отучала.

(«Яблоки»)

Добро и понимающе относится поэт к людям, не становясь в позу и вообще нимало не заботясь о том, чтобы мы оценили эти его заслуги. Есть у него стихотворение, как он несмело бросал в окно девушки снежок, а та не слышала и только утром замечала: «Стекает капля по стеклу, а почему — не знала». Это желание прикоснуться к человеческим душам, к их радостям и горестям бережно и ненавязчиво, скорее идя на риск остаться неуслышанным, чем вызвать досаду кричащей, фальшивой нотой, трогает меня в книге Гордейчева вообще.

И я взялся за перо, потому что мне не хочется, чтобы поэт думал, будто его не услышали.

Николай РЫЛЕНКОВ

ОРЛОВСКАЯ ВЕСНА

Даль лилово-сиренева,
Верит в ясный июнь она.
Здравствуй, город Тургенева,
Город юности Бунина.

Город встречи торжественной
Снов, что в вымыслах явлены.
Как по-русски тут женственны
В палисадниках яблони!

Как, прикрывшись платочками,
Жмутся вишни под окнами!
Тропки вяжутся строчками
Над обрывами окскими.

Мы вникаем в них истоиво,
На помарки не жалуясь.
Так и кажется: издавна
Где-то тут поджидали нас.

Может, в сумерки ранние
У куста у ракитова

Вновь услышим дыхание
Мы всего незабытого.

Может, молодость сызнова
Выйдет, брякнув калиткою,
То ль тургеньевской Лизою,
То ли бунинской Ликою.

Но проулочки узкие
Выбегают на улицы,
Но встречают нас вузовки,
Провожают нас вузовцы.

Не они ли отметили
Нам страничку любимую,
Призывая в свидетели
Всю Россию глубинную.

Облик дня незабвенного,
Тишь громами приструнена...
Вот он, город Тургенева,
Город юности Бунина.

* * *

Пой мне, пой, погоды ясной вестница,
Иволга, сестра души моей.
За рекой калинушка невестится
И готова встретить косарей.

Все, что есть у солнца и у месяца,
Развернуло лето перед ней...
Пой мне, пой, погоды ясной вестница,
Иволга, сестра души моей.

• • •

Юрий ПОЛУХИН

ТОНЬКА

Не стучите вы в дверь
Станционной столовки,
Погодите, ребята, народ озорной!
Там девчонка одна, золотая головка,
Заперлась
И рыдает за тонкой стеной.

А бывало,
В столовке появится только:
Как корона — кокошник, и брови взлетит,
Из-за дальних столов:
— Тоня, Тонечка, Тонька! —
Подзывает ее работающий народ.
И ходил тут один — голубая спецовка,
Рыжеватая куртка на левой руке, —
Подъезжал по-шоферски
Нахально и ловко,
Предлагал покататься на грузовике.
И подружка шептала:
— А, черт его носит!
Ты не слушай его, больно сладко поет,
Я видала таких: погуляет да бросит...
Лучше, Тонька, давай от ворот поворот. —

Ну, а как усидеть в общежитье весь вечер,
Если воздух в степи и густой и хмельной,
Если сладко и страшно —
Явиться на встречу
И по шпалам в обнимку бродить под луной.
На шлагбаум по зорьке она приходила...
А весь день на работе
Вот так занята:
Всех она накормила и всех напоила,
И сама-то по горло
Слезами сыта.

Ой, девчонка, молчи,
Не показывай вида,
Позабудь все слова и посулы его.
Это плачет в тебе не любовь, а обида.
Ты еще не любила совсем никого.
...Над рекою стоят голубые березы,
Утонули по пояс в туманном дыму.
Ты пройди до реки —
Ветер высушит слезы,
Этот вечер не выдаст тебя никому.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Снег ли в окна стучит,
Дождь ли травы полощет,
Или солнце летит, опалив облака, —
Ты прекрасна всегда,
Комсомольская площадь,
Говорлива, шумна, как река.
Здесь с дорожною далью
Встречается всякий,
Значит, время отсюда берет свой разбег.
Лишь ступи на перрон —
И увидишь Исаакий,
И великий Байкал, и блестящий Казбек.

Мы легки на подъем,
А чтоб было нам проще,
Чтобы даль путевая под ноги легла,
Специально для нас
Комсомольская площадь
Все пути и дороги в ладонь собрала.
Эти громкие ГЭС,
Эти жаркие стройки —
Внесены в биографии наши они.
И стоят три вокзала
Как русская тройка,
Прощайся с друзьями, садись и — гони!

• • •

Александр МЕЖИРОВ

СТАНИСЛАВА

Сколько шума!
Ах, сколько шума!
Пересуды на все лады.
Шуба куплена!
Шуба!!
Шуба...
Только б не было вдруг беды...

Шуба куплена
неплохая —
Привлекательная на вид.
Мехом огненным полыхая,
Над кроватью она висит.

Тридцать
стукнуло
Станиславе, —
Не кому-то, а ей самой, —
И она несомненно вправе
В шубу вырядиться зимой.

Тридцать —
прожиты
трудновато:
Было всякое, даже грязь.
Станислава не виновата
В том, что женщиной родилась.

Не сложилось в начале самом:
Станислава
была
горда, —
Ну, а он оказался хамом —
Бабник, синяя борода.

И сама не припомнит —
пела
Или слезы рекой лила.
Только вскоре
не утерпела,
Дверью хлопнула и ушла.

Прерывая веселье стоном,
От бессонных ночей бледна,
В женском поиске исступленном
Десять лет
провела она.

Женский поиск
подобен бреду, —
День корóток, а ночь долга.
Женский поиск
подобен рейду
По глубоким тылам врага.

Так без роздыха и привала
На хохочущих сквознях
Станислава
себя искала
И найти не могла никак.

Научилась
прощаться просто.
Уходя,
не стучать дверьми.
И процентов на девяносто
Бескорыстной
была с людьми.

Но презренного нет металла,
И на лад не идут дела.
Голодала и холодала, —
Экономию навела.

Продавцы намекали грубо
На особые времена.
И в конечном итоге —
шуба
Над кроватью водворена.

На дворе —
молодое лето, —
Улыбайся, живи, дыши!
Но таится тревога
где-то
В самом дальнем углу души.

Самодержцы, Владыки, Судьи,
Составители схем и смет.
Ради шубы —
проголосуйте!
Ради Стаси
скажите —
нет!

Ради мира
настройте речи
На волну моего стиха, —
Дайте Стасе закутать плечи
В синтетические меха.

Воспитать разрешите братца,
Несмышлениша, малыша.
Дайте в шубе покрасоваться —
Шуба новая
хороша!

Чтобы Стася могла
впервые,
От восторга жива едва,
Всунуть рученьки
в меховые
На три четверти
рукава.

Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ

БОТИНКИ

Собралось множество народу,
И каждый мне давал наказ,
Поскольку в дальнюю дорогу
Я собирался в первый раз.

А мне завидовало столько!
И надо было понимать:
Я еду в город Севастополь —
В морскую школу поступать!

И, старый шкаф открыв со скрипом.
Мне мать в серьезный этот путь
Ботинки черные со скрипом
Велела на ноги обуть.

В вагон вошел я по билету,
А ехать мне четыре дня,
И документ за семилетку
Лежал в кармане у меня.

И не сумел понять я толком,
Откуда смог вагон узнать —
Я еду в город Севастополь,
В морскую школу поступать!

А пассажиры мне: «Братишка!
Таких нельзя не принимать,
Да ты, милоч, в своих ботинках
Парады будешь принимать!»

И было все отлично в общем,
Я ехал весело и всласть,
Хоть ехал я в вагоне в общем,
Где негде яблоку упасть.

И на одном глухом вокзале
Заснул как мертвый среди дня.
И среди дня ботинки сняли,
Ботинки новые с меня.

Ах как я бегал по вокзалу,
Ботинки черные искал,
Вокзал жевал и хлеб и сало,
Вокзал сочувственно икал.

И было мне понятно только,
Что я остался босиком...
Ну как я в город Севастополь
Таким поеду босяком?!..

Гарольд РЕГИСТАН

ГОЛОС ДОЛГА

Все было так, как мне хотелось:
Легко жилось. И звонко пелось.
Все исполнялось. Даже сны.
Я знал,
Что я имею право
На счастье, на любовь и славу.
Солдат, вернувшийся с войны.

А в деревнях, дотла сожженных,
Мужей убитых ждали жены,
В тоске старея на глазах.
И счастье тенью омрачалось,
Когда на улице встречалась
Вдова товарища в слезах.

И слава радовала меньше,
И строже я смотрел на женщин, —
Не до любовных было слов,
Когда в дырявых телогрейках
Девчонки для узкоколейки
Таскали шпалы в пять пудов.

Спасибо, дальняя дорога,
За то, что позвала ты строго
В необозримые края.
За встречи на колхозных станах,
И за стихи в блокнотах рваных,
Где жизнь моя и не моя.

И за попутные машины.
За желтый хлеб под небом синим.
Целинный хлеб на Иртыше.
За чайку белую над Волгой.
И за суровый голос долга,
Что как набат звучит в душе.

А людям —
Радостью и болью,
Тоской, бессонницей, любовью
За все теперь сполна плачу.
О как мне нелегко живется,
Как трудно мне сейчас поется.
Но я иначе не хочу!

Виктор СОСНОРА

КРАПИВА

У лужайки пена мха
как пиво.
На лужайке даже в мае
жарко.
Вымахала с петуха
крапива.
Агрессивные вздымала
жала!
А мечтала: о ноздрях
лосиных,
о коленях оголенных
женщин,
чтоб ни свет и ни заря
в лесах,
в поселеньях, в огородах
жечь их!

На болоте мхи крепили
холку,
верещали на гону
зайчата.
Так как не было крапиве
ходу,
то крапива на корню
зачахла!
Занималась над садами
зона
голубой зари — наклоном
к логу.
И крапива назидала
зернам
жить добрее, экономить
злобу.

ДЕЛЬФИНЫ

Я не верю дельфинам.
Эти игры — от рыбьего жира.
Оттого, что всегда
слабосильная сельдь вне игры.
У дельфинов
малоподвижная кровь
в склеротических жилах.
Жизнерадостность их —
от чужих животов и икры.

Это резвость обжор.
Ни в какую не верю дельфинам,
грациозным прыжкам,
грандиозным жемчужным телам
Это — кордебалет.
Этот фырк,
эти всплески — для фильмов,

для художников,
разменявших на рукоплескания красок
мудрый талант.

Музыкальность дельфинов!
Разве
после насыщенной пищи недели
худо слушать кларнет?
выкаблучивать танец забавный?
Квартируются в море,
а не рыбы.
Летают,
а птицами стать нег надежды
Балерины-дельфины,
длинноклювые звери
с кривыми и злыми зубами.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег.
Пересмех
Перевертышей-снежинок
Над лепными урнами
И снижение снежинок
До земного уровня.
Первый снег.
Пар от рек.
В воду — белые занозы.
Как заносит велотрек.
Первый снег заносит.

С первым снегом.
С первым следом.

Здания под слоем снега
Запылают камельками.
Здания задразнит небо:
— Эй вы, камни, камни, камни!

А по каменным палатам
Ходят белые цыплята,
прыгают —
превыше крыш!

Кыш!
Кыш!
Кыш!

Юрий СМИРНОВ

МОНТАЖНИК

На снаряжении ажурном,
Под облаками,
Ты не в новехонькой тужурке,
Как на плакате.

Домой идешь ты в чем получше,
А тут заплаты.
Не против выпить ты с получки —
Когда зарплата.

Но серебристая антенна
Буравит небо!
Ты над Землей, где у Антея
Шалили нервы.

На высоте у полубога
Тряслись коленки,
А ты в безбрежье голубого —
В своей тарелке!

* * *

Огонь электросварки синий,
Переходящий в фиолет,
Сравним по яркости и силе
Со светом голубых планет.

Он бьется над сооруженьем
На тонком острие иглы,
И возникают сопряженья
От этой световой игры.

...Мы темень терпеливо гнали
И шли наперекор кострам,
Чтоб электродами сигналить
Неясным голубым мирам.

Мы к ним еще направим рейсы
По темным маякам потерь.
Нам просто никуда не деться,
Нам просто больше нет путей!

Василий СУББОТИН

ГРОЗА

Я не знал Павла Когана.

Но большинство моих друзей — он учился перед войной в московском ИФЛИ — его помнят.

Он не напечатал ни одного своего стихотворения — не успел. Теперь его сокурсники собрали его книжку, по тем бумагам, которые хранил отец.

Я держу в руках эту первую маленькую книжечку стихов, ее называли «Гроза», тоненькую книжку Павла Когана. Он был моим сверстником, но я не знал его. Он написал еще мало, и, конечно, не все сумел он так написать, как хотелось ему... Я ее листаю и опять нахожу эти строки. Впервые я наткнулся на них в журнале. Вот эти, где он говорит о друзьях школьниках в часы октябрьского праздника, о товарищах детства, что стоят с ним на грузовике «АМО», — о тех мальчиках, которые потом погибнут на Шпрее.

Эти последние слова — не мои, это слова Когана.

На первый взгляд даже непонятно, как они могли появиться у него. Это отрывок, вернее — два отрывка из его неоконченного романа в стихах. Я привожу их полностью — от одной точки до другой.

Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от муз сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее.

Эти мальчишки — мои товарищи. Это — Белов, Чернобровкин. Это — Всеволод Лобода, песни которого и после его смерти, и после войны еще пели в полках. Это — Твердохлеб, первым вклинившийся со своим батальоном в немецкую оборону на высотах за Одером и убитый просочившимися к штабу автоматчиками.

И — незнакомый мне Виктор Крыжановский, могилу которого я видел в берлинском предместье Карове.

У самой дороги, в нескольких шагах от немецкой траншеи, стоял пробитый снарядами танк. Могила его была тут же, возле танка. Глинистый холмик этот, свежеструганная доска и — надпись: «Виктор Крыжановский первым шел на Берлин. Погиб здесь, в танке, 23 апреля 1945 года». Все помнится. . .

Это и тот солдат, на могиле которого написано было — «Погиб за завоевание знамени победы над Берлином».

Как я наткнулся на могилу танкиста Крыжановского, так же наткнулся я на могилу артиллериста Федора Ошамка. Он был убит, когда его орудие меняло огневые — на мосту через Шпрее. Я увидел такую же дощечку — имя его было выжжено гвоздем — и не поверил. И долго не хотел верить, что знакомый мне командир орудия Ошамка погиб. . .

Молодой Павел Коган будто о всех о них написал, всех их вспомнил. Всех, кого я хорошо знал, с кем накоротке встречался и просто разговаривал, едва успев занести их фамилии себе в блокнот. Все эти мальчишки-бойцы, их столь же юные командиры — уже не в пиджаках, а в измазанных глиной ватниках, простуженные и охрипшие, падающие от усталости, оказались запечатленными — все, кто зарыт там, на берегу Шпрее, в ровиках перед рейхстагом, на том последнем рубеже.

В другом своем стихотворении Коган пишет о будущем — теперь уже настоящем — путешествии в ракете, о рейсе во вселенную, в космос. И здесь тоже такие я нашел строки:

Сквозь вечность кинутые дороги,
Сквозь время брошенные мостки.
Во имя юности нашей суровой,
Во имя планеты, которую мы
У мора отбили,
Отбили у крови. . .

Во имя войны сорок пятого года.

В стихах иногда можно очень точно угадать. Это известно. Я это знаю. Но откуда же — «во имя войны сорок пятого года»? Откуда оно, это провидение?

Он мало успел написать, и не все так, как ему хотелось. . . Он почти мой ровесник, сверстник мой. Но когда он это написал, я тогда еще даже мало интересовался стихами.

С портрета на меня смотрит лобастый мальчик — большеглазый и неуступчивый.

Он не дошел до Берлина. Он не дожил до конца войны. . . Он погиб в сорок втором году под Новороссийском.

Степан ЩИПАЧЕВ

* * *

Чтоб одичала, вымерла Земля
И бросила о будущем мечтать,
Войне на письма ставить штемпеля.
Нет, письма будет некому читать.
Земля поймет, зажав пробитый бок,
Что час настал подумать о себе,
Но будет поздно. Верующим бог
Помашет ручкой издали... Борьбе,
Борьбе, тревоге нашей верь, Земля,
Глазам детей, траве, деревьям верь!
Пора сейчас схватить за горло смерть!
Пусть мир на письма ставит штемпеля!

Сергей СМИРНОВ

ОСИНА

Марку Шехтеру

Почему захаяли осину?
Ведь она же трепетна, стройна,
Ведь Иуду, сукиного сына,
На себе
 повесила она,

Ведь ее подносим к папиросе
Мы с веселым чубчиком огня,
Ведь осиною
 лакомятся лоси
И — аналогичная родня,

Ведь грибами в ярко-красных шляпах
Нас встречает именно она,

Ведь ее полынно-горький запах
Грибников доводит допьяна.

А возьмем года военной были:
Нам опять осина дорога, —
Из нее
 добротный кол забили
Мы в могилу нашего врага.

Пусть осина в песнях не воспета,
Но хранит достоинство свое.
Не пора ль,
 товарищи поэты,
Реабилитировать ее?!

ТРОПОЛЮБИЕ

Туманной тропкой выйдя на пригорок...

1940

Ты вспомнишь все тропинки полевые...

1942

По какой тропе искать нам счастья?..

1946

Я в одну все тропки свел...

1948

Мерцают жнивья той дорогой
У непротоптанной тропы...

1950

Николай Рыленков

Антология русской советской поэзии

Поэт, все новое воспой!
А он поет со страшной силою:
— Тропа,
 тропе,
 тропу,
 тропой...
«Куда ведешь, тропинка милая?»

ЗНАЙ НАШЕНСКИХ!

На Валерия Друзина

Весьма кипуч,
Зело общесоюзен, —
Трубит в статьях,
что он с народом... Друзин.

Павел ДРУЖИНИН

НОГИ

Ноги мои, ноги,
Ноги — мои кони,
Многие дороги
Вы размяли в комья.
Ноги, мои друзья,
Вы меня носили
Сквозь дожди и вьюги
По полям России.
Были вы когда-то,
Ноги, молодыми,
Топали в Карпатах
И в огне и в дыме.
Сколько вы мозолей,
Ноги, понабили,
Никакие боли
Вас не загубили;

Ни бугры, ни ямы
Вас не утомляли,
Шли вы прямо-прямо,
Вбок не ковыляли.
В молодую пору
Не страшны Егорке
Никакие горы,
Никакие горки.
А сейчас от лестниц,
Ноги, вы устали
И на ровном месте
Спотыкаться стали.
Вам теперь и клюшка
Помогает мало,
Вы и на пирушку
Побредете вяло...

Владимир ТУРКИН

СЕРЕГА

Какой волной в сельмаг целинный
Вот эту штуку занесло?
Мнут мужики футляр старинный,
Слегка похожий на весло.
На пальцах — синь татуировки.
Они корявы, но легки.
Шофер Серега жестом робким
Открыл футлярные замки.
Открыл...
Рукою не касается,
А только взглядом — им одним...
Не скрипка — спящая красавица
Лежит в молчанье перед ним.
А у него лицо усталое,
Но рот — улыбчив, взгляд — игрив.
Он, словно женщину за талию,
Берет ее за тонкий гриф.

Хохлуша-продащица клушею
К прилавку вскинулась в момент:
— Милейший! Вы ж ее задушите...
Це ж не лопата! Инструмент.

С какой-то трогательной жалостью
Ее слова слетели с губ.
А парень:
— Здравсте вам пожалуйста!
Что ж я, злодей иль душегуб?

Он на вихор фуражку сдвинул
И, взяв попку за бока,
Как вазу, внес ее в кабину
Груженого грузовика.
И пыль взметнулась облаками...

Нет, не во сне явился мне
Скрипач с шоферскими руками,
Кочующий по целине.
У стога выцветшего сена,
В тени палатки полевой,
С импровизированной сцены
Взлетала музыка его.

Как будто в травах невысоких,
Здесь, в тайниках земной коры,
Она, накапливая соки,
Еще таилась до поры.
Как он позвал ее, запомнил?
Откуда взял над нею власть?
Она, как влага в знойный полдень,
Была нужна...
И пролилась!
И те — пропахшие бензином, —
Где сто девчат,
Где сто парней,
От восхищенья рты разинув,
Купались в ней,
Плескались в ней.
Она ручьем звенела близким,
Вскипала морем вдалеке...

И только скатывались брызги
По чьей-то дрогнувшей щеке.

Она от бога иль от черта
Далась лихому скрипачу?..

А скрипка плакала о чем-то,
И тосковала безотчетно,
И хохотала, как девчонка,
Прижавшись к сильному плечу.

ТЕПЛОВОЗ

Спеша к перронам,
Беспокоясь,
Мы с вами — все до одного —
Считаем,
Что встречаем поезд.
Хотя встречаем не его.
Встречаем гостя из столицы,
Встречаем друга из станицы,
Встречаем мать, отца, сестрицу.
И в дом идем. И пьем вино.
И как там дальше поезд мчится?
Что с ним случится?
Все равно!

Он нам уже чужой.
На лето,
Иль на́ год,
Или навсегда.
Бегут, кочуют вдоль планеты
Отвергнутые поезда.

Пришел состав — усталый, жалкий,
У станционных встал дверей, —

Глядишь, дежурный поднял палку:
«А ну, отваливай скорей!»
И он летит в тайгу, к просёлкам,
В глухую степь без огонька,
Где, кажется, готовы волки
Вцепиться поезду в бока.
Летит, взрывая грудью воздух,
На запад или на восток,
И по ночам взывает к звездам
Его простуженный свисток.
Ах, тепловоз, ты возишь люлям
Тепло... Тепло вокзальных встреч
Но кто же будет,
Кто же будет
Тебя от холода беречь?
Мне так привычны, так знакомы
Вагоны, полки, синий свет,
Завешенный квадрат оконный
И мирно дремлющий сосед.
Я в сон лечу,
Во мрак лечу я,
Как в бездну падает звезда...
Я снова в поезде ночую.
Но где ночуют поезда?

ТАНК

Его из пепла воскресили.
И вновь готов к походу он.
Спят войны в полях России.
Из них никто не воскрешен.

Ему броню нашли потолще.
Он встал, затянутый в металл.
Спят войны в курганах Польши.
Из них никто еще не встал.

Глаза стволов его не дремлют,
А ищут, шарят вдоль границ.
Спят войны в немецких землях
С пустыми чашами глазниц.

И там, в сухих песках пустыни,
В лесах неведомых земель,
Лежит полковник Паганини
И пулеметчик Рафаэль.

Он растоптал их сны и песни.
И вновь нацелился вперед.
Пусть все убитое — воскреснет!
Все убивавшее — умрет!

МОИМИ ГЛАЗАМИ

Я гляжу —
И мне видна
Повсеместно кривизна:
Вон гора,
Вон склон отлогий,
У петляющей дороги
Искривленная сосна.
Вон и радуга — дугой,
Вон ветряк, смешной такой,
Как нахохленная птица...
А исправь — и не разжиться
В этой мельнице мукой.

Все отмечено кривым:
Реки,

Горы,
Села,
Дым,
Даже зеркало кривое,
А исправь — и все земное
Станет скучным и дурным.

Ничего, что берег крив,
Мы кривых не тронем ив,
Мы прямить не станем птицу...
Человек же распрямится,
Станет молод и красив.

Перевод с еврейского Василия Федорова

МОЯ ТИПОГРАФИЯ

Не ради шутки в общем разговоре,
Не для того, чтоб удивить семью,
Хотел бы я на побережье моря
Поставить типографию свою.

И, стоя в ней естественно и просто,
Имея лишь духовный интерес,
Я для набора брал бы только звезды —
Светящиеся литеры небес.

Пусть эта книга пахнет не бумагой,
Не клейстером невзрачной мастерской,
А только влагой, только синей влагой,
Одною только влагою морской.

И вовсе нету никакой оплошки,
Нет ничего от праздных небылиц
В том, что струится лунная дорожка
Посередине всех моих страниц.

Обрадованный этакой манерой,
Не убоюсь недюжинных работ,
Из валунов — подобно Гулливеру —
Я сделал бы для книги переплет.

Все соверша, измазавшись как дети,
Я сел бы там, доволен и устал...
И шумный ветер нашего столетья
Мою бы книгу запросто листал.

Перевод с еврейского Ярослава Смелякова



Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

РОССИЯ

Я — русский.
Я из той породы,
Чья кровь смешалась с небом и травой.
Чьи прадеды в зеленый храм природы
Входили с непокрытой головой.
И били молча низкие поклоны
Клочку земли — в страду и в недород.
И Русь для них всегда была соленой,
Как слезы жен или над бровью пот.

Все помнит Русь —
И звоны стрел каленых,
И отсветы пожаров на снегу...
Мы входим в мир,
Уже в нее влюбленные,
Уйдем — оставшись перед ней в долгу.

— Россия, о!
Какие там пространства! —
Пусть так о ней кричат за рубежом.
Для нас Россия — это постоянство
В любви и гневе,
В малом и в большом.
Я гимн могу сложить простой осине.
И будет чист и искренен мой стих.
Но, думая о матушке России,
Я думаю о земляках своих.
О земляках не только по прописке,
О земляках, родных мне по земле.
По той земле, где встали обелиски
Чуть ли не в каждом маленьком селе.
О земляках, с которыми сроднила
Россия нас — простая, как мечта, —
И чьей любовью, мужеством и силой
Она, как знамя, к звездам поднята!

Спартак КУЛИКОВ

ВРЕМЯ

Людское зрячее начало
идет
от звезд и роста трав.
Так наше сердце зазвучало,
в себя
их вечный ритм
вобрав.
Но
время шло и не старалось
понять
озера и леса.
Его
бунтующая ярость
несла
железо в голоса!
И солнце
меркло
не в петле ли
за жажду
неба
над землей.
И в холод гимнастерки
тлели,
окоп дымился
серой мглой.

И Русь брела, огнем клеймёна,
в цепях,
в бессоннице от ран;
рвала зарницы на знамена,
забыв
про голод и бурьян!
Эпоха
вытирала плетки
о лен
и о цветы лугов.
И кляпом затыкались глотки
и блеском
северных снегов!
Ты,
время,
лжешь!
Мир в силах выжить.
Не зря с ним —
эхо
и гроза!
Безумью
никогда не выжечь
у ветра
синие глаза!

ЖИЗНЬ ЖИВЫХ

Мы знаем, что такое военное поколение поэтов и кто такие представители этого поколения. Мы знаем, какой жестокой и трагичной была их юность, что опалило их душу и что принесли они в русскую поэзию. Мы порой только не знаем, — а что они такое сейчас?

Книжка Григория Поженяна «Жизнь живых» вся и написана об этом. Она написана человеком, юность которого прошла на войне, чья душа мужала на войне. Но эту книжку написал и человек, проживший большую и непростую жизнь после войны, радовавшийся и страдавший вместе со своими сверстниками, глубоко и страстно думающий о том, что происходит сегодня и что предстоит нам завтра.

Трудные, сложные, счастливые, горькие годы. А поэт все о них, все об этом, все о своих сверстниках, стоявших рядом с ним все эти годы, о тех, кто вместе с ним до сих пор, и о тех, кто ушел, отстал, пропал, сгинул в пути... А война? Неужто она совсем ушла из стихов поэта («Утро юности, где ты?»), а может быть, война стала только поэтической реминисценцией?

Но теперь — это страстное желание разобраться и *понять*: «Но славу мертвых и жизнь живых врагами как сделаю я?» И прежде всего это круг «тем», выбранных навсегда: «Мы, как нитки в тельняшке, в нашу жизнь вплетены».

Слова эти не декларация, не поза. И все равно сказать их — проще, а «вплестись» в жизнь — труднее: жизнь не тельняшка, ее не снимешь, не наденешь.

Не так просто перестать верить в «снежность февральскую», увидеть в феврале «подобревшее солнце», реки, травы и птиц в пути. Это не так просто, но страшно важно, — это первый шаг в жизни. Она не прожита — только горечь утрат, она впереди («Ведь брови-то не сломлены и ружья на весу. Ведь белки все не словлены в нетоптаном лесу...»). И тогда еще один шаг до, может быть, излишне красивых, но таких искренних, таких молодых строк: «Я знать не хочу, что у моря есть дно, что стынет заря и что киснет вино...»

Что ж, скажут поэту, не хочешь знать — не знай, — а дно у моря все равно есть, заря непременно остывает, а вино прокисает; мы можем поверить в твою искренность, но она нас не убеждает... И все-таки стихотворение, подводящее итог этому «второму рождению» человека, снова вступающего в жизнь, ничего в ней не забывшего, но ни от чего не отказавшегося, — одно из самых сильных в книжке: «Что поздних радостей печаль и с крутизною спуск опасный, когда осенний полдень ясный меня опять уводит вдаль. Что голых сучьев чернота и крик вороньими ночами, когда к утру над кедрачами опять взметнется высота...»

Герой книжки Поженяна и вправду вплетен в жизнь, «как в тельняшку»: «выбор сделан: до последних дней — на ближний бой — и только». Поэтому стихи порой «клокочут», в них возмущение и горечь («Не стригите деревья. К чему это надо?»), недоумение и стыд («А ведь были же весны с песней», «Взвейтесь кострами...»); в них любовь и нежность к друзьям («Если был бы я богатым, сапоги купил бы Юрке, сапоги купил Тимуру, сапоги купил Игнату...»), чувство тревоги и ответственности за судьбу детей («Пусть он, сын мой, не узнает цвет

четвертый, цвет особый. Там его я пролил в травы, не мечтая о богатстве»).

Поэт «прорвался к океану», нашел свое место в жизни и в борьбе за нее.

В небольшой книжке Поженяна собрано всего три десятка стихотворений и небольшая поэма, давшая название всему сборнику. Но это итог трудных лет, история души возмужавшей и прозревшей, нашедшей себя, — ты нужный людям, выразивший в отличных стихах что-то очень важное сегодня для нас. Это взволнованная, страстная повесть о послевоенной жизни «военного поколения» — несдавшегося, не сложившего оружия, борющегося — живого.

Вероника ТУШНОВА

СТО ЧАСОВ СЧАСТЬЯ

Сто часов счастья...
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неумоимо,
по крупнице, по искре,
по капле, по блестянке,
создавала его из тумана и дыма.
принимала в подарок
от каждой звезды
и березки...
Сколько дней проводила
за счастьем в погоне
на продрогшем перроне,
в гремящем вагоне,
в час отлета его настигала
на аэродроме,
обнимала его, согревала

в нетопленном доме.
Ворожила над ним, колдовала,
случалось, бывало,
что из горького горя
я счастье свое добывала.
Это зря говорится,
что надо счастливым родиться,
надо только, чтоб сердце
не стыдилось над счастьем трудиться,
чтобы не было сердце
лениво, спесиво,
чтоб за малую малость
оно говорило: «спасибо!»
Сто часов счастья,
чистейшего, без обмана...
Сто часов счастья!
Разве этого мало?

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ТОБОЙ

Помнишь, помнишь? —
смуглый, спелый шиповник,
орешник в ржавых накрапах,
осени острый запах,
лощина у перевала,
мрак, от солнца рябой,
золотое... синее... алое...
Первая встреча с тобой.
Помнишь? — вечер апрельский,
ветер промозглый, резкий,
ты — с пасмурными глазами

в грязном вокзальном зале.
ты говоришь:
— Прощайте! —
А я говорю:
— Постой! —
Счастье... счастье...
Первая встреча с тобой.
А еще — сугробы февральские,
бора чертоги райские,
ни голоса, ни движения,
тишина до головокружения,

только медленный шепот снега,
опускающегося с неба...
На сто верст — пуховые чащи.
За звериной тропой —
лыжный след уходящий...
Первая встреча с тобой.
А еще — подмосковные рощи,
на плетнях пересуды сорочки,
а еще — переулки узкие,
в серой дымке дома нерусские,
а еще — звезда на рассвете,
лес вплотную за городьбой...
Всегда и повсюду
до самой смерти —
первая встреча с тобой!

* * *

Всех его сил проверка,
сердца его проверка,
чести его проверка, —
жестока, гяжка, трудна,
у каждого человека
бывает своя война.
С болезнью, с душевной болью,
с наотмашь бьющей судьбой,
с предавшей его любовью
вступает он в смертный бой.
Беды, как танки, ломаются,
обиды рубят плеча,
идут в атаки бессонницы,
ночи его топча.
Золой глаза запорошены,
не видит он ничего,
а люди: «Ну что хорошего?» —
спрашивают у него.

А люди — добрые, умные,
господи им прости,
спрашивают, как думает
лето он провести?
Ах, лето мое, нескончаемое,
липки худенькие мои,
городские мои, отчаянные,
безрадостные соловьи...
Безрадостных дней кружение,
предгрозовая тишина.
На осадное положение
душа переведена.
Только б, в сотый раз умирая,
задыхаясь в блокадном кольце,
не забыть —
Девятое мая
бывает где-то в конце.

* * *

Гонит ветер
туч лохматых клочья,
снова наступили холода.
И опять мы
расстаемся молча,
так, как растаются
навсегда.
Ты стоишь и не глядишь вдогонку.
Я перехожу через мосток...
Ты жесток
жестокостью ребенка,

от непонимания жесток.
Может, на день,
может, на год целый
эта боль мне жизнь укоротит.
Если б знал ты подлинную цену
всех твоих молчаний и обид!
Ты бы позабыл про все другое,
ты схватил бы на руки меня,
поднял бы
и вынес бы из горя,
как людей выносят из огня.

● ● ●

Владимир БРИТАНИШСКИЙ

* * *

Урал, Урал — железный стержень
И стрежень жизненной реки!
Ты под землей уже прослежен
Куда-то в южные пески.

А если путь твой потеряем,
Его домыслить мы рискнем:
С таким же самым постираньем
Протянем ось
На дне морском!

Для бесхребетных
Ты — хребет,
Для бесхарактерных —
Характер!
Ты фактор выпрямленья рек,
И наших судеб
Ты — соавтор!

Да будет путь мой столь же прям,
Чтобы, дойдя до края жизни,
Он продолжался бы и там,
В полупространстве этом нижнем!

В бессмертье верили отцы.
Оно мне мыслится реально:
Как продолжение оси
Для погребенного Урала.

Когда потянет нас на компромисс,
Захочется склониться к перемирию,
Как просто — будто реку перекрыть! —
Все будничное прекратить
Сибирью.

Так просто —
Будто руку протянуть

Через Урал
И той воды напиться.
И снова повторить свой первый путь
(Теперь уже не нужно торопиться!..)

Не сомневался.
Жребий не кидал.
Не проявил ни капли безрассудства.
Я знал:
В Сибирь,
Как реки в океан,
Все обстоятельства мои стекутся.

Я карту толковал.
Я колдовал
Над западносибирской котловиной.
Я трактовал ее как котлован
Строительства.
Котел неутолимый,
Реактор страсти сверстников моих
Все наконец устроить так, как надо...
Едва из-под опеки деканата.
Уже авторитеты отменив...

О молодость!
Когда, на склоне лет,
На землю ты меня с орбиты спустишь,
Пусть скрасит старость,
Облегчит мне участь,
Пусть просветлит меня
Сибири след.

И если я куда-то соскользну
В кафе московских,
На курортах крымских,
Я за Сибирь схвачусь, как за скалу, —
И снова удержусь от компромиссов.

* * *

Я в отпуске.
Я гость.
Я эгоист.
За стол присядем —
Будто я в президиуме.
Мне мать старается обедом угодить.

Отец и брат ко мне предупредительны.
И ломтиками режут мне лимон,
И коньяку пододвигают рюмку —
Я чокаюсь, протягивая руку.

Но я уже отрезанный ломоть.

Моисей ТЕЙФ

ЛЕНОЧКА

Тут прибежала пионерка Лена,
Вся смуглая, как полотно Гогена,
С громадными глазами — до висков.
И, как луна над голубым селеньем,
Она склонялась с детским изумленьем
Над ворохом моих черновиков.
Мое перо как следует плясало
И голубые буквы писало,
Отображая мыслей поворот.
О, это было очень странно, право. —
Ведь я пишу не слева и направо,
Ведь я пишу совсем наоборот.

И девочка — глаза как две пироги —
Стояла долго на моем пороге
И думала, что я сошел с ума.
Ведь там, где у меня стояла точка,
У них в диктантах начиналась строчка —
И так велит грамматика сама. . .
А перышко отчаянно плясало
И голубым по белому писало,
Отображая мыслей поворот.
Как мог ребенку объяснить я в целом,
Что у меня на этом свете белом
Уж все давным-давно наоборот. . .

Перевод с еврейского Юнны Мориц

* * *

Короткий стих! Короткий стих!
Кристалловидная порода!
Да здравствует твой дерзкий стиль,
Твой вкус изысканный, природа.
Чтоб позвоночник — хрящ к хрящу,
Чтоб к зубу зуб — как жемчуг в нити,
Чтобы слова, что я ищу, —
Как плиты в древней пирамиде.

Стихи мои — мой гордый флот,
Мои победы и крушенья,
Моей любви душистый плод,
И дня, и ночи искушенья!
С какой я радостью грублю
Тем бурям, что играют нами,
И мачты лишние рублю,
Чтоб возноситься над волнами.

Перевод с еврейского Юнны Мориц

Анатолий ЖИГУЛИН

ИСТОКИ

Однажды вдруг мне слов не хватит.
Я отложу тогда стихи.
На свой рудник приду опять я,
Надену робу, сапоги.

В конторе торопливым росчерком
«За безопасность» распишусь.
На самый дальний блок забойщиком
У бригадира попрошусь.

По штрекам узким, невысоким,
Где гулки отзвуки шагов,

Я поспешу в забой — к истокам
Моих тревог, моих стихов.

Там, где кончаются крепления,
Проверю стуком потолок.
Поправлю шланги и с волнением
Возьму отбойный молоток.

Забьется сердце в нем железное.
Пристынут пальцы к рычагам.
И глыбы подлинной поэзии,
Шурша, падут к моим ногам.

Иван ШАМОВ

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

Не в Италии, не в Греции
Этот дивный старичок.
И в России есть Венеция —
Город Вышний Волочек.

Окружен родными нивами,
Синей чащей лесной,
Полноводными разливами
И зеркальной речкой Цной.

Есть каналы здесь старинные,
И лагуны, и мосты,
И предания былинные
Можешь здесь услышать ты.

Но не древними каналами
Вышний Волок знаменит.
Мастерами небывалыми
Он на всю страну гремит.

В нашем городе Гаганова
За собой подруг ведет.
В нашем городе Гагарину
Смена верная растет.

Для Кремля рубины яркие
Отливал наш «Красный май».
Заводской гордится маркою
Пролетарский старый край.

У ткачей и у прядильщиков
Ныне спорятся дела.
Труд кипит у лесопильщиков,
У художников стекла.

Не соборами плечистыми
Славен город наш родной, —
Мастерами, коммунистами,
Русской хваткой трудовой.

Егор ПОЛЯНСКИЙ

* * *

В целинно-металлическом вагоне
Под крик переселенцев-петухов
Я засыпал на войлочной попоне
И не писал за модою в погоне
Целинно-мегаллических стихов.

А рядом, в головах сложив котомки,
По-свойски задавали храпака
Простые, бескорыстные потомки
Прославленного в песнях Ермака.

Их ждали вьюги и с бураном схватки,
Их ждали тучи, хмуры и черны,
Но плыли в степь

Крылатые палатки,
Как храброго Хабарова челны.

Еще до Кулунды наш путь неблизок,
Еще вагон — наш постоянный дом:
Мы скусываем головы редисок,
Мы щи хлебаем из железных мисок,
О космосе и речи не ведем.

Еще мы едем. Невдомек ребятам,
Что буйная пшеница целины
Раскинется с восхода до заката,
И в герб колосья будут вплетены,
И в космос улетят голубоватый
Усами щекотать щеку Луны...

• • •

Роман СОЛНЦЕВ

* * *

К. Симонову

Баракы леспромхоза. Для рабочих.
Здесь вечерами пьют одеколон,
Поет про вечно ласковые очи
Беззубый старенький аккордеон.
Здесь домино стреляет пистолетом,
На сковородке жарится карась...
Меня просили написать об этом,
Но добавляли: «Ты не приукрась».
Что приукрашивать? Улыбки ваши?
Помадой, что ли, губы подвести?
Писать, что здесь у вас с цветами вазы?
Про вас солгать —

себя же подвести.

Звенит пила надрывно, разозленно,
Опилки пахнут медом и весной.
И валится столетний кедр зеленый,
И молча вздрагивает шар земной!
А люди здесь грубее древесины,
Здесь люди бантов девичьих нежней,
Они, такие, матушке России
Непьющих прихлебал куда нужней!
Здесь будет город — сущее сказанье,
Да, будет, но пока сюда идет
Газета с пятидневным опозданием...

А люди видят на пять лет вперед.

Василий КАЗАНЦЕВ

* * *

Не открыл еще глаза я,
Не стяхнул дремоту с век.
Но всем телом осязаю
На себе какой-то свет.
Может, это луна
В комнату нагринула?
Может, солнцем полна
Комната багряная?
Не луна, не солнце, нет —
Это в окна смотрит снег.

Одеяло долой —
Вылетаю стрелой.
Я боюсь топтать ногою,
Я рукою трогаю
Что-то юное, нагое,
Чистое, строгое.
И не знаю сам, куда
Иду, насквозь просвеченный,
Молодой как никогда,
Как никогда застенчивый.

● ● ●

АЛЕКСАНДР ГАТОВ

В рукописном отделе Библиотеки имени Ленина хранятся записи В. Г. Короленко, свидетельствующие о пристальном внимании замечательного русского писателя к первым стихотворным опытам Александра Гатова, появившимся в печати.

Творческая и общественная биография А. В. Гатова — одного из советских поэтов старшего поколения — писалась в горниле революционных боев. Уже ранние его работы свидетельствуют, что Гатов — «лирик по складу своей души, по самой строчечной сути».

И жалко мне озябшего галчонка,
Упавшего из теплого гнезда.

Любопытно, что стихи эти, датированные девятнадцатым годом, появились одновременно с подражательными строчками декадентского толка, где фигурировали «лунно-белая эмаль», «перламутр и жемчуга». Стоило, однако, в сознание молодого поэта ворваться революционной стихии, как от «пеннорожденных стихов», поющих «о страсти и страданье», не осталось и следа. Как по мановению волшебной палочки, исчезли выпренность, увлечение экзотикой, кабинетный холодок псевдоклассицизма, все эти — «струящееся пышное руно» и «закат лимонно-рядный». Стоит обратиться хотя бы к «Деникинской ночи», написанной экспрессивно, резко, почти аскетически сухими словами:

...Петушым гребнем утро заалело —
И жизнь опять.
Сто сорок пять станков осиротело,
Сто сорок пять.
Но пусть конвой ведет рабочих пленных
Туда, в овраг, —
«Вся власть Советам!» — охрюю на стенах,
И будет так!

В сердце, раскаленном событиями грозowych дней, родились стихи о новом времени, о легендарных боях за Перекоп, «Сказ о Ильиче», где Ал. Гатов одним из первых и по-своему заявил:

И громбвей колесниц Ильи
Прозвучало слово Ильичево.

Немало строк молодой поэт посвятил навсегда уходящему прошлому.

Гражданские мотивы в лирике Гатова с каждым годом стали звучать все отчетливей. К слову сказать: мало кому, вероятно, известно, что сравнение наших братских республик с сестрами принадлежит именно Александру Гатову.

Нелегко оторваться от старых привязанностей, не сразу пришел и автор книги «Есть милая страна» к поэтическому осмыслению нового.

Гатов многое повидал на своем веку, путешествия — его страсть. Не переставая думать о родной земле, он побывал во Франции, влюбился в ее поэтов, которых отлично переводил, особенно Эжена Потье, знакомству с которым русские читатели обязаны Александру Гатову.

Его парижский цикл — человечен и проникновенен, чем выгодно отличается от туристских набросков иных поэтов. Он превосходно познал и ощутил дух Франции, живущий не в мелких рантье, а в рабочем классе.

Возвышенны и зримы стихи Гатова об Армении, особенно строки, посвященные Мартиросу Сарьяну. Тонкое понимание творчества этого блистательного мастера кисти не случайно: в юные годы и сам поэт был привержен живописи. А в стихах «Николаю Тихонову», запечатлевших поездку в горы Армении, совершенно пронзительны строки:

И я проведу, пришвартован,
В мешке вертикальную ночь.

Умение быть немногословным, стремление к афористичности — принадлежит отнюдь не к второстепенным достоинствам лирики Гатова.

Прокрустово ложе беглых заметок не позволяет упомянуть многое, однако я не могу отказать себе в удовольствии привести одну из миниатюр поэта, полную значительности и обаяния:

Суровой не найти судью,
Чем человеческая совесть!
Недоброе свершить готовясь,
Я гневный голос узнаю...
Ничем не задушить его —
В нем боль, и горечь, и тревога.
Не говорю я: бойся бога,
Но бойся сердца своего.

Судьбы поэтов различны. Одни вспыхивают, как фейерверк, и столь же быстро и внезапно исчезают из поля зрения. Иные долго не загораются, но, однажды вспыхнув, светят долгим и чистым светом.

Яков ХЕЛЕМСКИЙ

* * *

Двое на скамеечке целуются,
Сидя под платанами Килиши,
Словно здесь пустыня, а не улица,
Словно нет в Париже ни души.
Молча губы поджигает ханжество,
Сплетня замирает, онемев.
А влюбленным и взаправду кажется,
Что они

одни

в тени дерев.

Рядом — голоса, машин кружение,
Летний день,

июля резкий свет...

Им никто не делает внушения,
Никому до них и дела нет.

Никому обидеть их не хочется.

Им Париж —

не враг и не судья.

Охраняя это одиночество,
Все проходят, взгляды отводя.

Я, примеру мудрому последовав,
Мимо прохожу, почти бегу,
Тоже не гляжу — и в силу этого
Описать влюбленных не смогу.
Не запомнил возраста и внешности,
Схвачены лишь общие черты.
Но осталось ощущение нежности
И неоспоримой чистоты, —
Той, что охраняет от нотации,
Глупой шулки, злого шепотка.
Все понятно —

негде целоваться им,

Общей крыши нет у них пока.

Ну, могли бы потерпеть до вечера,

Спрятаться над Сеною в туман.

Но они, счастливые, доверчивы,

Верят в деликатность парижан,

Знающих, где чувство настоящее,

Где торги и площадная муть.

И глаза отводят проходящие,
Чтобы двух влюбленных не спугнуть.
Пусть они воркуют и целуются,
Сидя под платанами Клиши,
Словно здесь пустыня, а не улица,
Словно нет на свете ни души.

Здесь, идя по городу огромному,
Ты не прекословь и не злословь,
Повстречав такую же бездомную,
Но зато бездомную любовь.

Париж

* * *

Да, мы видели нравы дикарские,
Но не в хижинах, не в бидонвиле.

Пили пиво французы дакарские,
«Капораль» золотистый курили.
Парижанка, по моде подстрижена,
Раздевалась на круглой эстрадке,
Извивалась, худая и рыжая,
Свой нейлон разбросав в беспорядке.
А глаза ее были тревожными,
Напряженными, полными муки.
Как на стуже, гусиною кожей
Покрывались безвольные руки.

Саксофоны стенали и охали,
Пахло пудрой и смятой постелью.
От густой духоты и от похоти
Европейцы обильно потели.

И, вращаясь, как будто над пропастью,
Над сидящими в стонущем зале,
Вентилятора длинные лопасти
Влажный воздух по кругу гоняли.

Все бесстыдней звучал, все отчаянней
В этом замкнутом дымном пространстве
Вой трубы, словно клич одичания
Над похабной конвульсией танца.
Полыхали помпоны матросские,
Взмokли лысины в полной запарке.
Джаз на улицу похоть выплескивал
Через полог из ленточек ярких.
Из-под пестрой неоновой вывески
Этот смрадный поток низвергался.

Стороной, не скрывая брезгливости,
Обходили его сенегалцы.

Дакар

* * *

Смуглый парень, худющий, с глазами
навыкате,
Оседлал мотороллер и ключ повернул.
Задышал, завибрировал маленький двигатель,
На брусчатку обрушив прерывистый гул.

Длинноножка-блондинка по знаку водителя
Обняла его сзади, прижалась тесней.
И помчались они — голько мы их и видели —
Мимо статуй, остерий и пестрых огней.

Все исчезло — водителя плечи склоненные,
Устремленные в уличный водоворот,
Серых девичьих глаз уголки подведенные
И лиловой помадой очерченный рот.

Ни балкона в плюще, ни веревочной лестницы.
Грохот выхлопов действенной всех серенад.
Мотороллер хорош для свиданий
с ровесницей —
Заводная игрушка подростков ребят.

Так, по-ихнему, праздничней и современнее,
Так занятней, чем уединиться в саду.
Что влечет их? Бездумная скорость движения
Иль возможность обняться у всех на виду?

Что тревожит, что радует их, неприкаянных?
Что их ждет? Под мерцающей вывеской бар?
Или рев радиолы на пыльной окраине
В душном зале, где топчутся несколько пар?

А быть может, им попросту вырваться хочется
Из трущоб, из беды, из такой тесноты,
Что полет через Рим — это верх одиночества,
А танцуйка — почти исполненье мечты.

Что таят они? Опустошение полное
Или чувств неизбытых еще полноту?
Мотороллер пронесся по Корсо как молния
И разгадку от нас утаил на лету.

Я гляжу им вослед, на неведение сетую.
В их глазах ничего не успел я прочесть.
Может, что-то в них есть совершенно отпетое,
Может, что-то еще не воспетое есть?

Рим

* * *

Без грудных взлетов и падений
Немудрено свой путь пройти,
Отшучиваясь: — Я ж не гений.
Таких, как я, хоть пруд пруди.

Ни похвалы, ни нареканий
Не знать ни ранее, ни впредь.
Не знать бессонницы исканий,
Но и взысканий не иметь.

Для всех стараться быть хорошим
И так брести по жизни всей
Без недругов, но, между прочим,
И без испытанных друзей.

Считать, что от любых ошибок
Ты убережешь себя сумел
Средь равнодушнейших улыбок,
Обычных слов, привычных дел.

Жить не тревожась, не тревожа,
Не спотыкаясь на пути.
Посмотришь в зеркало — и что же?
Ну просто ангел во плоти.

Но рядом — в синяках и шрамах,
Усталый, ищущий, живой,

Один из множества упрямых,
Шагает одногодок твой.

Он, о себе не беспокоясь,
Берет преграды что ни шаг.
Его стихия — риск и поиск,
А не протоптанный большак.

И он привык, штурмуя кручи,
На неудачи не пенять.
Тем, кто всегда благополучен,
Его вовеки не понять.

Да, оступался он, бывало,
Держал за промахи ответ.
Но это все перекрывало
Достоинство его побед.

Сквозь ад пройдя, сквозь рай проехав,
Он истину усвоить смог,
Что нет успехов без огрехов
И нет открытий без тревог.

И если смелость есть мерило
Неоспоримой новизны,
То ангелы порой бескрылы,
А грешники окрылены.

* * *

Декабрь — по-белорусски снежань.
Какая точность в слове том.
В нем каждый звук пушист и нежен,
И свеж, и светел, и весом.

Оно осыпано порошей,
В нем — свист полозьев, блеск чудес,
Оно напоминает лес,
Мерцаньем инея поросший.

А украинское ко х а н н я
Благоуханно, горячо,
Как милой чистое дыханье,
Согревшее твое плечо.
К о х а н н я лишь на слог длиннее,
Чем емкое любовь... А вот
Живет. замены не имея, —
Немыслим точный перевод.

О, непокорность близких слов,
Родившихся в соседних чашах,
При общности своих основ

Самостоятельно звучащих!
Из них любое — мир особый,
Особый дух, особый склад.
В переложении попробуй
Сберечь их вкус и аромат!
Родство сплетенных языков
И неизбежное различье...
В корнях —
биенье родников.
В листве —
многоголосье птичьё.

Анатолий ГУНИН

* * *

Стихи на штуки не считают
Да и на вес не продают,
Их измерять предпочитают
Тем, что они душе дают.

И если я единовецца
В поэте праведном нашел,

То, значит, стих его сквозь сердце
Стрелой каленою прошел.

Пускай она оставит рану,
Я не пожалуюсь врачу.
Я, может, лучше с нею стану,
Я этой раны сам хочу!

Лев КОНДЫРЕВ

СОЛЬ ЗЕМЛИ

Качнулась клеть над скрытой бездной,
Потом стремглав рванулась вниз.
Лишь скрежет ржавчины железной
В суровых сумерках повис.
Толчок... И пол плывет, как льдина
В пещерах каменной реки.
Пещера мага Аладина
В сравненье с ними пустяки.
Гигантских улиц анфилады
Легли торжественно вдали.
На страже их стоит прохлада,
Оберегая соль земли.
От свечки, словно микробомбы,
Взрываясь вспышками в углу,
Кристаллов голубые ромбы
Насквозь пронизывают мглу.

Штрихуют тени монотонно
Колони ростральных длинный ряд.
Колонны эти многотонны,
Но как бы в воздухе парят.
Вверху над ними своды хмуρο
В единый фокус сведены.
Они такой архитектуры,
Что нет на свете ей цены.
Века веков, эпохи, эры
Легли здесь пылью площадей,
Нам завещав труда примеры
Соленых жилистых людей.
Тех работяг, что в долах отчих,
Прожив всю жизнь в одном селе,
Шли по путям великих зодчих
Во имя счастья на земле.

Николай ФОМИЧЕВ

ОЧЕВИДЕЦ

Сам с собой
Возбужденно толкую —
Без пера и бумаги пишу.
Зябну я,
Но любую строку я
В жарком сердце
Подолгу ношу.

Всё в стихи
Я хочу переплавить:
Пытки ночью,
Расстрел поутру...

Пусть топорно!
Успею поправить,
Если в лагере сам не умру.

Верю:
Стих мой,
Со временем споря,
Из неволи
Вернется домой —
Очевидец великого горя,
Преступлений свидетель живой.

*Поселок Горбеде,
1942*

СТРАШНАЯ НОЧЬ

Расширяется
Глаза бессонный зрачок.
Страх и тьма,
Будто солнце
Навек закатилось...

На меня,
Как на бабочку
Черный сачок,
Непроглядная,
Жуткая ночь
Опустилась.

Всё зловеще вокруг,
Если очень темно
И сосед-доходяга
Уснул
Беспробудно.

То ли свет
Мутноватый
Струится в окно,
То ль вода
Устремилась
В пробойну судна...

Липкий ветер зимы
В щели стен
Засвистел,
Без суда заключенным
На горе...

С нар уходит в эфир
Частый звук челюстей,
Как тревожный сигнал
Погибающих в море.

Бесконечная ночь...
А вблизи и вдали
Силуэтные контуры
Тысяч бараков —

Кверху дном
Перевернутые
Корабли...
В океанских глубинах
Безбрежного мрака...

*Полицейский карцер
в г. Кассель, 1942*

Семен ЛИПКИН

БОГОРОДИЦА

1

Еще их, бесправных, не предали,
От счастья балдея с утра,
Еще даже имени не дали
Ребенку того столяра,
Душа еще реяла где-то
Умершего сына земли,
Когда за слободкою в гетто
И мать, и дитя увели.

2

Глазами недвижимыми нелюди
Смотрели на тысячи лиц.
Недвижны глаза и у челяди —
Единое племя убийц.
Свежа еще мужа могила
И гибель стоит за углом,
А мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

3

Земное осело, отсеялось,
Но были земные дела.
Уже ни на что не надеялась,

А все же чего-то ждала.
Ждала, чтобы вырос он, милый,
Пошел бы, сначала ползком,
И мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

4

И яму их вырыть заставили
И лечь в этом глиняном рву,
И нелюди дула направили
В дитя, в молодую вдову.
Мертвящая, черная сила
Уже ликовала кругом,
А мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

5

Иконой не сделалась явленной,
На глиняный падая прах,
И мальчик упал окровавленный
С ее молоком на губах.
Еще не нуждаясь в спасенье,
Солдаты в казарму пошли.
Вот так началось воскресенье
Людей, и любви, и земли.

Григорий ЛЮШНИН

ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ

Родные милые в России,
Услышав мой последний стон,
Прошу, чтоб вы не голосили
И не справляли похорон.

Мне все равно на свет не выйти,
Хоть на земле и много дел.
А вы березу посадите
Под тем окном, где я сидел.

Она протянет корни, зная,
Что я ей сердце передам.
Потом ее листвою в мае
Я улыбаться буду вам.

«ОФИЦЕР СВЯЗИ»

Мне давно хотелось сказать добрые слова об этом сборнике оригинальных стихов Якова Козловского, вышедшем еще в прошлом году. Сейчас это нужно сделать тем более, что о нем не появилось ни одной рецензии. Так, увы, у нас бывает: то — зона шума, то — зона тишины. К Якову Козловскому привыкли как к талантливому переводчику. А тут свои вполне самостоятельные стихи. Автор пишет:

Талант «от бога», люди говорят,
Подоблачного он происхождения.
Отзывчивое сердце, как талант,
Не каждому дается от рожденья.

Дефицит в отзывчивых сердцах наблюдается, конечно, и у критиков.

Что хорошего в этой книге?

Мне дорог ее гражданский пафос, ее ум и искренность. В стихах Козловского — темы и образы именно его жизни — то есть то, что отличает поэта от поэта. Встречаются афористичные строки, такие, например, как:

Людская память,
ты не речка,
Не море зыбкого песка,
Не дым костровый,
а насечка
На остром лезвии клинка.

Или:

Слово рождено, чтоб быть услышанным.
И в пустынях, и у синих рек.
Не высокопарным, а возвышенным
Было слово, двигавшее век.

И мне любо, что здесь нет высокопарных слов, от которых все устали, напыщенности, идущей от жеста, от позы. Есть слова простые, живые, идущие от сердца, от той «человечности», которая слышится поэту в словах «душа, чело и вечность». И недаром, конечно, им написано:

Года, столетья, вечность...
Сквозь эту млечность лет
Я вижу твой, сердечность,
Неразличимый след.

Обращу внимание читателей и на такие стихи, как «Офицер связи», «Не позабыть тот край приморский», «Горноспасательная служба», «Детство», «Разговор на Люсиновской улице», «Галерка», «Ольга», «Темные надев очки», «Поверьте, юноши, поверьте», «Время камень превратило в пыль», «Веточка зеленая», «Возьмите в дорогу», «Мы к стихам товарища привыкли». Многие из них полемически заострены: против малодушных, бескрылых, пошлых... В последнем из упомянутых поэт резко отзывается о стихах, которые звучат бессмыслицей, которые чужды «естественности речи, музыки ее и божества», которые способны порой захватить дух, но никогда не трогают души.

Книга Якова Козловского «Офицер связи» совсем другого качества. Она трогает и волнует душу.

Александр ЯШИН

О СВОЕЙ СВЯТЫНЕ

Больше не могу,
Надо бежать
В северную тайгу,
В зеленую благодать,
Просто чтобы дышать.

Встану чуть свет,
Выйду на холодок —
А тут ничего нет:
Ни нор,
Ни берлог,
Ни родничка у ног, —
Хоть бы какой след!

Но стоит замереть —
Слышу:
 шуршит листва.
Слышу:
 сопит медведь,
Взлетают тетерева.

Убран урожай,
В воздухе инея звон.
Слышу собачий лай
С трех,
 с четырех сторон:
Начался гон.

Вся душа дрожит,
Больше не могу:
Вот он, косой, бежит,
Вот лиса на лугу.
Бей на бегу!

Никак не пойму,
Что меня держит здесь:
Нужен кому?
Дело какое есть?

Может, в родном краю
Давно иная жизнь:
И птицы не поют,
И звери перевелись,

И люди не те,
И поля,
И красота не та...
Но это моя земля,
Моя маета
И мечта,
Мои святые места.

Святыне не изменю —
Серенькая, да своя,
Души не предаю огню:
Верующий я!

МИР — ИЗ ОГНЯ

О. З.

Ночь надвигается, словно старость.
А я не засну!
Сколько женщин в жизни встречалось —
Вижу только одну.

Встретил ее —
И с этого дня
Верю, что мир возник из огня:
Заново — твердь,
Заново — свет...
Ныне на всей земле для меня
Женщин других нет.

Все — от нее,
По ее веленью,
Счастье и маета.

Может, прорежется новое зренье?
Может, как высшее просветленье
И на меня снизойдет слепота?

Как обо всем об этом сказать?
Что ни скажу — солгу.
Страшно смотреть мне в ее глаза,
И не смотреть не могу.

В море тонул я,
В пустыне рыжей
Околевал не раз,
Падал под пулями —
Выдюжил,
Выжил!
Выживу ли сейчас?

ДВА БРАТА

Паренек — пришла пора — влюбился
И, хоть был и мал и не удал,
Не скрывал любви
И не стыдился,
Месяц-два еще бы — и женился,
Так и матери своей сказал.

Никаким событиям чрезвычайным
Ни за что бы не смутить покой,
Но явился в отпуск брат случайно,
Старший брат:
Конечно, не начальник,
Все ж не сельский житель —
Городской.

Может быть, на девушку простую
Даже взгляда не скосил бы он,
Может, не заметил бы такую,
Не влюбился б сам напропалую,
Если б младший не был так влюблен.

И пошло крученье и верченье,
Красные да сладкие слова,

А от городского обхожденья
У девчонок, как от наважденья,
Кружится дурная голова.

Что удачей,
Что судьбой зовется?
Счастье тоже — каково оно?
Жить бы всем как надо — не живется,
Песни петь бы, да не всем поется,
И любить не всем равно дано.

Время к девушке явиться сватам,
Паренек к ней сватов не заслал,
Сам гулять не выходил к ребятам:
Он не отступил бы перед братом,
Перед другом бы не спасовал
И перед солдатом тороватым, --
Перед городским
Не устоял.

А старшой свой отпуск отгулял
И опять один умчал куда-то...

БАБОЧКА ОЖИЛА

Бабочка ожила,
Летает у потолка,
Трепетных два крыла
Словно два фитилька.

Мягкий слышав звук,
Прячется в тьму угла
Серый, как день, паук:
Бабочка ожила.

Может, не ожила —
Только что родилась?
Жизнь как и не была —
Заново началась?

Вот, подмахав к окну,
Бьется она в стекло.
Может, это весну
В комнату занесло?..

Перестаю дышать,
Глаз не оторву,
Только б не помешать
Воскресшему существу!

ВЕК НЕ ТОТ

Тот же дом под старой крышей,
Под окошком тот же снег,
Так же много ребятишек,
То же поле,
Тот же век.

Та же зыбка у печурки
С рычагом под потолком
И слюнявые окурки
В мусоре под голиком.

Все обычаи живучи.
Так же пышет печь теплом,
Так же сушатся онучи
На жерди перед челом.

И мои онучи сохли
Точно так же.
Жизнь как жизнь:
И клопы не передохли,
И сверчки не извелись.

Но, увидевшись впервые,
Мы с ровесником моим

Все проблемы мировые
За ночь переворошим.

Судим-рядим до рассвета
О последних новостях,
О космических ракетах,
Без конца — о запчастях.

А потом в колхозном клубе
Ночь проспорим не одну
О Китае и о Кубе,
О Лумумбе и У Ну...

Те же избы,
Те же печи,
Так же полон рот забот,
Но у мысли человечьей
Ход другой,
Иной полет
И совсем иные речи:
Век не тот,
Не тот народ!

Григорий ГЛАЗОВ

* * *

Давно не пахнет камфарой трава.
Девчонке-санитарке завтра — сорок.
Из давних лет светящие слова —
как облетевших листьев теплый ворох.

Мотает нас по всем путям земли.
Есть дом.
Семья.
События.
И служба.

Прятелей мы новых завели
чуть больше,
чем вмещает слово «дружба».

И жизнь моя была б во всем права,
когда б не факт,
что взводного убило,
что остро пахла камфарой трава,
что санитарке девятнадцать было.

Павел ГРУШКО

КАЛЕНДАРЬ

От недели к неделе,
от субботы в понедельник,
словно радуга весенняя —
синий мост воскресенья.
Отдыхают будильники,
город чистит ботинки,
смотрится в зеркала,
чинит детям велосипеды,
собирается у стола
за торжественные обеды,
опрокидывает по одной —
выходной.

Выкладной:

— Кольке-то надо брючки...
— Подождет до полочки.
— А может, с книжки?
— Книжка не про штанишки,
купим шкаф к ноябрю.
Правильно говорю?.. —

Выходной, зеленый,
туристский,
с пригнанным рюкзаком.
Скользкие барбарски
под языком.
Через колкие ельники,
через ясеновые мостки —
в новые понедельники,
в будильники

и гудки.

А у дверей проходной,
у косматых берез,
всю неделю скулит выходной,
как ждущий хозяина пес.
Заглядывает в лица прохожим...
Ты уж нас извини. Не можем.
Нам на работу.
Приходи в субботу.

Марк ЛИСЯНСКИЙ

В ЧЕЛОВЕКА НАДО ВЕРИТЬ

В человека надо верить,
Неизменно надо верить —
Настежь сердце!
Настежь двери!
Надо верить!
Надо верить!

Человек, он все умеет,
Он и пашет,
Он и сеет,
Пролегла его дорога
По морям и небесам,
Даже бога,
Даже бога
Человек придумал сам.

Он пути наметил рекам,
Он проникнуть к звездам смог...
Надо верить в человека,
Человек — вот это бог!

Не бодрячество пустое,
Сердце нам дано не зря,
Руки нам даны не зря,
Надо верить!
Надо верить!
А иначе жить не стоит,
А иначе жить нельзя!

Даже в малую травинку,
Ту, что глазу не видна,
Даже в легкую тропинку,
Чуть заметную тропинку,
Надо верить — и она
Сквозь гайгу,
И ночь,
И вьюгу,
В свой волшебный рог трубя,
Поведет,
Доставит к другу,
К солнцу выведет тебя!

Владимир САВЕЛЬЕВ

ДУШЕВАЯ

Виктору Ильину

Горячим парившая паром,
водой кропившая живой,
она конечно же
недаром
считалась классной душевой.
На каждый угол по две лужи,
нависший грозно потолок,
да окна так,
чтобы снаружи
никто подглядывать не мог.
И в натуральном голом виде
от русских маковок до пят
мы в тесноте,
да не в обиде
вершили красочный обряд.
Ребята той еще закалки,
затевя дружную лапту,
кидали мыло и мочалки
и вновь ловили на лету.
Душой покудова и телом
в неравной степени чисты,
скребли друг другу озверело
бока, загривки и хребты.
Намылив головы жестоко,
вдоль стен
на скрещенных ногах
сидели,
как сыны Востока
в своих молитвенных чалмах.
О, перекресток братских связей,
где так блаженствовали всласть,
из грязи будто бы да в князи
дано котельщику попасть.
Цари и боги первой смены,
такие лютые с утра,

там покаянно и смиренно
грехи смывали мастера.
Натуры страстного накала,
заботой заняты иной,
там реагировали вяло
на визг подсобниц за стеной.
Привыкший к роли гегемона
и жоака народных масс,
там даже собственные стоны
не пресекал рабочий класс.
И ох как зря в иную пору,
туда ж выказывая прыть,
пытались горные озера
на свято место заступить.
На всех земных меридианах,
сплетая струи напоказ,
напрасно пышные фонтаны
покоем сманивали нас.
Мы и поныне без наклада
в момент
своим и не своим
намылим шею,
если надо,
и жару с перцем зададим.
Не ради праздного занятия,
не по бумажному листу,
за чистоту во всех понятиях
затеем бой начистоту.
По жизни
чутьочку вразвалку
пройдем,
невидные собой,
ребята той еще закалки,
краса котельной душевой.

• • •

Илья ФРЕНКЕЛЬ

БЕЗГОЛОСЫЙ

Никто иной — я спел бы вам,
Но это невозможно:
Мой звонкий голос где-то там,
В теплушке замороженной,
За тридцать, за сорок лет —
Оттуда эха даже нет
Монархии низложенной.
И только хриплый голос мой,
Перебиваемый пальбой
И ею же, само собой,
На миллион помноженный,
Кричит: «Да здравствует! Долой!»
Никто, как я, идет Москвой
Притихшей и встревоженной.

При мне винтовка «витерли»
Калибра несусветного.
И я иду. И все так шли —
Шагали наши патрули —
До часа предрассветного.
А снег Москву одолевал,
Глухой, слепой, безмолвный,
Он глух, он слеп, он колдовал —
Всесильный и безвольный.

А мы входили на вокзал
И строились повзводно.
Товарный поезд подползал —
Так было нам угодно.
Грузились мы. Шипел свисток.
Нас дергало, качало.
И приставал сосед: — Браток,
Запел бы для начала...

Двадцатый год.
Двадцатый год.
И голый лед. И белый сброд.
Восьмушка хлеба — весь паек.
Патрон пяток. И все, браток.
Но я все песни начинал,
Ведь я был запевала...
Прокочевал, проночевал,
Пропел я звонкий голос мой:
Его — как не бывало.
Он там: в снегу, во тьме, в огне,
В теплушке замороженной.
Он и сейчас поет во мне,
Высокий и восторженный.

ВЫСОТА

Я жил у скотоводов
На маленьком джыйлоо:
К ним в это время года
Попасть не тяжело.

Пусть солнце жарит пылко
И жалят овода, —
Спокойная кобылка
Возносит вас сюда.

Здесь так свежо соседство
Большого ледника.
Здесь вместе с вами в детство
Впадает ключ-река.

Я в юрте лег.
А сверху
В лазурный круг — тундук
Взглянул пролетом беркут:
«Солом алейкум, друг!»

Я пил кумыс снотворный
Из желтой пиалы,
И дверь была отворена
В бездонность синей мглы,

Где, презируя скалы,
Владычествовал «ТУ»,
А снизу аксакалы
Взирали в высоту,

Туда, где грохотало
Ракетное жерло...
Стыжусь, что прожил мало
На маленьком джыйлоо:

Что пробыл в темной юрте
Не дольше, чем живу
В заоблачной каюте
Ракеты наяву;

ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ МАРКА ЛИСЯНСКОГО

Я хочу сказать о своем друге в поэзии, у которого сходная судьба со многими сходными с ним талантливыми людьми. Я говорю о Марке Лисянском.

Когда называют его имя, все говорят: «Так это же «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» (Точно так же — обращаюсь к литературным ассоциациям — говорили о Федоре Глинке. Поэт-декабрист, проживший долгую и честную жизнь, вызывал в памяти невнимательных читателей единственное воспоминание: «Ах, это тот, кто написал «Не слышно шума городского, на невской башне тишина»!..») А на самом деле, перечитывая его большую книгу, недавно переизданную «Советским писателем», я убедился, что эти вошедшие всем в память строки отнюдь не самые сильные в его творчестве.

Литературные аналогии всегда рискованны, но не бесполезны. Они наталкивают на серьезные размышления. Не то ли получилось и с творчеством Марка Лисянского? Да, почти то же. Я читаю его новую книгу «За весной — весна», в которой подытожены и прежние стихи, и просто поражаюсь богатству интонаций, оттенков и брызжущей сквозь строки одаренности.

Соловья баснями не кормят! — есть такая русская пословица, — и я должен подтвердить слово в данном случае тоже словом. Ибо в нашем ремесле слово всегда дело.

Разве не смогут тронуть даже камень такие строки:

В мире, где есть огорчения,
Горе, что может убить,
Надо искать утешение,
Надо его находить.
В чем?
Это дело особое,
Тут не поверишь словам.
Каждый своею особою
Распоряжается сам.
Все же хочу посоветовать
Дружбой людей дорожить.

Прямо окажу вам:
Без этого
Я не сумел бы прожить.
Горе не станет забавою
Для настоящих людей.
Люди поделятся славою,
Мудростью светлой своей.
Не упадешь, не состаришься,
Не покоришься судьбе,
Если во взгляде товарища
Мир улыбнется тебе!

Я привожу стихотворение полностью, чтобы остановить внимание читателя на главной и основной черте творчества Марка Лисянского — безмерной любви к людям, чувстве дружбы и товарищества. Иногда у него прорывается нота той щемящей грусти, без которой немислимо творчество настоящего лирика. Разумеется, это высокая грусть, очищенная от всяких примесей и накипей. У каждого — по-разному. У одного — тоска на чужбине по родине, у другого по ушедшей женщине, у третьего о безвозвратной молодости...

Я мог бы многое сказать о тех стихах Марка Лисянского, жанр которых покойный А. А. Фадеев определил условно как «политическая лирика». Это определение не исчерпывающее, но довольно верное. Его стихи о Ленине, о родине, о Москве вошли в антологии, звучат теперь на многих языках.

Намеренно я не стал разбирать этой стороны дарования Марка Лисянского. Она слишком очевидна. Коснулся я лишь той стороны, которая долго оставалась в тени, — его чистой и проникновенной лирики.

Сергей ОРЛОВ

ЗЕМЛЯК

С. Викулову

Мы редко с ним теперь встречаемся.
У каждого свои дела.
Но все ж встречаемся, случается,
Вдвоем садимся у стола.
Не по желанью — по традиции,
Как на Руси заведено,
Мы балуемся не водицею
Дистиллированной, но...
Как только что да как кончаются,
Отодвигается хрусталь
И раздвигается, что чается,
Что видится и глубь и даль.
Он трет виски, он наклоняется
И курит, курит без конца,
И тень и свет, летя, сменяются
На резких линиях лица.
И край, в котором уместиться бы
Могло с полдюжины держав
С их европейскими столицами,
Определяется вдруг, став

Тем настоящим, главным, истинным
И как живешь и как дела,
В чем исповедуются искренне,
Ни боли не тая, ни зла.
Над чем, задумываясь, пробуют
Себя, других и жизнь понять
По счету по большому, строгому,
Где не на кого зря пенять.
А надо встретиться с причинами
Того, что плохо, что не так...
Шумят поля, горит рябинами
И подступает к сердцу тракт.
Раскинулась в дождях и радугах
Провинция лесов и рек,
Печали, сокрушая, радуя,
Как личная судьба навек.
Ах, эти встречи с другом досветла,
Гора окурков. Поздний час.
Наговоришься вроде досыта,
А ляжешь — не смыкаешь глаз.

В цвета палящие одета,
И длиннонога и тонка,
С прической, названной «Бабетта»,
Звонка, как в песенке строка.

Она надела туфли-гвоздики
И синий скинула халат,
И где-то рядом с кинозвездами
Сейчас глаза ее летят.

Бежит Брижит по нашей улице,
Стучат капелью каблучки,
Бежит, торопится, волнуется
Брижит с текстильной фабрики.

А ей газета молодежная
За то анафемой грозит...
А чем плоха, скажите все же мне,
Сама француженка Брижит?

Молоденькой многостаночнице,
Красивой хочется ей быть.
Ах, как ей быть счастливой хочется!
И как за то ее винить?

А чем плоха многостаночница
С прической круглой, как луна?
Девчонке быть красивой хочется,
Бежит, торопится она.

Я пришел в сорок пятом,
Опаленный, живой,
Молодой, конопатый,
С золотой головой.

Думал, глянув на лето:
«Жизнь еще впереди.
Все, что кончилось, — это,
Уходя, уходи».

Не считал я закаты,
Не считал я рассветы,

Пожилым, бородастым
Вспомнил дальнее лето.

Сосчитал я закаты,
Сосчитал и рассветы —
Позабыл про загады
И поверил в приметы.

Глядя в дальнее лето,
Защемило в груди, —
Все, что кончилось, — где ты?
Жизнь, постой, погоди!

Олег ДМИТРИЕВ

ТОВАРИЩ ИЗ РАЙКОМА

Он приехал на ток в «Победе» —
«Руководство на колесе»,
И застал он нас при обеде, —
Это значит во всей красе!
Из машины он вышел первый,
Под солдатский ремень забрав
Запыленный, почти что серый,
Гимнастерки
Пустой рукав.
И пока мы чавкали громко,
Наедаясь вот по сих пор,
Он спокойно сидел в сторонке
И покурил «Беломор».
Молоком опившись жестоко —
Развеселая целина! —
Мы почапали мимо тока,
Чуть качаясь, как от вина.
Разомлевшие до предела,
Мы блаженствуем на боку,
И какое нам, братцы, дело,
Что творится там на току!
Эх, подстилка сено-солома,
Сны московские навевай!
И тогда инструктор райкома
Подошел и сказал:
— Вставай! —
На него мы глядели предвзято:
«Проверяют...
Не верят нам!»
Он на ток показал: — Ребята!
Ваше место, ребята, там! —
А веселый парнишка Витя
Заявил: — Товарищ! Сейчас —
Я вас очень прошу — не шумите.
Вы же видите — тихий час! —
Я б взглянул ироническим взглядом,
Повернуться хотел — не смог.

Вдруг я чувствую — где-то рядом
Закудахтал старый движок!

Застучали потом знакомо
Обе веялки... Нет, одна!
Мы глядим:
Инструктор райкома
Встал один посреди зерна!
А у веялки — полный бункер!
Вы попробуйте — без руки!
Так он шел на зерно, как будто
Шел на вражеские штыки...
Как крыло подстреленной птицы,
Страшно в воздухе замелькав,
За тяжелой взлетая плицей,
Трепыхался пустой рукав.
Мы посыпались с сеновала,
Стали вкалывать — ну и ну!
Он сказал нам тогда устало:
— Вы давайте...
Я отдохну. —
Вот и весь он, тот самый случай.
Но не стоит сейчас молчать,
Что о нас — о бригаде лучшей —
Написала потом печать,
Понимаете, райгазета!
К нам приехал корреспондент,
Парень с нашего факультета —
Малокровный, видать, студент.
— Побеседуйте, мистер, с нами —
Мы работаем ничего!

А потом мы напишем сами
Про товарища про того...
Он спасибо сказал ребятам,
Уезжая от нас в тот день.
Был рукав у него запрятан
Аккуратненько под ремень.
Мы узнали, какой ценою
Хлеб идет на столы страны!
Так мы встретились с целиною
На десятый день целины.

МАРСИАНЕ

За трудный день уставшие до смерти,
Мы падаем в объятия перин.
И плавно отделяемся от тверди,
И, изумляясь, в воздухе парим.
И одеяла нам легки на вате:
Не спинок потускневшие шары —
Качаются на уровне кровати,
Блестая, отдаленные миры.
А мы летим легко и невесомо,
Как потолок, снижается луна,
Прислушайтесь — мы шепчем полусонно
Космических любимых имена!
Растет планета дальняя в тумане,
И, преодолевая забвенье,
Уставшие от странствий марсиане,
Торжественно мы смотрим на нее.
И, курс меняя, мы летим к рассвету,

Бесстрашные, мы сходим с корабля
И нарекаем новую планету
Красиво и загадочно:
Земля!
О, здесь мы не пришельцы, а родные!
Мы, сильные и бодрые, встаем
И по своей земле идем впервые
И удивляться не перестаем.
Афишам, тротуарам, липам, лицам,
Дворцам метро и площадям большим,
Медлительным и важным синим птицам,
Вышагивающим из-под машин,
Домам, растущим в небо этажами,
Толпе у магазина «Семена»
И беленькой девчонке с чертежами,
В троллейбусе заснувшей у окна..

Михаил ЛОБАНОВ

ТИХАЯ МОЛНИЯ

«Тихая молния» — так называется новый сборник стихов Дмитрия Ковалева, как бы продолжающий его прежнюю книжку «Тишина». Здесь видно постоянство поэтического образа, и, по-моему, емкого, потому что тишина в этом тревожном мире уводит в беспокойные глубины бытия...

Д. Ковалев умеет слушать эту настороженную, чуткую тишину, в которой радостно лопаются почки и зреют большие раздумья. Автор понимает смысл таких вещей, близких каждому простому человеку, как земля, хлеб, мирная тишина, семья. Поэтому лучшие его стихи светятся земной радостью людей деревенского труда.

В сборнике «Тихая молния» поэт набирает высоту созерцания. Не отрываясь от притяжения «земного», «деревенского» (в стихотворении «Мое земное» земля видится не с борта «ТУ-104», а со стога сена: «как с полета, всю землю открытую вижу»), автор стремится к масштабному восприятию мира. Конкретные приметы согревают уходящий в космос образ.

Села белые,
Будто в воде по колено босые,
Зыбкой теменью окон следят за полетом ракет.
К ущербленной луне
Над высокой, высокой ночью Россией
Пролегает светящийся инеем след...

В лунную зимнюю ночь «спали деревни, как в Млечном Пути». Чувство бесконечного, навещающее автора, может лишь возвысить его поэтическую мысль.

Стихи Д. Ковалева тянутся не только в пространство, в них очевиден усилившийся нравственный поиск. Автор размышляет о судьбах своего поколения, прошедшего через войну и невзгоды эпохи. Пережитое становится не только мудростью, но и болью памяти. В лирическом разговоре со своим городком поэт признается:

Как все хотел узнать...
И как теперь бы
Мне многого хотелось бы не знать.

Это та правда опыта, которую каждый неизбежно откроет для себя в жизни.

Но Д. Ковалев не всегда выдерживает, так сказать, требовательный взгляд опыта.

Да можно ли печаль в упрек нам ставить,
Примешанную к радостям побед? —

задается он довольно мелковатым вопросом. Надо ли искать оправдание печали, надо ли говорить, да еще как бы в извинительном тоне, что она имеет свои права? Почему же поэт не напоминает, что ему нельзя ставить в упрек радость? В этой оговорке автора нет ли разлада с мужеством, когда истина приемлется без боязни какого-либо упрека? Опыт поколения, столько выстрадавшего, не оставит того, кто решился говорить от его имени, без нравственной поддержки, но он, этот опыт, требует от поэта внутреннего достоинства, не идущего на поводу нареканий. Д. Ковалеву, если он думает серьезно представлять свое поколение в поэзии, следует углублять в себе самостоятельность оценки.

Автор высказывает несколько элементарную, но справедливую мысль о том, что в беде человек «клонит сердце к тому, кто прошел испытания» («Если совесть болит»). В стихах самого Д. Ковалева заметна апелляция к сердцу. Думается, что это не излишняя забота, если принять во внимание, что иные поэты исключительно пекутся о благополучии вообще человечества, а не о каких-то там конкретных индивидуальных нуждах...

Лирический герой не отягчен у Д. Ковалева категоричностью заявления, самоуверенностью обладателей правильных тезисов на любой жизненный случай; он старается разобраться в сущем, не торопясь с выводами; задумывается над «простыми», но непреходящими истинами, открывающими уму окно в вечное; у него терпимость к «праву другой юности», которая «распрямляет статью». Это уже знак интеллектуальной культуры, понимание чего-то большего, чем круг логических формул.

Но местами — никчемность морали: о колосьях — «как низко-низко кланяются полные, как высоко заносится пустой»; бодряческое песнопение о деде, не желающем помирить в этой жизни, где все к лучшему.

В авторе подобных стихов трудно признать поэта, умеющего четко и наглядно живописать: осенью «большими кажутся в садах безлистных люди...». В стихотворении «А думал я...» солдат, вернувшийся с войны домой, не рассказывает матери, как он мечтал о встрече с ней, лежа в пристрелянных снегах; он только боится ее окликнуть, чтоб вдруг не испугать...

Такая психологическая правда больше всего и убеждает в поэзии!

• • •

Наум КОРЖАВИН

* * *

Ты шла к другому, не его любя,
Тоскуя, что судьба твоя — такая.
Но ты — не с ним. А просто нет тебя.
С ним рядом ходит женщина другая.
Она вовеки не была моей.
И ничего в ней нет.

Но почему-то
Приходят каждый раз на память ей
Мои с тобой счастливые минуты.
Та память ей для гордости нужна:
Жить так, но знать себя и не такую.
И равнодушно жизнь влачит она,
На память и мечты махнув рукою.

Уходит год. Иной приходит год,
И я скорблю, что ничему не сбыться,
Хоть это был не прерванный полет,
А лишь случайный взлет домашней птицы.
Романтика! Твержу себе я сам.
Но, словно бы страшась иной потери,
Я всяким вразумительным словам
Душой и кровью до сих пор не верю.
Ты только та, что, радостно любя,
Рвалась ко мне, к свободе привыкая.
И я — любил!

Но больше нет тебя.
А это... Это женщина другая.

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПОСЛЕ СПОРА

Не ценят знания тонкие натуры,
Искусство любит импульсов печать...
Мы ж, Рафаэль, с тобой — литература,
И нам с тобой здесь лучше помолчать.

Они в себе себя ценить умеют,
Их мир — оттенки собственных страстей...
Мы ж, Рафаэль, с тобой куда беднее —
Не можем жить без бога и людей.

Их догмат — страсть. А твой — улыбка
счастья,

Твои спокойно сомкнуты уста,
Но в этом слиты все земные страсти,
Как в белом цвете слиты все цвета.

Я только так могу.
На том стоим мы.
И все, что знаем, — есть наверняка.
Хоть ты ни с чем на свете не сравнимый,
Хоть я лишь миг живу,
А ты — века.

• • •

Иван РЯДЧЕНКО

ИГРУШКИ

Глядят они — смешные, кособокие —
забытые в игрушечном мире,
с витрин зеркальных в Лондоне, и в Токио,
и в самом захолустном городке.

Спят в колыбелях девочки и мальчики.
Сверкает фиолетово гроза.
Но спать не могут плюшевые зайчики —
у них не закрываются глаза.

Сердца игрушек не покрыты ранами,
они не знают за собой вины.
Их делали руками деревянными
безрукие участники войны.

Их мир оваян сказочными книжками,
им все ребячьи радости близки.

Назло наполеонам зайки с мишками
завоевали все материки.

Не все ль равно, где делала их фабрика?
Но, глядя на игрушечных зверей,
в улыбке рот растягивает Африка,
Америка становится добрей.

Голов не прячут наподобье страуса
игрушки эти хрупкие, когда
глухое эхо ядерного хаоса
незримо потрясает города.

Игрушки только вздрогнут гуттаперчево,
и хоть гроза все громче и лютей,
они сквозь ночь наивно и доверчиво,
глаз не смыкая, смотрят на людей.

Евгений САВИНОВ

КОЛОСОВИКИ

Вешний шум колошения —
Тишины нарушение.
Белый колос выметывая,
Рожь стоит как умытая.
Загляделся с дороги я
На грибы тонконогие,
На грибы необычные,
Что в луга земляничные,
Неотцветшие, росные,
Забегали в смущении,
Как разведчики осени,
Как живое внушение
Тем, кому по беспечности
Мало дела до вечности,
Кто живет по бездумности
Только музыкой юности.
...Вешний шум колошения —
Всей души ворошение.

Владимир ФАЙНБЕРГ

ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛА

Летит зеленая стрела...
С туманных детских дней
стрела зеленая была
спутницей моей.

Она возникла, как мотив,
и мимо глаз прошла...
И я вдруг замер, повторив:
— Лети, зеленая стрела...
Зеленая стрела...

С тех пор везде,
с тех пор всегда,
пронзая все года,
летит зеленая стрела...
Откуда? И куда?

Не знаю... Но она со мной.
И не страшна печаль,
пока зеленою стрелой
посверкивает даль.

И не боюсь я в трудный час
вопросов: — Как дела?
Еще ты веришь, что летит
зеленая стрела?

Я знаю — мир совсем не сер
и жизнь совсем не зла,
пока в пути,
пока летит
зеленая стрела!

Антон ПРИШЕЛЕЦ

ДРУЖБА

Уезжают девушки,
Уезжают парни.
Край там
Неизведанный,
Путь у них —
Дальний.

Им не приготовлено
Ни кровя,
Ни кроватей.
Там они — разведчики,
Первооткрыватели.

Это только издали
Кажется нетрудно...
А я связан с юностью
Дружбой
Обоюдной.

Как же
Я останусь?
Не усну всю ночь.
«Нужно ли ребятам
Чем-нибудь помочь?»

Может быть,
Не только
Песенной строкой —
Может быть, руками,
Ломом
Иль киркой!»

Юность!
Друг без друга
Нам нельзя обоим.
Ты возьми в дорогу
И меня
С собою!

Леонид ЧИКИН

* * *

Я все прошел. И это я не выдумал.
Я видел смерть. Я к ней стоял лицом.
Нет пыток, мной не пройденных. И, видимо,
Нет битв, в которых не был я бойцом.

В Испании меня убитым видели.
Сжигали в крематориях меня.
С гремевших над Пхеньяном истребителей
Насквозь прошил я строчками огня.

Я помню в Кубе жаркий бой. И в том бою
По милости непрошенных гостей
Я ранен был осколочною бомбою
С клеймом бандитским «Мэйд ин Ю Эс Эй».

Полз тропами крутыми, каменистыми.
Был загнан, был отрезан, окружен.
В Алжире я убит парашютистами,
В Америке расистами казнен.

Стоял под дулом, на меня нацеленным, —
Ну, жми крючок холодный спусковой!
И, тысячи — нет, больше! — раз расстрелянный,
Я все равно, как видите, живой.

Меня пытали жаждою и голодом,
Плясали сапожищами на мне,
Палили зноем и знобили холодом
И выжигали звезды на спине.

А я иду сквозь грозы неминуемые.
А я борюсь. И я всегда в строю.
Я — это жизнь бессмертная, могучая,
Мне все посильно — я на том стою.

Я — Труд,
я — Мир,
Свобода,
Братство,
Счастье,
Равенство,

Уже не сон я — плоть. И не суметь
Тому, кто с призраком не мог когда-то справиться,
Меня — давно не призрак! — одолеть...

• • •

СТИХИ ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Цельность и многоплановость — вот самое первое и прочное впечатление от книжки Владимира Соколова «На солнечной стороне». Это третий и наиболее зрелый сборник поэта; он учится видеть жизнь во всей ее густоте и сложности — такой, какова она есть, — под разными углами, в разных ракурсах. Здесь — лирические раздумья, тишина московских дворишков, золото болгарских листопадов и хвойный аромат Сибири.

Стихи о Сибири составляют крупный цикл. Поэт живет со временем в ладу. Он чувствует дух эпохи: она сегодня повернулась лицом к Востоку. Туда — в Сибирь — ведут маршруты поколенья. Там начинается индустриальное Завтра страны.

И вот — преобразующаяся Сибирь. Она кинулась навстречу поэту всеми своими красками и громами и дикими красотами. И навсегда вошла в сердце.

Значит, юность жива, дело просится в руки,
если имя реки повторяешь в разлуке,
если сердце и ныне ночует не дома...

Поэт наблюдателен. Он умеет находить детали точные и выпуклые:

Точно детским мячом, большая
заигралась тайга гудком.

Владимир Соколов побывал на Падуне, на великих стройках. Он хлебнул просторов, и цикл его весь как бы продут ветрами, напоен сочными запахами тайги.

И все же (несмотря на многие удачи) чувствуется в цикле некая очерковость. Это, скорее, путевые впечатления, страницы из поэтического дневника. Гораздо гуще и ярче раздел «Смена дней».

Это — ядро книги. Здесь центр ее тяжести. Если сибирские стихи привлекают главным образом точностью деталей и формулировок, то в «Смене дней» раскрывается тонкая пластичность поэтики Соколова, весь ее сложный лиризм. Если там он созерцает, то здесь — глядит в глубь себя. А это куда интересней!

Вот стихотворение — по-моему, одно из лучших в книге, крайне любопытное и важное для понимания Соколова:

Пишу поэму. Длятся дни,
мелькают годы.
Пишу ее в кругу родни,
в кругу природы.
Пишу ее в кругу кругов,
в кругу квадратов,
в кругу друзей, в кругу врагов,
себя не спрятав.
Пишу во сне и наяву,
в пути, в полете...

В этих строках — пронзительность и глубокая простота... Но я хочу поговорить о другом.

Стихотворение — не правда ли? — напоминает по ритму известное пастернаковское: «Свеча горела на столе, свеча горела...».

Повернуть и по-своему окрасить слово, заставить по-новому звучать знакомый, всем примелькавшийся ритм — есть особая, возвышенная

прелесть в этой работе. И нужна здесь большая смелость и вкус, и немалое мужество. Главное — выразить дух времени, разгадать его колорит, найти интонацию.

Это-то вот и ищет Владимир Соколов. Поэт необщей судьбы, он ищет свое — свою интонацию, свое выражение времени. Он работает акварельно и нервно, и где-то уже близок к разгадке, к своему откровению; оно уже мерцает за строчками:

Я б пришел к тебе помочь по путям трамвайных линий,
но опять рисует ночь черным углем белый иней.
У тебя же все они, полудетские печали.
Погоди, повремени, наша жизнь еще в начале.

Или, например:

.. Будет так предательски тепло,
что я замерзну мертвым сном в постели.

Поэт пишет свою поэму. Пристально вглядывается в жизнь — постигает нелегкий ее смысл, разгадывает глубинные секреты. Ему еще немало учиться и преодолевать, и трудиться жестоко... Но вот третья книга — третья глава поэмы! Третья ступень по пути к высокому мастерству.

Дина ЗЛОБИНА

МЕТЕЛЬ

В чистой комнате жарко, жарко мне,
А над морем —

метель, метель!

Медсестра, Катерина Марковна,
Кинь-ка снегу ко мне в постель!
Полотенце, старушка верная,
Самой синей волной смочи!
Это смерть за стеной,

наверное,

Подбирает свои ключи.

Подбирается злая ключница

К беспокойной душе моей.

Слышу, шепчешь ты:

— Матерь заступница,

Неразумную пожалей! —

Бога нет, Катерина Марковна,

Кто же верит в него теперь?

В чистой горенке

жарко, жарко мне,

Распахни попросторней дверь

В мир заснеженный, мир заманчивой, —

Там, где сопки сровнял буран,

Укрывается мой запальчивый,

Мой отчаянный капитан.

Не сбылось ли его пророчество:

«Головы тебе не сносить?»

Понимаешь ли —

нынче хочется

Вдвое, втрое просторней жить.

Где там смерть моя канителится?

Разве смертная я?

Вранье!

Чай, над морем метель-метелица —

Чернокрылое воронье!

Непокрытая

выйду в сенцы я,

Все по стеночке, не спеша...

Катеринушка, старушенция,

В море хочет моя душа!

Пусть колени дрожат от слабости,

Мне б на палубу поскорей!

Сколько нежности, сколько ярости

В голубой глубине морей!

Эх, зима, до чего же белая!

Чашку чайную об порог!

Дай мне руку, заря несмелая,

Чтоб в снегах не увяз сапог.

Василий ГРИШАЕВ

ЗАВОД МОЙ, ЖИЗНЬ МОЯ

Первый снег...
Так встречает молодость
только первую зелень весны.
Сыпь, зима!
Так свежо стало городу
от великой твоей близны.

Вечер ходит,
следа подошвами.
И до самой Москвы-реки
запеленаты, запорошены
все тропинки и ручейки.

У дворца ли культуры у нашего,
в детском парке ли, где Марат,
я ведь тоже любовь вынашивал
много весен и зим подряд.

Все, что было,
что взято и сделано, —
все растет и цветет на бегу.
Как сирень подмосковная спелая,
тополя в первородном снегу.

Мне зима —
время встречи с заводом,
с песней стали в гулких цехах,
с неумным горячим народом,
с дерзкой дружбой в его рядах.

Тридцать лет...
Это мало ли, много ли?
А ведь сколько машин, милый друг,
эту землю колесами трогали,
вылетая из наших рук!

Борис КУНЯЕВ

АНТЕННА

Мне пыль и туман
По колена.
Согнулись мачты,
Как луки.
Я — тоненькая антенна,
Вбираю в себя
Все звуки.
Вы слышите,
Дышат мартены,
Уходят в ночь
Паровозы.
Пусть я не Антей,
Я — антенна,
Ловлю
Все грома и грозы.

До всех,
До всего
Мне дело.
Высокое напряжение
Мое обжигает тело.
Я в небе
Как синяя вена.
Мой подвиг
И прост и труден.
Хочу
Быть всегда
Антенной
На высоте
Наших буден.

Лев ОШАНИН

* * *

Ты плачешь... О чем он, о чем он,
Тревоги метнувшийся след?
О том, что в походке знакомой
Девической легкости нет?
Что горя вокруг еще много,
Что счастье идет не спеша,

Что слишком подвластна тревогам
Открытая настежь душа?
Не надо глядеть так угрюмо.
Прости, что порой не успеть
Среди повседневного шума
За сердцем твоим приглядеть!

Виктор ПАРФЕНТЬЕВ

КУПОЛА

В черном зареве таяли дали,
И с земли, поднимаясь в зенит,
Полумесяцы в небо взлетали
Из-под звонких татарских копыт.
Но когда затихали копыта
И редела над городом мгла,
В знак того, что Москва не разбита,
Восходили над ней купола.

ДОРОГИ

Чтоб, уезжая, я не знал печали,
Чтоб не грустил о доме поутру,
Они меня грибным дождем встречали,
Перед отъездом дождь всегда к добру.
Они меня кружили по России,
Своею неизвестностью маня,
Мощеные, железные, литые,
Из времени, пространства и огня.

• • •

Вадим СЕМЕРНИН

СТАРУХА

Ее все знают на деревне,
хотя
 в суровых днях своих
старухе,
 немошной и древней,
нет будто дела до живых!..
Над речкой стены белой хаты,
бедой подкошены,
 стоят.
А рядом двадцать два солдата,
войной покошены,
 лежат.
Старуха помнит — не забыла,
как здесь прошел короткий бой...
И стала
 братская могила

ее заботой и судьбой.
Она цветы весной сажает,
сухая, как сама земля,
она звезду воображает
звездой над башнею Кремля!

Молчанием,
 привычкой ставшим,
она вас встретит у ворот...
А этих, двадцать двух,
 не вставших, —
всю ночь по именам зовет!
Хоть ей давно за девяносто,
но смерть старуху не берет.
Зовет по именам их просто —
и их бессмертием живет.

Игорь ФЕДОРИН

СЕРДЦЕ КИРГИЗИИ — ИССЫК-КУЛЬ

Я в первый раз увидел сердце.
Живое, бьющееся сердце.
Я погружался в это сердце,
Я в этом сердце мог согреться.

И как стучит оно, я слышал.
Всем телом чувствовал: оно
Огромно было, это сердце,
И все насквозь просинено.

Оно открыто было ветру,
Открыто солнцу и луне,
Открыто звездам;
 и открыто
И просто улыбалось мне.

Оно чернело в непогоду
И так вздымалось тяжело,
Как будто глубоко дышало
И надыхаться не могло.

О, как на нем вздувались вены
И, лопаясь, расстались вновь!

Как тонкой стружкой белой пены
Из этих вен бежала кровь!

Она бежала и стекала,
Выплескивалась на песок.
А после сердце затихало,
Вытягиваясь на восток.

Я в первый раз увидел сердце,
Открытое, большое сердце.
Завидую тому, кто с детства
Мог постигать такое сердце.

Кто выходил в его просторы
В рыбацкой лодке в час ночной,
Кто погружался в это сердце,
Захлебывался глубиной.

Но, в доброте его уверен,
Спокойно нажимал на руль.
О, как он верил в щедрость сердца
Киргизии —
 свой Иссyk-Куль!

Борис ЧИЧИБАБИН

РОДНОЙ ЯЗЫК

Виктору Бокову

1

Дымом севера овит,
Не знаток я чуждых грамот.
То ли дело в уши грянет
Наш певучий алфавит.
В нем — шептать лесным соблазнам,
Терпким рекам рокотать.
Я смеюсь как благодать,
Каждой буквой обласкан
на родном языке.

У меня такой уклон:
Я на юге — россиянин,
А под северным сияньем
Сразу делаюсь хохлом.
Но в отлучке или дома —
Слышь? — поют издали
Для меня, для дурака,
Трубы, звезды и солома
на родном языке.

Чуть заре зарозоветь, —
Я, смеясь, с окошка свешусь
И вдохну земную свежесть —
Расцветающий рассвет.

Люди, здравствуйте, и птицы!
И машины! И леса!
И заводов корпус!
И заветные страницы
на родном языке!

2

Слаще снящихся музык,
Гулче воздуха над лугом,
С детской зыбки был мне другом —
Жизнь моя — родной язык.

Где мы с ним не ночевали,
Где не перли напрямик!
Он к ушам моим приник
На горячем сеновале.

То смолист, а то медов,
То буян, то нежным самым —

Растекался по лесам он,
Пел на тысячу ладов.

Звонкий дух земли родимой —
Богатырь и балагур.
А солдатский перекур!
А уральская рябина!..

Не сычи и не картавь,
Перекрикивай лавины,
О, ветрами полевыми
Опаленная гортань!..

Сторонюсь людей ученых,
Мне простые по душе.
В нашем нижнем этаже —
Общежитие девчонок.

Ох и бойкий же народ
Эти чертовы простушки!
Заведут свои частушки —
Кожу дрожью продерет.

Я с душою захромавшей
Рад до счастья подстеречь
Их непуганую речь —
Шепот солнышка с ромашкой.

Милый, дерзкий, как и встарь,
Мой смеющийся, открытый,
Розовеющий от прыти
Расцелованный словарь!

Походил я по России,
Понаслышался чудес,
Это — с детства, это — здесь
Песни душу мне пронзили.

Полный смеха и любви,
Поработав до устатку,
Ставлю вольную палатку,
Спору с добрыми людьми.

Так живу, веселый путник,
Простодушный ветеран, —
И со мной по вечерам
Говорят Толстой и Пушкин
на родном языке.

перь их насчитывается в стране уже около 150. Двадцать из них — наилучшие — участвовали в финале общегосударственного конкурса художественной декламации в городе Простейов.

Что же такое «Театры поэзии»?

Некоторые теоретики выступают против «Театров поэзии» или по крайней мере против их названия, аргументируя это тем, что театр и поэзия — два разных дела. Но огромное количество молодых коллективов, инсценирующих поэзию, и широкий общественный отклик на их работу — явления не случайные. Они свидетельствуют, что «Театры поэзии» выполняют важную задачу. Хорошие сценические постановки, во-первых, притягивают к поэзии и тех, которые до сих пор не читали стихов; во-вторых, в «Театрах поэзии» восстанавливается коллективная сущность (лучше, чем в хоровой декламации) и, в-третьих, на сцене поэзия оживает во всем ее звуковом богатстве — звучит живое слово поэзии. (Это проблема не всех литератур и тем более не советской, а главным образом литератур тех стран, где поэзия стала делом чтения втихомолку.) «Театры поэзии» влияют и на работу поэтов, и на развитие новых ее сторон.

Симпатичной чертой работы «Театров поэзии» в Чехословакии является их злободневность, ориентация на современную чешскую, словацкую, советскую и революционную западную поэзию. Почти все «Театры» создают свои монтажи по материалам творчества прогрессивных поэтов XX века; многие «Театры» ставят программы стихов молодых поэтов, а иногда поэты рождаются прямо в коллективах «Театров поэзии» (например, один из победителей конкурса 1962 года — студенческий «Театр поэзии» из города Карловы Вары — «Капса», что означает «Карман»).

Пионером на пути развития «Театров поэзии» стала группа театра «Х-63» («Икс-63», Брно) со своими программами «Великая стирка» и «Объявление на жаворонка» (М. Угде). В них удалось раскрыть огромную общественную силу современной поэзии. Программы театра «Икс-63» (группа сейчас в кризисе) передаются по радио и телевидению.

К лучшим «Театрам поэзии» принадлежит «Větrník» («Ветрник» — это значит «вентилятор», «ветряная мельница», «флюгер»; театр работает в г. Простейов) с программой антивоенной французской поэзии — «Глаза и память» и с постановками поэзии В. Незвала (Р. Лоштяк), далее солдатская группа из г. Псары с программой молодой чешской поэзии и «Театр поэзии» из г. Наход (поэзия молодого чешского поэта М. Флориана).

Парадоксально, что одним из последних городов, где основан «Театр поэзии», оказалась Прага. Причина, очевидно, в том, что в Праге существовало уже несколько маленьких театров, которые, выступая главным образом с другими формами, тем не менее тоже пропагандировали поэзию.

*г. Оломоуц
Июль 1962 г.*



Илья ЭРЕНБУРГ

* * *

Скребет себя на пепле Иов,
И дым глаза больные выел,
А что здесь было — нет его.
И никого, и ничего.
Зола густая тихо стынет.
Так вот она, его пустыня.
Он отнял не одно жильё —
Он сердце обобрал мое.

Сквозь эту ночь мне не пробраться.
Зачем я говорил про братство?
Зачем в горах звенел рожок?
Зачем я голос твой берег?
Постой. Подумай. Мы не знали.
В какое счастье мы играли?
Нет ничего. Одна зола
По-человечески тепла.

1943

* * *

Ты помнишь — жаловался Тютчев:
«Мысль изреченная есть ложь».
Ты не пытался думать — лучше
Чужая мысль, чужая ложь.
Да и к чему осьмушки мысли?
От соски ты отвык едва,
Как сразу над тобой нависли
Семипудовые слова.

И было в жизни много шума,
Пальбы, проклятий, фарсов, фраз.
Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час,
Когда не закричишь дискантом,
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.

1957

Юнна МОРИЦ

НЕУТОНУВШИЙ ОЛЕНЬ

На псах на черных еду-еду,
Вдоль тундры взбалмошной иду
И по сияющему следу
Шпицберген-остров я найду.

Там жил олень высокий, вольный,
Мечты и факта торжество.
Резвился ток высоковольтный
По телу длинному его.

Он в полночь шевелил рогами,
Когда смотрел цветные сны,
И самку с тонкими ногами
Ласкал задолго до весны.

Его почти людское тело
Плескалось в тундровом снегу

И легонькой стрелой летело,
Три ветра выгнувши в дугу.

Восторг бескрайний — с крайним горем,
С глубоким снегом — льда настил,
Одним прыжком он тундру — с морем
И смерть с ошибкой совместил.

Но, как рабы, восстали смерчи
И грянули судьбе: — Держись!
За опытом ценою смерти
Дай чудо стоймостью в жизни!

И, наклонясь ко льдам разбитым,
Они расслышали сквозь лед:
Олень серебряным копытом
По дну серебряному бьет.

Григорий САННИКОВ

ТРОЙКА

Алексею Иванову

И он запел... И, как живая,
Всей статью памятная мне,
Рванулась тройка почтовая
Крылатой песней по стране.

Мелькают, вижу, новостройки,
Столбы электропередач.
Ах, тройка, тройка, птица-тройка,
Куда ты, тройка, мчишься вскачь?

Нет, не былая это удаль.
Певец о ямщике поет.

А тройка вымахала в чудо —
Стремит в космический полет.

Пред ней уже миры иные,
И на орбите круговой
Не бубенцы, а позывные,
Там звезды под ее дугой.

А здесь в раскатах баритона,
С тоской по-прежнему дружа,
Все так же мечется и стонет
Неугомонная душа.

ЭЛЕГИЯ

Снилось мне:
Ты живешь на луне,

На далекой луне,
Недоступная мне.

Это ты, это ты
По ночам с высоты,

И грустна и нема,
Меня сводишь с ума

Полнолунной своей
Наготою страстей.

Я один на земле,
Словно искра в золе,

Постигаю, светясь,
Двустороннюю связь.

Но нам рук не скрестить,
Обречен я грустить,

Как и ты обо мне
На далекой луне.

Павел РАДИМОВ

ПОЭМА ДНЯ

В дубове дуб не раскрывал листа.
Зеленые с берез нагнулись серьги,
Весна не полностью, она в преддверьи,
И дымка легкая сквозит в кустах.

На поле тишина и пустота,
Ворона каркнет в поднебесье где-то,
Но каждый звук есть строчка для поэта,
Лес безголосый та же красота.

Куда ни глянь, твои, поэт, поэмы,
И ловит мысль и сердце жизни звон.
Застыли облака в зените, немые,
Дождем вдали чуть прыснул небосклон.

Давид САМОЙЛОВ

СТАРЫЙ ГОРОД

Трудолюбивые пейзажи,
Возделанная красота.
И все круглей холмы, все глаже.
И все отраднее места.

Тевтонский орден и Ливонский —
Чванливых рыцарей орда —
В своем ленивом пустозвонстве
Здесь не оставили следа.

Зато ремесленные швабы
И местный работящий люд

Свои понятия и масштабы
Навечно утвердили тут.

Они ценить привыкли место,
И город, окружен стеной,
Залег извиристо и тесно,
Как мозг в коробке черепной.

И разум прост, и тверд, и скромн.
И облик крыш над головой
Подобен сомкнутым ладоням,
Прошедшим обжиг вековой.

СТАРИК ДЕРЖАВИН

Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил.
В эту пору мы держали

Оборону под деревней Лодвой,
На земле холодной и болотной
С лулеметом я лежал своим.

Это не для самооправданья, —
Мы в тот день ходили на задание
И потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал: «Вот черти,
Некому и лиру передать!»

А ему советовали: «Некому?
Лучше б передали лиру некоему
Малому способному...»

А эти,
Может, все убиты наповал!...»
Но старик Державин воровато

Руки прятал в рукава халата,
Только лиру не передавал.

Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал,
Что-то молча про себя загадывал.
(Все занятие по его годам!)
По ночам бродил в своей мурмолочке,
Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!
Пусть пылится лучше — не отдам!»

Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин был старик!

Дмитрий СУХАРЕВ

* * *

Давайте умирать по одному —
От хворостей своих, от червоточин,
От храбрости. — не знаю уж там точно,
Какая смерть положена кому.

Так деды уходили в мир иной,
Окружены роднею и почетом.
Давайте, люди, уходить не чохом.
Я не хочу, чтоб сын ушел со мной.

А злобных и безумных — их в тюрьму,
Замки потяжелей, построже стражу!
К чему нам, люди, умирать всем сразу?
Давайте умирать по одному.

Да не свершится торжество огня.
Мы смертны, люди, — но неистребимы!
Пускай траву переживут рябины.
Пускай мой сын переживет меня.

Владимир ПАЛЬЧИКОВ

* * *

Космонавты,
Пусть сочтет статистика,
Сколько на Земле у вас родни...

А она
Вращается неистово,
Гулкие отсчитывая дни.
Слушают дыханье ясной ноченьки,
Крепко дружат, спорят горячо,
К проходным шагают
Звездолетчики,
Чьих имен не знаем мы еще.

Неужели,
Вымершая, страшная,
Скорбным пеплом медленно пыля,
Завтра
Из космического странствия
Встретит их молчанием Земля?
А она вращается —
Нетленная,
В синих даях, в солнечном тепле.
Длится
век прорыва во вселенную
И борьбы за счастье на Земле.

Дмитрий ГОЛУБКОВ

РАДОСТЬ

Как пышно пахнет улица —
Лесная, непроезжая!
Как клевера июлятся!
Как нежно сено свежее!

По облакам сиятельным,
По травам,
По цветению

Под знаком восклицательным
Плывет стихотворение.

Пою! Ликую! Праздную!
Влюбляюсь в юность-гонщицу!

Простите эту радость мне —
Ведь лето скоро кончится.

РОВЕСНИКУ

Светло дымится Млечный Путь вдали
Голубоватым дымом самокрутки.
Семнадцать оборотов вокруг Земли,
Семнадцать суток пережито в сутки.

О, выше, выше,
Не страшась крутизн, —
Пусть каждый час твой станет вечной датой!
Гореть звездой.
Семнадцать жизней — в жизнь —
Так надо жить. Так век живет двадцатый.

Хулио МАТЕУ

ФАЗАН

О, фазан — золотистые перья!
Краше птиц не найти, хоть убей.
О, фазан — непонятная песня!
Как я в жизни мечтал о тебе!

Как мечтал о тебе я в Испании!
Ни о чем больше думать не мог,
И в мечту я влюбился без памяти,
И ходил я ни жив и ни мертв!
Как мечтал о тебе я в Испании!

Сытый голодом, жизнью тертый,
Я мечтал повстречаться с тобой,

Чтобы в клетке, из дрока сплетенной,
Принести свое счастье домой.

О, фазан, мой фазан, мой фазан —
Крылья цвета домашнего хлеба!
Я не видел тебя, — как нелепо,
Что с тобою судьбу я связал!
Ах, фазан, мой фазан, мой фазан!

Но, как в сказке волшебной, однажды
К озерцу голубому в горах
Ты спустился, сгорая от жажды,
Золотым опереньем горя,

Ты над зеркалом чистым склонился
И застыл, словно пить не хотел,
Словно сам ты на миг усомнился
В несравненной своей красоте.
Ах, фазан, мой фазан, мой фазан!

Где ты прежде гнездился? Откуда
Прилетел и мечту разбудил?
Я боялся уверовать в чудо,
Прижимая то чудо к груди.

Я боялся. . . И все же поверил,
Когда клюв твой вонзился в меня
И захлопали крылья, как веер, —
Понял ты, что на что променял!
Ах, фазан, мой фазан, мой фазан!

Победив, ты поднялся устало
И торжественно скрылся вдали,

Ну, а я, посрамленный, остался
На земле, не имея земли.

О, фазан, мой фазан, мой фазан!
Клюв зеленый и огненный гребень!
Сколько в жизни тобою я грезил!
Мой фазан, если б только ты знал!
Ах, фазан, мой фазан, мой фазан!

Извини меня, добрая птица,
Соглашаюсь, что был я неправ,
Когда счастьем хотел заручиться
Я, чужую свободу поправ.

О, фазан, мой фазан, мой фазан,
Для меня ты был символом счастья!
Снова нам довелось повстречаться
Здесь, в Москве, где я счастье познал.
О, фазан, мой фазан, мой фазан!

Перевел с испанского Евгений Солонович

Одиссей КОРФИАТИС

ИХ МУЗА — СВОБОДА

Положа руку на сердце говорю вам: все мои товарищи по заключению были поэтами-художниками.

Каждый на свой лад складывал песню!

Вон там, в углу, уже несколько месяцев седой матрос мастерит из дерева маленький кораблик с единственной целью — вырезать на его микроскопическом флажке слово МИР.

Чуть поодаль разминает хлебные крошки врач. Из них он вылепит Прометея прикованного. И постарается, чтобы его лицо выражало весь пафос Сопротивления.

Тоненькую проволоку, изогнутую в форме лепестка, оплетает цветным шелком старик садовник. С непередаваемым упорством и искусством плетет он цветы — пока не выйдет из-под его пальцев гвоздика Белоянниса!

Неделями, месяцами ищет в тюремной кухне скульптор говяжью кость без пор. И если ему удастся найти такую кость, он, может быть, целый год просидит над ней, чтобы вырезать белого голубя с распростертыми крыльями.

А вот эта группа молодых людей обтесывает, тихонько напевая, твердый кусок дерева. Они сделают из этого куска вазу и украсят ее изображением спутника.

Ни рояля, ни нот нет в тюрьме у пианиста. Но его искусные пальцы вырежут на куске олеандрового дерева рельефные портреты Маркса, Энгельса и Ленина.

Каждый на свой лад слагает песню! Все! И это не выдуманные люди. Это борцы, по десять, пятнадцать и восемнадцать лет просидев-

шие в тюрьме. Я мог бы назвать их по имени, но таких, как они, не один, не два. С 1945 года и по сегодняшний день через греческие тюрьмы прошло тридцать тысяч борцов за мир и прогресс. Список был бы чересчур длинным!

Когда дует противный ветер и корабли ахейцев не могут отчалить от Авлиды, возникает трагическая необходимость принести в жертву Ифигению. Это история.

Ифигении нашего времени, томящиеся в тюрьмах гречанки-борцы, вот уже восемнадцать лет жертвуют собой, чтоб для их родины подул попутный ветер. И для завтрашней Греции вышивают они на платочках танцующих парней и девушек.

Тюрьма — это совершенно иной мир! Но, несмотря ни на что, это мир.

Здесь у тебя отнимают все. Одного только не могут отнять: мысли и чувств. Мысли здесь устремляются к звездам, а чувства обостряются, как весной!

Все здесь вырастает до размеров величия. Вспоминаю одно утро, когда я увидел товарища по заключению, пчеловода, ухаживающего за своим «палисадником». Цветы в тюрьме были запрещены. Нельзя было даже ветки базилика поставить в консервной банке. Мой товарищ обвязал свою кружку куском мешковины, в мешковину положил вату, а в вату — семена чечевицы. И вокруг обожженной глины поднялся зеленый поясok шириною в палец.

— Знаешь, о чем я думаю? — говорил мне товарищ. — Вот так же когда-нибудь мы окружим вселенную целыми галактиками садов-станций...

Слова эти услышал поэт, и к вечеру у него уже была готова песня о садах, которые заложит в космосе Коммунизм.

Люди, которые даже не подозревали никогда, что носят в глубине души своей песню, здесь, за железными решетками, при свете светлячков до рассвета не спали, сочиняя стихи.

Никогда не забыть мне товарища Лазароса Игнатиадиса, грузчика из пирейского порта. Когда он попал в тюрьму, то едва умел расписаться. Но принялся за учебу. И выучился! Читал Маркса, читал Ленина. По вечерам в камере я объяснял ему непонятные места, а он в порыве благодарности вдохновенно пел мне сложенную им самим песню: «Орлом мне стать хотелось, а стал я соловьем...»

— Хочу написать поэму, — сказал он как-то вечером.

— О чем, Лазарос?

— Да вот о казнях, о товарищах, о героизме, ну как бы объяснить тебе — обо всем! О завтрашнем мире!..

— Это большая тема, Лазарос. Трудная!

— Я знаю... И все-таки хочу написать... Жжет меня, просто из сердца просится, понимаешь?

Мы ужинали в камере, когда за ним пришли. Он поцеловал меня на прощанье, шепнул: «Эх, а поэмы-то я так и не написал!» Потом я узнал, что, стоя под дулами винтовок, Лазарос продекламировал самую прекрасную свою поэму:

— Да здравствует Демократия!

— Да здравствует Свобода!

* * *

Писать стихи в тюрьме! Сколько сражений приходится выдерживать! Прежде всего, битва за бумагу. Белая бумага запрещена. Приходится доставать ее тайком. Еще битва — написанное надо прятать. Пи-

шесть по ночам. К рассвету все надо хорошо спрятать. Я знаю, что многие песни, написанные в ту черную годину массовых расстрелов, были сожжены. Эти песни были оружием в борьбе за свободу. Если бы они попали в руки не знающего пощады врага, их создатели заплатились бы за них жизнью.

..Сядишься писать, а тебя мутит от голода. Надо прожить на сто граммов овощей с шести часов вечера до двенадцати часов следующего дня!..

Сядишься писать, но стон товарища, который бредит в жару на соседней койке, не дает тебе сосредоточиться.

Берешь карандаш, но стук жандармских сапог, раздающийся по тюрьме, — обыск производится четыре раза в месяц, — прогоняет картины, возникшие в твоём воображении.

Сочинишь одну строфу, но вторую не успеваешь написать: выкрикивают имена подлежащих перемещению. Это происходит довольно часто. Тебя перебрасывают из тюрьмы в тюрьму. Так просто, без всякой цели. Обыск при выходе, обыск при входе. Все написанное отбрасывается...

Всё в тюрьме против песни. И в то же время все сеет песню... Песня становится необходимостью. Формой борьбы. Песней разбиваешь наручники. Вырываешься из клещей молчания. Объединяешься с людьми в борьбе Добра со Злом. Превращаешь свой стих в меч. Становишься в первые ряды борьбы за Прогресс мыслей и чувств...

Ничего тебе не оставили. Распяли твою юность. Жерновами пыток размололи твоё здоровье. И мечты твои растерзаны на колючей проволоке, и руки у тебя связаны...

И все-таки в тюрьмах было написано много стихов. Много!

Даже в камере смертника.

Именно в такие минуты написал свою последнюю песню молодой поэт Костас Яннопулос:

В эту ночь в грязной камере
Ожидая я вместе с братьями
Смерть, стоящую перед нами «смирно».
Сверкающая очами Свобода — с нами в ряду.
Одно целое — мы и она.
Моя мечта.

Все отнимают у тебя в тюрьме. Даже жизнь! Но с тобою самое сильное, самое дорогое — Свобода! Именно она — Муза наших распятых товарищей. Сверкающая очами! Их мечта...

Перевела с греческого Т. Кокурина



Сергей ПОДЕЛКОВ

ВСТРЕЧА 1918 ГОДА

Время зимнее над Петроградом,
Войлок туч не прорезать звезде,
Мост Литейный фонарным взглядом
Шарит по льду — по скользкой воде.

Тих патруль. И штыки за плечами.
Где-то контра за шторой двойной...
Ветер вздрагивающий качает
Снег над Выборгской стороной.

Полночь близится. Мга. Небо низко.
Санний полоз пройдет — только хруст.
А в училище артиллерийском —
В бывшем царском — свечение люстр.

В беломраморном актовом зале,
Где недавно кричали «ура»,
На смотрах, замирая, стояли
Верноподданные юнкера, —

Там на звездном паркете впервые
Прачки, токари — нет им числа! —
Мологобойцы и горновые,
Революция их созвала.

На подмостках горящие флаги,
И чтецов и певцов вольный съезд
Балерина, как трепетный дягиль,
И вокруг рассиялся оркестр.

Пирамиду гимнасты возводят,
Клоун жнет рукоплещущий гром,
Старый год за кулисы уходит,
Пулеметные ленты на нем.

Трубы дрогнули. Отсвет металла —
То оркестр приподнялся на миг,
И с волной «Интернационала»
Ленин в зале высоком возник.

След поземки на нем — снег сверкает,
Рядом Крупская — в инее прядь,
Снять пальто — ему — помогают,
Помогают — ей — шаль развязать.

Люди с мест повскакали. Все движется.
Это сердцем лишь можно постичь.

— С Новым годом, товарищи выборжцы!
— С Новым годом, Владимир Ильич!

Как в грозу — ночью — молнии сила
Обнажает окрестность во мгле,
Так и речь его вдруг осветила
Недра будущего на земле.

И привиделось: в залах Россия,
Нет и нет передышки сердцам,
Изнуряющий, как малярия,
Восемнадцатый год... А там —

За штыками, что свалены грудой,
За печалью — в колосьях простор,
Миг — и трактор, народное чудо,
Миг — и хлеба коврига на стол.

О, с какою надеждой вздохнули
Гордо несшие бремя невзгод...
Зал очнулся — и сдвинуты стулья,
Первый танец по кругу идет!

А в буфете — рассказы живые,
Льется чай и пылает камин,
И на севрском фарфоре ржаные
Сухари и глазастый ландрин.

Звон посуды. Огни на эмалях.
Встал матрос, рябоват и плечист.
— Самовар-то в царских медалях,
Он единственный здесь монархист.

Шутке должное воздается,
Шутка в лад, как патрон в стволе.
Ленин держит стакан и смеется,
Так, что влага играет в стекле.

Бесконечно вращение вальса —
Туфель, валенок, бурок, штиблет.
А за окнами снег так и валится,
Патрулей замечается след.

Этот праздник навечно изваян
В нашей памяти. Слышим: поет,
Веселится России хозяин,
Первый раз веселится хозяин,
Взвзавший власть в свои руки — народ.

Юрий ГОРДИЕНКО

* * *

Пахнет грибами тундра,
мхами и красноталом.
Под северным бледным небом —
вода, гранит и вода...
Я еду на юг с товарищем,
с приятелем еду старым.
Мелькают в окне вагона
села и города.

Гипсовый пограничник
буфет стережет на станции.
Гипсовая доярка
маячит у сельсовета.
В пачке и на пуантах
летит над газоном в танце
к оперному театру
гипсовая Джульетта.

Гипсовые Венеры,
гипсовые Гомеры,
гипсовые пионеры,
словно в больничном сне...
Не взявшая полной мерой,
не давшая полной мерой,
рука художника в гипсе
висит на черной тесьме.
Глыбы гранита и мрамора,
обросшие серым ягелем,
его провожают к морю
с каменной тоской...

Я еду на юг со скульптором,
я еду в купе с ваятелем.
Он едет лечиться и держит
коньяк своей левой рукой.

* * *

За Кандалякшу, дальше —
к полюсу
летит «Полярная стрела».
Худые псы
выходят к поезду
из станционного села.

Когда-то
их кормили юколой
и лапы эти берегли.
Их шхуны гордые баюкали,
оставив к югу
край земли.
Бока их вытерты постромками,
на волчьих мордах
след бича...

В купе
беседуют о stronции
два большелобых москвича.
Из фруктов
самые лежалые,
куснув, швыряют за окно.

Но псы,
до всякой пищи жадные,
уже не евшие давно,
обходят их гнилые персики,
подняв хвостов своих нули,
во льдах крешенные,
на пенсии,
бескрайней тундры
короли.

• • •

Василий СУББОТИН

* * *

Гроыханием в небе самом начинаются войны.
Пушек ревом стогорлым у смятых застав.
Порыжевшей пшеницы застыли косматые волны.
По разбитым проселкам — тяжелая пыль на кустах.

От себя самого я июньские ночи гоню...
Он опять и опять обвивает мне ноги —
Тот неубранный хлеб, что горит на корню
На запруженной этой, пропахшей бензином дороге.

* * *

За горизонт уходит борозда.
Она лоснится синевой отвала.
Тугая эта почва никогда
Ни клубня и ни злака не рожала.

Лишь выпускала в небо соколят
И зарастала ковылем по пояс.
Но борозда прорыта. И земля
Открылась, как распахнутая повесть.

* * *

Застенчивая жмурится природа,
От солнца просиявшего светла.
Она подолгу ждет его прихода,
А без него — и жить бы не могла.

Но как в лице меняется в минуту,
Когда оно уходит на глазах, —
Немеет и дрожит, себя закутав,
А утром — вся поднимется в слезах.

Геннадий ХОМУТОВ

ОГОНЬ

А сколько спички стоили,
кто скажет,
У нас в тылу во времена войны?! —
Да их
тогда и не было в продаже,
А значит — спичкам не было цены!
Простые спички —
Нам огонь хранили...
Далекая, военная пора.
И если в доме
печи протопили,
Над жаром колдовали до утра.

Когда ж огонь из дома упустили
И в печке холодела головня,
Тогда
меня к соседке посылали:
«Бери жаровню — принеси огня!»
Мне в жизни видеть приходилось всякое,
Но мысль одну
с тех пор ношу, храня:
Когда в душе моей
Огонь иссякнет, —
Пойду к народу
и займу огня.

Арсений ТАРКОВСКИЙ

ПЕСНЯ

Давно мои ранние годы прошли
По самому краю,
По самому краю родимой земли,
По скошенной мяте, по синему раю.
И я этот рай навсегда потеряю.

Колышется ива на том берегу,
Как белые руки.
Пройти до конца по мосту не могу,
Но лучшего имени влажные звуки
На память я взял при последней разлуке.

Стоит у излуки
И моет в воде свои белые руки,
А я перед ней в неоплатном долгу.
Сказал бы я, кто на поемном лугу
На том берегу
За ивой стоит, как русалка над речкой,
И с пальца на палец бросает колечко...

Майя РУМЯНЦЕВА

СТОЛИЧНЫЕ

Черноземные сапожищи,
крупнопористая кирза...
И опять бунтуют дождищи,
Бездорожьем лихим
грозя.

А нейлоновые накаблучники
По асфальтам где-то стучались.
А теперь, сапоги перекручивая,
В ноги входят
земная
усталость.

Здесь девчонки — не женственны вовсе,
Здесь девчата — сплошное мужество.
Неспроста на кирзе вы
носите

Черноземное
ваше
замужество.

Чтобы так вот,
с любимым,
пешим,

Чтобы рай
в шалашах да в палатках,

Чтобы муж
не нежным,
А лешим
Возвращался,
кляня неполадки.

Чтоб названия не было городу
И дома вырастали под вьюгу.
И о счастье писалось средь холода
Незамужним
столичным
подругам.

Неспроста на кирзе вы
носите
Черноземное это замужество.
Вы мужей беспокойных не бросите,
Горожанки мои,
замужние.

А нейлоновые накаблучники
По асфальтам где-то стучат...
...Сколько ходит столичными улочками
Крепконогих
степных
девчат!

АКТ ДРУЖБЫ

(Витезслав Незвал. „Избранное“)

Прошло уже почти тридцать лет с тех пор, как Богумил Матезиус высказал интересное наблюдение, что вместе с наступлением нацизма стремительно наступал конец эры, когда Берлин был центром издания переводных советских книг. Матезиус настаивал тогда на том, чтоб Чехословакия взяла на себя роль «передатчика культурных ценностей». Он мечтал, чтоб через посредство Чехословакии «советская литература пошла в мир». И действительно, наша страна стала государством, где больше всего переводилась и издавалась советская литература. Но тем не менее роли «передатчика» мы не выполнили. Прогноз Матезиуса и его желание полностью сбылись только в одном: пути наши тесно связаны, и путь нашей литературы в мир лежит только через русский язык и Советский Союз.

Доказательством тому является семисотстраничное русское «Избранное» Витезслава Незвала.

Нам могут возразить, что Незвал одновременно завоевывает и Запад — без помощи русского языка. Ведь особенно интенсивно он проникает во Францию. Но это несерьезное возражение. Да, Незвал проникает и туда, проникает прямо и без посредников. Но разве можно забывать о том, что и здесь ведь катализатором был Советский Союз, грубо говоря, сам факт его существования. Должен был прийти 1945 год и все связанные с ним события, должно было быть проявлено внимание Советского Союза к малым народам, должен был возникнуть мощный интернационал — не только в узкополитическом смысле слова, но интернационал всей прогрессивной культуры, содружество всех сил, поддерживающих жизнь, прогресс и мир...

И вот этот путь Незвала в свет сейчас коронован актом, не имеющим равного в деле издания чешской литературы за границей.

Советское «Избранное» — это рубеж, после которого поэт, в высшей степени чешский, становится окончательно феноменом мировым и интегральной частью мировой литературы.

Ведь наша лирика на редкость богата огромными лирическими талантами. И если в последние годы стали уже достоянием мировой культуры Маха и Неруда, то мы надеемся, что через Незвала и вместе с Незвалом станут известными Врхлицкий и Бржезина, Томан и Дык и, главное, Волькер... Миру есть к чему в нашей поэзии прислушаться.

В советском «Избранном» нас удивляет все: и семьсот страниц, и большой формат, и прекрасная бумага, и большое внимание, уделенное набору и печати, и количество участников.

В этом «Избранном» сосредоточено тридцать два переводчика: среди них самые известные советские поэты Асеев, Симонов, Пастернак, Мартынов, Слуцкий, Сельвинский, а также и поэты, совершенно нам не известные. Результат переводов не везде одинаков, но везде труд переводчиков стимулирован любовью к поэзии и стремлением к совершенству. Ведь тридцать лет назад Незвал был и у нас почти непонятен, а вот пришло время, и мы спрашиваем: насколько переводчики сумели передать его ясность и простоту, его народность, его чарующую мелодию и богатую образность?

Как правило, чем сильнее индивидуальность поэта, тем большие следы он оставляет в переводе. Так у Пастернака Незвал несколько тяжелеет, в нем появляются слова архаические и непривычные. У Асеева приобретает остро обозначенные контуры, ясность и точность. У Мартынова остается полным своей собственной образности, но звучит гораздо серьезнее, менее игриво. Но, как это ни странно, все это действительно Незвал, все это его собственные стороны дарования. Более или менее подчеркнутые. Сначала, когда только берешься читать русское «Избранное», кажется, что он доносится откуда-то издалека, чуть приглушенно. Не сразу распознаешь его голос и его интонации в другом, пусть даже самом близком нам славянском языке. Но как только внимательно прислушаешься, то немедленно встречаешься с местами очень знакомыми, интимно знакомыми. Наш Незвал заговорил теперь по-русски, заговорил по-своему, но так же чисто, как и на своем родном языке!

Русское «Избранное» сознательно ограничивается тем, что у Незвала было всего сильнее, — его поэзией, и демонстрирует ее в огромном разрезе, хронологически, благодаря чему блестяще проявляется и тенденция развития, и единство творчества поэта.

Мы должны даже признать, что этот принцип кажется нам более выразительным и более убедительным для Незвала, чем тот, который был положен в основу чешского «Избранного» Ладиславом Фикаром, составившим той же величины сборник тематически, чтобы подчеркнуть многообразие и полноту каждого незваловского произведения.

Правда, с нашей точки зрения, отделение поэм от лирики, произведенное в советском издании, не характерно для Незвала. Однако мы понимаем, что это более привычно для советского читателя. И здесь прямо нужно говорить об отваге, с которой было составлено «Избранное» Незвала, ибо это дело нелегкое, особенно если учесть, что поэт он и многосторонний и всегда своеобразный.

Советский составитель не отмахнулся ни от каких-либо сторон тематики Незвала, ни от экспериментов, ни даже от формально сложных проблем.

Необходимо сказать еще хотя бы одно слово о серьезном послесловии Н. Николаевой и о восторженном вступительном слове Назыма Хикмета.

«Если бы Незвал жил еще год, он стал бы свидетелем того, как сын Человека приступил к покорению космоса» — так звучит вздох Хикмета. Этот вздох понятен и идет из глубины души. И все-таки Незвал — один из тех, кто успел пролететь через космос человеческой души. А это немало.

С этим астронавтом поэзии знакомятся сейчас и русские читатели — и на редкость часто слышат в нем нотки глубоко русской поэзии, на редкость часто вспоминают о Пушкине... И это братство — через столетия — будет также одним из ключей к сердцам русских читателей.

А оттуда уже дальше в мир.

Перевела с чешского П. Клейнер



Николай СИДОРЕНКО

СТИХИ ИЗ КУРСКА

А. Ф. Балабину

1

Курск на войне почти сгорел,
Но, возрожденный, он моложе.
А я, как видно, постарел,
И это не одно и то же.

Весь день задумчиво брожу,
Где за руку меня водили,
И все никак не нахожу
Домишко, где мы прежде жили.

Весь угол улицы снесло
Снарядами, с проулком вместе
На новой площади светло,
Нет ни канав, ни ржавой жести.

Мне даже не открыли сны:
Мое недельное жилище —
Гостиница — после войны
На старом встала пепелище,

На месте детства моего,
Соседских крыш и голубятен...
Пусть не осталось ничего, —
Мне голос памятного внятн.

Откликнуться я был бы рад,
Но в отдаленье сникли звуки —
И легче горести утрат
И горечь длительной разлуки.

2

Вспорхнули быстрые зорянки
И улетели. Тишина.
Но мне на солнечной полянке
Еще их песенка слышна.

Вспугнул ли я неосторожно,
Идя по лесу напрямиком,
Иль паренек, что звал тревожно
Паром отрывистым гудком?

То ль на пароме, то ль в кабине
Влюбленные вдвоем сейчас.
За облаками дали сини,
И он с нее не сводит глаз.

Простое, ласковое счастье,
Его всю жизнь иные ждут.
Кричи, хоть разорвись на части, —
Паром не скоро подадут...

А может, не было свиданья,
Совсем не здесь и Сейм течет?
Искать не нужно оправданья,
И «было», «не было» не в счет.

Виной березы на полянке,
И свет, подаренный лесам,
И улетевшие зорянки,
Виною и художник сам.

Он вдохновенными часами
Писал, с природой заодно,
И я совсем забыл о раме,
О том, что в раме полотно.

Андрей ДОСТАЛЬ

* * *

Я не знаю,
Что будет концом.
Но если уж
Выйти в небыль —
Так падать навзничь,
Вверх лицом,
Чтоб наглядеться
В небо!

Чтоб, смертной
Засыпаны пересыпью,
Глаза не смотрели
В века, —

А просто —
В пустые,
Перистые,
Далекие облака...

Юрий ПАНКРАТОВ

ЛЕНИН НА ОХОТЕ

Он входит в крестьянскую избу,
Он вешает кепку на гвоздь,
Он видит красавицу иву,
Пробитую светом насквозь.

Здесь воздух прозрачнее ситца —
Над розовым венником рощ,
Как велосипедная спица,
Мелькает искрящийся дождь.

И Ленин смеется счастливо:
Одетая в праздничный звон,
Живая весенняя ива
Плывет за окошком, как сон.

Летит и поет горделиво,
Как птица в седом терему.
Ах, ива, зеленая ива,
Зачем ты приснилась ему?

На фоне космических сосен
Отчетливый профиль вождя
В скупом оформлении сотен
Светящихся капель дождя.

Вдруг вспомнилось — там у обрыва,
На Волге — великой реке,
Стояла такая же ива
С зеленым платочком в руке. . .

Василий ЦВЕЛЕВ

С ВЫСТАВКИ

Золотило солнце смальту
На высоком шпиле,
И по мокрому асфальту
Шины колесили.

Я пытался сделать очерк,
Но, как вы слышали,
У меня корявый почерк,
Я пишу стихами.

И глазею. Ротозею
Слаще апельсина
Из соседского музея
Старая картина.

Тут разгар застывшей битвы,
Там лангуст на блюде.
Мифологией забыты,
Вышли боги в люди.

Вот, прошу взглянуть, коллега,
Здесь, глазам не веря,
Побежали из ковчега
На свободу звери.

Побежали что есть мочи,
И в седом тумане
Только сизый голубочек
На переднем плане.

Вот — художник вдохновенный,
Пьяный и усатый,
И красотка на коленях
Приглашает: «Сватай!»

Потемневшие пейзажи
Зрителям наивным
Я готов прославить даже
Специальным гимном!

После Марса и Венеры
Чрезвычайно мило!
Но, прошу простить, сверх меры
Рифма утомила.

Да, устал, но жалко очень
Уходить из зала,
Тысячи и одной ночи
Для сравнений мало.

800 шедевров — шутка!
Удержать в уме ли?
Но, признаться, модно: жутко,
Как писать умели!

Стойте в очереди, братцы,
Вовремя насели!
Всем желаю вам добраться
До прекрасной цели.

Михаил СКУРАТОВ

СИБИРСКИЙ ГОВОРОК

(услышанный в Дивногорске, на стройке Красноярской ГЭС)

— Охальная ягода нонче в тайге!
— Да чо говорить? — ее там завалимо...
— Подумай-кось, паря!.. не рана б в ноге —
И я б не прошел рясных ягод помимо.

— А мы вот за шишкой кедровой пойдем;
В тайге, бают так, ее сёгоды дивно...
— Мы грузди ломать побежим под дождем.
— А где их ломать-то?.. — Отсюль, брат,
не видно!

— А шибко в тайге распровадилса гнус!
Мошка там скотине глаза настрогала
До крови... И сам от нее я хожу еле гнусь;
От этой нуды расхворалса без мала...

— Да плюнь ты на хворость... Ну прямо
беда, —
Совсем ты стал, паря, у нас дикошарый!
Ты к нам на строительство, парень, айда —
И станешь здоров, станешь бравый да ярый.

А то ты в тайгу, как в берлогу, залез...
Гони от себя дикоплешую дурость.
Иди в Дивногорск, на строительство ГЭС, —
Чего ты упрямишься, экой ты урос!..

Недельку поробь, а в денек выходной
Иди, гулеван, хошь в тайгу колобродить, —
Там в туяс сыпь ягоду, в берестяной, —
Да снова на стройку...
Живи на народе!..

Валентин ЛЕДНЕВ

ЦВЕТЫ

Я тепличных цветов никогда не любил:
Красота их жирна
И тяжел аромат.
Сколько выпито ими живых человеческих сил!
И как в общем-то мало
Они возвращают назад...

И в президиум лезут такие цветы,
И, собою любуясь, лежат на гробах,
И к любовницам льнут под покровом ночной
темноты,

Оставляя пыльцу
На презрительно тонких губах.

Только радость при этом,
Замечено мной,
Те цветы норовит обойти стороной.

Мне
По сердцу цветы наших черствых полей —
Эти цепко стоят и не просят подмоги,
Даже если бушует злодей суховой,
И пытается огнем,
И ломает им тонкие ноги.

Может, выступит ночью
Росинка-слеза,
А наутро —
ни тени от прошлой обиды,
И култышки свои
Не суют нам в глаза
Боевые цветы-инвалиды.

Их за деньги нельзя
Ни продать, ни купить,
Не ищите их там, где торгуют цветами!
Вот такие цветы
Мне не стыдно дарить
Ни любимой,
ни другу,
ни маме.

Мне по сердцу они.
Мне спокойно, легко,
Тихой радостью полнится грудь,
И готов я идти далеко-далеко,
Если эти цветы
устилают мой путь.

Герман ФЛОРОВ

ДРУЖОК

И шелковый ты, и довольный.
В прихожей, у старых калош,
Ты скачешь и руку небольно
Тупыми зубами берешь.
Тебе подстиляется байка
За твой обходительный дар.
Тебя молодая хозяйка
Выводит гулять на бульвар.
Ты ходишь по городу чинно,
С окрестными псами знаком.
Тебя без особой причины
Никто не ударит пинком.
Твоей родословной страницы
Печатами закреплены,
И ты проживаешь в столице,
На зависть собакам страны.
Всегда вдохновенно всклокочен,
Ты лаешь на голос звонка...
Ты пудель отличный!

Но хочешь,
Тебе расскажу про Дружка?..

Под ветром могучим и резким
Румянится кожа сосны.
У лиственниц мягкая шерстка,
Зеленая шерстка весны.
С горы, валуны подвигая,
Летит разъяренный поток...
И прыгает с визгом и лаем
По берегу рыжий щенок.
Юлит, собирается с силой,
Бросается в воду,

и вот

Его подняло, закружило
И вниз по теченью несет.
Несет его, брызгами глушит,

И кажется: миг до беды!
Но мокрые острые уши
Упрямо торчат из воды!
Он режет волну ледяную,
Он злые пороги минует.
Наш берег уже недалек...
— Дружок!

Дружок!

Дружок!.. —

Он выйдет, разлапый и рыжий.
На звонкие крики девчат,
И рыжее солнце оближет
Его с головы и до пят.

А дальше такая картина:
Отряд продолжает поход.
Вода из сапог и ботинок
Фонтанами мутными бьет.
Дружок поспевает за нами
По сопкам,
По тропкам оленьим,
И треплет рюкзак с образцами,
И морду кладет на колени,
И дрогнет в морозных туманах
В то самое время, когда
Ты слышишь, как хлюпает в ваннах,
Как пляшет в клозетах вода.
Когда тыходишь к комоду
Послушать, как мыши скребут,
Холодные, быстрые броды
Дружка на просторы несут...
Холодные, быстрые броды,
Болота с завалом ольхи.
Собаки бездомной породы,
Я вам посвящаю стихи!

Аркадий СИТКОВСКИЙ

ПЕРЕХОД

Табунная степная сторона
В лицо ветрами терпкими дышала:
К полыни душной
Чабреца она

Холодноватый запах примешала.
Мы не дорогой шли,
А целиной —
Встречали дроф

Павел КУДРЯВЦЕВ

ЛЕДОХОД

Я не хочу осенних слез
Лить о моих весенних днях, —
Пусть иней вянущих волос
У всех растает на глазах.

Весна идет! Весна идет!!
А ты хандришь. Какой позор!
Пусть в заблуждение введет
Всех (в смысле возраста) мой взор!

Мне шестьдесят, но в этот день
Мне даже враг мой их не даст:

Моя душа — в цвету сирени!
И соловьем я петь горазд!

Я вижу родину, мой дом
И наш березовый бульвар...
Играет Волга тяжким льдом
И молодит того, кто — стар.

И жизнь бежит, кричит сама:
— Скорей бы первый пароход! —
На голове моей — зима,
А в сердце — волжский ледоход!

Дмитрий БЛЫНСКИЙ

НАШЕ СОЛНЦЕ

Мать-земля,
Далеко-далече
Разметалась ты, горяча.
Я на плечи гляжу, а плечи
Цвета жженого кирпича.

Наше солнце почти в зените.
Жарко так в середине дня, —
Даже тень моя,
Посмотрите,
Скрылась, сгорбившись,
Под меня.

Даже ветер, прогнавший тучи
За Оку, за луга, за лес,
От жары
Под лесную кручу,
Под корягу, видать, залез.

Даже птицы молчат,
Как тени:
Где их свадьбы, их песни, крик?
Знать, от жажды или от лени
Прикусили давно язык.

Ловят солнце в реке коровы,
Зной не могут они простить, —
Выпить реку
С утра готовы,
Только солнце бы
Проглотить.

И пускай даже самый старый
Плечи дуб опустил, зачах,
Солнце,
Бронзовый от загара,
Я несу на своих плечах.

САЛЬВАТОРЕ КВАЗИМОДО ПО-РУССКИ

У этой книги обязывающее название — «Моя страна — Италия». Оно звучит для Сальваторе Квазимодо естественно.

Пою ее народ и даже плач ее,
Приглушенный морским прибоем.
Прозрачно-ясный траур итальянских матерей
Хочу воспеть,
Чтоб славить жизнь Италии!

Здесь собраны стихи из разных книг. «Земля несравненная» — это тоже Италия. И «Жизнь не сон» тоже она. Все стихи — на итальянской земле, над ними — итальянское небо. И в то же время лицо книги дружелюбно повернуто к другим народам и землям. Здесь как бы осуществляется в образах принцип Квазимодо, провозглашенный им в прозе: «Благодаря поэзии одна нация несет другой плоды своей цивилизации».

Русскому читателю знакомы терцины Данте, сонеты Петрарки, терпкая горечь монологов Леопарди. Вольный стих Квазимодо имеет свою не внешнюю, а глубоко внутреннюю дисциплину. Кто думает, что это анархия стиха, тот ошибается. Сам поэт говорит: «Многие века истории человечества были свидетелями ограниченности поэзии, ржавления ее цепей». Квазимодо снимает с металла поэзии ржавчину. Он уважает достижения веков, но не повторяет их, он ищет действенности слова и связи его со временем.

Впервые я прочитал книгу Квазимодо в поезде, который вез меня из Вильнюса в Москву. В Литве я присутствовал на дискуссии поэтов: канонический или вольный стих? Разные поэты решали вопрос по-разному. Но всем хотелось новизны, обновления, которое и есть второе имя поэзии.

Вольный стих у нас еще не привился, не имеет повсеместного хождения, несмотря на шедевры Пушкина и Блока. Мы еще не привыкли к его звучанию и своеобразной его интонированности. Нас все еще не покидает влечение к ритмике, весьма строгой, и рифмовке, довольно постоянной. Но мы приглядываемся к работам и успешным поискам друзей.

На обложке книги Квазимодо «Моя страна — Италия» (художник А. Ф. Билль) изображена роза. Ее окраска совпадает с окраской пламени, бушующего за ней. Шипы розы идут попеременно с колючей проволокой. Я подумал о том, что публицистичность Квазимодо вытекает из его образов, является их естественным следствием.

И еще я подумал: есть тонкость и есть утонченность. У Квазимодо тонкость — это сила проникновения в самую сущность явлений, в душу человеческую. Тонкость еще и в том, что словесного материала — мало, а несет он большую смысловую нагрузку.

Мне по нраву пластика Квазимодо. За реальной деталью я вижу неизмеримость бытия. Иногда это легкое прикосновение карандаша:

В ленивой памяти своей
Хранишь лишь чей-то жест и чей-то слог,
Как птичьей стаи медленный полет
Среди тумана.

Иногда это ярко бьющая в глаза краска. Вот из стихов об отце:

Ты шагал в своей красной шапке,
Жарко пылавшей, как гребень
Сицилийского петуха.

Мне по нраву также и афоризмы Квазимодо. Они возникают, как колодцы, когда идешь по всхолмленной равнине. «Смерть не смерть, когда она бессмертье». Или: «Помните, власть имущие, народом нельзя управлять, не овладев его сердцем».

Сальваторе Квазимодо нигде не кричит. А поэзия его красноречива. За строками книги, как небо за оливами, — жизнь автора и его страны Италии.

Видение итальянской земли встает передо мной, держащим эту книгу на земле русской, московской.

Нина НИКОЛАЕВА

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ СЕЙЧАС 16 ЛЕТ

За последнее время все громче стали звучать голоса, требующие своевременного и широкого знакомства советских читателей с зарубежной поэзией. Необыкновенно возрос интерес к зарубежной поэзии, особенно среди молодежи.

Поэтому особенно нужно приветствовать инициативу Детгиза, начавшего издание серии зарубежной поэзии для шестнадцатилетних. Пусть те, кому сейчас шестнадцать, знакомятся с мировой поэзией без запоздания. Начнем хотя бы с них. И безотлагательно!

В настоящее время вышла только одна книга этой юной серии: «Весны и осени» Юлиана Тувима, вторая — «Варшавские голуби» — сдана в производство, третья — «Преодоление» Иржи Волькера — готовится к печати. В плане редакции также Незвал, Вапцаров, Эминеску и другие.

«Весны и осени» Ю. Тувима — на редкость удачная книжка. Она целиком переведена Давидом Самойловым, который продемонстрировал в ней лучшие свои качества — верность оригиналу, богатство ритмов, рифм и настроений, точность словоупотребления и поэтический накал.

Но прежде всего хочется сказать даже не о переводах, а о составлении, об отборе произведений Тувима. Кстати, этот скромный составитель в выходных данных книги почему-то не указан. А ведь именно составитель «поворачивает» к нам поэта той или иной его стороной. С него первый спрос, ему же и первая хвала.

О Константине Ильдефонсе Галчинском бытовало мнение, что он непроходимо сложен и даже малопонятен. И вот он выходит в Детгизе! Тридцатипяти тысячным тиражом! Разве это не закономерно, разве в этом нет веяния времени? Ведь он же был «непонятен» именно старым поколениям!

У Галчинского, как и у Тувима, поэзия и политика неотделимы. Но именно потому, что в сборнике хорошо представлена лирическая поэзия, потому, что читатель успевает понять нежную и трепетную душу поэта, он и начинает испытывать тот же накал ненависти к врагам

жизни и мира, как сам поэт. Об этом не нужно забывать при составлении поэтических сборников, особенно для молодежи!

Незвал, по идее редакции зарубежной литературы Детгиза, обязательно должен выйти в этой серии с его пьесой «Манон Леско», только, разумеется, в новом переводе (в издании ИЛ этот перевод был не особо удачным).

Мне довелось несколько лет тому назад быть в одной из пражских школ, в школе им. Димитрова, ученики которой за несколько дней до выпускных экзаменов организовали вечер Витезслава Незвала и читали на нем стихи из «Манон Леско». Я не могла удержаться, чтобы не записать их на пленку. Так могли читать только шестнадцатилетние! Да ведь и Манон-то самой было как раз только шестнадцать!

..Мы много говорим и пишем об эстетическом и этическом воспитании молодежи. Надо его активнее осуществлять. И поэтические сборники, издание которых начал Детгиз, призваны сыграть здесь немалую роль.

Еще только одно рабочее соображение. Лучше ли заказывать перевод небольшой книжечки одному поэту или нескольким?

Опыт Тувима и Галчинского показывает, что здесь рецепта быть не может. Тувим прозвучал по-тувимовски у Самойлова, а богатство поэтической палитры Галчинского раскрылось благодаря мастерству нескольких переводчиков: у Ю. Вронского и Л. Мартынова он трогателен, полон любви и заботы о людях, у Самойлова — философски сосредоточен, у А. Голембы — ироничен, у Б. Слуцкого — публицистически страстен и непримирим, у М. Ярмуша — живописен.

Так и впредь. Дело должно решаться в зависимости от характера автора и характера переводчиков.

А характер серии нам ясен. Замечательная инициатива!

Новелла МАТВЕЕВА

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

С. Я. Маршаку

Я зайчик солнечный, спующий
По занавескам в тишине.
Живой,
По-заячьи жующий
Цветы обоев на стене.
Рождюсь я в оконной раме,
В слоистом отблеске стекла,
Где рюмок радужные грани,
Где тают зеркала,
В настороженном песьем ухе,
 В листе плюща,
 В сухом крыле
 У монотонно-звучной мухи.
Рождюсь я...
В рассветной мгле,
В пыли дорожной,

В отпечатках
Волнистых шин;
 В сыром лесу,
В бездонных дуплах,
 В темных складках
Фиалок, прячущих росу.
На грядках стрелчатого лука,
Насквозь пронзившего зарю.
Из полумрака,
 Полузвука
Рождюсь я — и говорю:
— Я зайчик солнечный, дразнящий.
И если кинусь я бежать, —
Напрасно зайчик настоящий
Меня старается догнать.
По маслянистым кольцам дыма,

По крышам, шпалам, парусам

Бегу —

Привязанный незримо
Лучом восхода к небесам.

И замедляюсь только к ночи,

Когда смежается восток,

Когда становится короче

Луча ослабший поводок.

И тени —

Черные собаки —

Все чаще дышат за спиной,

Все удлиняются во мраке,

Все шибче гонятся за мной.

И должен я остановиться

И умереть в конце пути,

Чтобы наутро —

вновь родиться

И нараспев произнести:

— Я зайчик солнечный,

блестящий,

Я — неба плоть,

я — солнца кровь.

И там, где зайчик

настоящий

Крадет капусту и морковь,

Плута

от изгороди жесткой

Хозяин гонит что есть

сил,

И красит яблони известкой,

Чтобы кору не прокусил,

И ставит пугало для

зайца...

А вот меня — наоборот,

Меня и в сад зовет

хозяйка

И приглашает в огород, —

Цела морковь,

жива капуста,

В росинках — яблоня блестит.

И нет ни чавканья,

ни хруста.

Где зайчик солнечный

гостит.

Я не беру,

не отнимаю:

Я отдаю,

Я отдаю,

Я всех люблю,

Всех понимаю,

Для всех танцую,

Всем пою.

Я зайчик солнечный,

дрожащий —

Но дрожь — от бойкости моя,

Тогда как зайчик

настоящий

Дрожит от близости

ружья.

Но страх беднягу не спасает;

Сверкнет охотничий заряд —

И в зимнем поле погибает

Мой осмотрительный собрат.

А я — в самом ружейном дуле

Могу отплясывать, скользя.

А я — сажусь на кончик пули,

Но застрелить меня — нельзя.

Я зайчик вечный,

вездесущий,

Неистребимый, как никто.

Свое бессмертие несущий

И добродушно

и легко.

И если зимними ветрами

Тебя невзгоды обдадут, —

Я появлюсь в оконной раме:

— Я зайчик солнечный!

Я тут!

СЛОНИКИ

Маугли

в странах холодных

Встретил слонов накоمودных

И состраданьем проникся

К этим созданьям из гипса.

— Что это с вами,

с моими слонами? —

Маугли крикнул в печали.

— Дай нам дорогу! Не стой перед нами! —

Хором слоны отвечали.

Маугли в странах холодных

Встретил слонов накоمودных

И состраданьем проникся

К этим созданьям из гипса.

— Что это с вами, моими слонами? —

Маугли крикнул в печали.

Хором подумав: «Ой! Что это с нами?!»,

Хором слоны промолчали.

Николай САВОСТИН

ПРОЩАНИЕ С ТАЙГОЙ

Мой угол таежный,
Прощай! Я несу
С собой что возможно —
Всю эту красу.

Запомню я свежий
Ледок на заре,
Клок шерсти медвежьей
На рыжей коре,

Брусничник упругий,
Ночные костры
И птиц, что в испуге
Взлетают, как взрыв,

Крикливые пилы,
Да запах щепы,
Да грохот тротила
У дикой тропы,

Любую травинку
До дальних границ,
Любую хвоинку
Зеленых ресниц,

Бараков-временок
Занозистый быт,
Забывших землянок,
Печальных на вид.

Веселые были...
Ах, угол родной,
Мы жили да были
Надеждой одной:

Чтоб сделались тропы
Пошире дорог,
Чтоб ярче Европы
Ты свет свой зажег!

РОВЕСНИК

С годами молодеет Ленин,
Живя в глуби людских сердец:
Сперва для новых поколений
Он дедушка, потом отец,

Потом товарищ и ровесник,
С которым делишь все как есть:
И слезы горькие и песни,
И славу добрую и честь!

Сергей НАРОВЧАТОВ

АТЛАНТИДА

Толщи вод угрюмо сохранили
Память об исчезнувшей земле
В десятитысячелетнем иле,
В десятитысячелетней мгле.

Тишина слепая и немая,
В ней сквозят теченья наугад
И, лениво тину поднимая,
Водоросли тихо шевелят.

Лишь слегка разрежены потемки,
Где поверхность сразу стала дном,
Там фосфоресцируют обломки
Синеватым мертвенным огнем.

В гневе незапамятного года
Твердь разверзла огненную грудь,

И у человеческого рода
Оборвался начатый здесь путь.

Ничего земле не завещала
Бессловесная морская гладь,
Найденные ощупью начала
Приходилось заново искать.

Там много не было решенья,
Не пойдешь противу естества,
Мы же сами силы разрушенья
Разбудили в недрах вещества.

Не лови ненужную подсказку,
Есть одна-единственная нить,
Раз уж мы придумали завязку,
То развязку сможем изменить.

Виктор БОКОВ

* * *

Я не мог бы жить на островах!
Мне морских просторов будет мало,
Надо, чтобы с поля подувало,
Чтобы ветерок звенел в овсах.

Надо, чтобы где-то под Медынью
Кто-то на лугу косу точил,
Надо, чтобы с горькою полынью
Ветер с поля песню приносил.

Надо, чтобы ноги в пашню вязли
И гянулись руки к землякам,
Надо, чтоб колеса черной грязью
Били по ногам и по рукам.

Может, это и не очень правильно —
Так извечным бытом дорожить,
Только сердце мне такое вставлено, —
Русское оно! И мне с ним жить!

ДАРЬЯ

Девочку назвали — Дарья.
Дедушка просил об этом,
Бабушка того хотела.
Молодая мать сияла:
— Дайте Дашеньку скорее! —
Молодой отец сердился,
Целый день ходил не в духе:
— Дарья. . . что это такое?!
Дарья! . . . что это за имя?! —
Теща зятя устыжала:
— Полно! Чем ты недоволен?
Дарья — это дар природы,

Это лучше, чем Светлана,
Тверже, проще и серьезней.
Вырастим девчонку нашу,
Выдадим за космонавта,
Унесет он «Дарья» имя
В межпланетные высоты! . . .
— Разве только что в высоты! —
Потихоньку зять сдавался
И улыбку в фикус прятал,
Потому что тесть заметил,
Что у Даши нос папаши!

КОВЫЛЬ

Он стоял на обочине,
Серебристо-рябой.
А его то и дело рабочие
Сминали ногой.

Он следил за колосьями,
Каждый шорох ловил.
А его то и дело колесами
Каждый трактор давил.

Как он истово кланялся
Пшенице степной:
— Государыня! Радуйся,
Простор этот — твой!

Он кричал: — Землю заняли
Под сплошные хлеба.

Был в степи я хозяином,
Стал я хуже раба!

Солнце краешком чалило,
Двигалась ночь.
Как она опечалила:
— Не могу вам помочь!

Жался он, жалко ежился,
Доходило до слез:
— Ах, зачем я размножился,
Ах, зачем я возрос?!

Над степными пространствами,
Без кнутов и плетей,
Гнали электростанции
Тьму веков из степей.

ПУШКИН И МАЯКОВСКИЙ

В полночь в небе московском
Звонкая синева. . .
Пушкин и Маяковский
Как братья и как сыновья.

Мать у них —
Молодая Россия.
Ни морщинки в лице.
Старшего образовала,
Младшего не отдавала,
Не отдавала в лицей.

Не отдавала она, как знала,
Что младшему будет другая судьба:
Митинг с броневика у вокзала,
Выкрик улиц:
— Бей в барабан!

Младшему
Революция стала лицом.
Взятие Зимнего.
Порох борьбы.
Огонь возмущенья,
Прямой и прицельный.
Песня рабочих:
«Мы не рабы!»

Александр Сергееч!
Владим Владимыч!
Ваши вершины снежно горды.
Вы нам оба необходимы,
Как хлеб, как глоток
Ежедневной воды.

Пусть вас пытается кто-то поссорить,
Кого-то из вас с пьедестала прогнать,
Не беспокойтесь — мы не позволим,
Этому никогда не бывать!

Великолепны над вами рассветы,
О вашу бронзу звенит ветерок,
И уходящие в космос ракеты
Не могут без вас и без ваших строк!

ИСТОКИ

Я стою перед Спасскою башней.
Бьют куранты.
Толпится народ.
И в часах ему слышен бесстрашный
Нашей,
Новой истории ход.

Где истоки ее?
Где начало?
Чья приложена чудо-рука?
С Красной площади, как с причала,
Я плыву сквозь седые века.

Для меня из глухого забвенья,
Из далеких, далеких сторон
Вяжет память железные звенья,
Связь минувших и наших времен.

Русь бревенчата, глинобитна,
Пеша, лапотна и пыльна,
Ей бездомно, ей горько, несытно,
Под пятою тяжелой она.

Гнут ее, не жалея, татары,
Травят всяческие псары,
Грабят собственные бояры,
Притесняют чужие цари.

Но не все раздаваться стону,
Выю гнуть волгарю-бурлаку,

Раскатилось по простору:
— Притеснителей в пётлю! В пеньку!

Ветром разинским,
Ветром крамольным
Голытьбе захотелось хмелеть,
Как ударила по колокольням
Молодая мятежная медь.

— Прочь тенеты!
— Снимайте запреты! —
Русь воскликнула радостным ртом.
Дайте время, напишет декреты,
Герб поднимет с крестьянским серпом.

Молот вызволит из неволи,
Из стальных и паучьих оков.
Огнедышащим залпом «Авроры»
Сбросит на землю царских орлов.

Дайте время!
А дальше известно,
Что и как, для кого и зачем.
Революция — главная песня,
Коммунисты — поэма поэм.

Я стою перед башнею древней,
И плыву, и плыву сквозь века.
И летит, как жар-птица вселенной,
Вдохновенное знамя с древка!

• • •

Маркос АНА

ПИСЬМО РЕДКОЛЛЕГИИ «ДНЯ ПОЭЗИИ»

С той минуты, когда я вышел из тюрьмы, в которой провел 23 года своей жизни, меня обуревали самые разнообразные чувства. Но одно из самых волнующих вызвано тем, что я увидел в „Дне поэзии“ мои стихи, напечатанные по-русски, то есть на языке социализма.

От всего сердца, переполненного благодарностью и гордостью, приветствую в этот Великий день Мира, который соединил нас здесь в Москве, ваш большой сборник и советских читателей.

Маркос Ана

*Москва. Гостиница «Украина»
12 июля 1962 года*

НАСЛЕДСТВО

В. А. КАТАНЯН

РИСУНОК МАЯКОВСКОГО

Две страницы воспоминаний

Мы пришли с Маяковским в Дом Герцена на заседание исполбюро Федерации.

Мы — это только что образовавшаяся группа РЕФ (Революционный фронт искусств).

В ту пору особенно запальчиво кидались на Маяковского и РЕФ конструктивисты.

Впрочем, сидящий против нас за длинным красным столом поэт-конструктивист Владимир Луговской никаких агрессивных намерений не проявлял. Мне казалось даже, что из-под своих неправдоподобных бровей он поглядывал на Маяковского дружелюбно и заинтересованно. А когда Маяковский вдруг стал набрасывать его портрет на клочке бумаги, кидая на него сверлящие, ощупывающие и отсутствующие взгляды художника, Луговской покраснел и заволновался.

Председательствовал В. А. Сутырин. Заседающие выступали, возражали, соглашались, вносили предложения. Вопрос за вопросом...



Скажу по совести — совершенно не помню, о чем шла речь, что за чем и что к чему. И сохранившиеся отрывочные записи Маяковского, сделанные на обороте наброска с Луговского, ничем помочь не могут.

*«Неприличная... [кто? что?]
Нигде, ни в одной газете не было [что?]
Хлестнуть, ударить... [кого?]
Изругал... [?]
Уголовщина... [?]
Мокрое место от Пильняка...
Не читают...
Перечитывают Пушкина...
Библиография...»*

Кто это говорил? По какому поводу?

Маяковский был и миролюбив, терпелив. Он подавал добродушные реплики, подсказывал оратору забытое слово, беззлобно шутил, вставлял отдельные замечания, подбадривал мямлящих. Все это в безукоризненном парламентарном стиле.

Курил не переставая...

Потом он заскучал. Откинулся на стуле, руку перекинул за моей спиной и замолчал. Стал рисовать Луговского (сколько можно рисовать Луговского?), перевернул листок и снова стал записывать по ходу разговоров:

*«Работать некому...
Лунач. и Фадеев.
Общеполит. значение.
Литстраница.
Не запомнится.
Зачем стихи?
Снивелировали.
О выступлении Рефа.
Об устраивании группы...»*

Заседание шло своим ходом. И вдруг о чем-то громко заспорили, и кто-то спросил:

— А кворум у нас есть?

Начали спорить о кворуме. Вопрос совсем не простой — по уставу три основные организации — ВАПП, ВОКП (крестьянские писатели) и Всероссийский союз писателей имели по 7 голосов и право вето на все решения Федерации. Остальные — по 3—5 голосов и без права вето... (Нечто вроде нынешнего Совета Безопасности.) И вот на переключке обнаруживается, что не хватает крестьянских голосов! В начале заседания был Иван Батрак, баснописец, представлявший крестьянских писателей, да куда-то смылся...

На том и кончилось это заседание...

На Страстной, у памятника Пушкину, Маяковский увидел Сутырина и набросился на него:

— Загубил вечер! Прекрасный, изумительный вечер взяли и выбросили псу под хвост, выкинули к чертовой бабушке! Целый вечер!.. Пропал! Испарился! Сгинул! Из рук ушел!..

Сутырин пробовал отшутиться:

— Что же в нем хорошего? Дождь идет...

Но Маяковский не слушал. Он распалялся все больше и больше, вспоминая свое бесцельное томление на заседании. «Уж лучше было убить его в дурачки, в глупейшие три листика!..» С непобедимой настойчивостью, памятной всем, кто его знал, он повторял без конца образ потерянного, выкинутого псу под хвост, бессмысленно убитого вечера, заостряя и огрубляя, варьируя уничтожительные эпитеты до самого низкого, самого грубого, самого ругательного.

— Растлили! ... Снивелировали... Унасекомили!..

Сутырин почти готов был обидеться. Не зная дальнего прицела Маяковского, не понимая, почему таким изысканным парламентарием просидел Маяковский все заседание, он не мог понять и его ярости. Для него это было обычное заседание, на котором, правда, не удалось полностью исчерпать повестку... Что же особенного?

Мы распрощались и разошлись.

Я видел, как под морозящим дождем Маяковский быстро пересек площадь по диагонали и углубился в подъезд, на котором было написано: «Литературно-художественный кружок». Там, верно, он спустился в подвал и с восторгом бросил огрызок этого злополучного вечера на зеленый стол, по которому бегали белые шары...

● ● ●

НОВОЕ О ЕСЕНИНЕ

ЕЩЕ РАЗ О ГИППИУС И МЕРЕЖКОВСКОМ

В октябре 1924 года в статье, написанной в связи со смертью Валерия Брюсова, Есенин писал:

«...Умер Брюсов. Эта весть больна и тяжела особенно для поэтов...»

Большой мастер, крупный поэт, он внес в затхлую жизнь после шестидесятников и девяностых струю свежей и новой формы. Лучше было бы услышать о смерти Гиппиус и Мережковского, чем видеть в газете эту траурную рамку о Брюсове.

Не слишком ли «жесток» был поэт в своих суждениях? Нет! Он хорошо был знаком с иезуитской повадкой своих «старых знакомых» — З. Гиппиус и Д. Мережковского, которые в годы революции бежали из России и злобно клеветали на восставший народ в белоэмигрантской прессе.

Есенину довелось повстречаться с ними еще в 1915—1916 годах в Петрограде. В те годы они не раз пытались заразить ядом мистики есенинский талант, подняв сенсационный шум о «земляных» стихах поэта из Рязани, чуждого каких-либо литературных традиций, современной культуры и образованности. Они «угощали» стихами «рязанского Леля» завсегдатаев своих салонов. Это их прежде всего имел в виду Горький, когда писал, что город набросился на Есенина, как обжора набрасывается в январе месяце на землянику. Чувствовал, понимал ли тогда молодой поэт всю фальшь их восторженных «ахов» и «охов», подноготную суть их писаний и публичных высказываний о нем, наконец, их барски-снихождительный тон по отношению к нему? Да! И к тому же очень скоро их «раскусил», относясь к ним в душе с презрением. Обо всем этом мы узнаем из недавно обнаруженного нами письма Есенина.

В письме, о котором идет речь, Есенин объясняет одному из молодых московских поэтов, почему он вынужден был вторично напечатать некоторые из своих стихотворений. На этот раз в одном из петроградских литературных журналов.

«Я знал, — пишет Есенин, — что перепечатка стихов — немного нечестность, но в то время (речь идет о первом приезде поэта в Петроград в марте 1915 года. — Ю. П.) я голодал, как, может быть, никогда, мне приходилось питаться на 3—2 коп. Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда Мережковские, Гиппиус и Философовы открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог не перепечатать стихи... Я был горд в своем скитании. То, что мне предлагали, я отпихивал. Я имел право просто взять любого из них за горло и взять просто сколько мне нужно из их кошельков. Но я презирал их и с деньгами, и со всем, что в них есть, и считал поганым прикоснуться до них. Поэтому решил перепечатать просто стихи старые, которые для них все равно были неизвестны».

Письмо было отправлено Есениным своему московскому адресату, когда он уже был призван на военную службу. Датировано оно рукой поэта: «12 августа 1916 г.». В этот период и позднее, в октябре — ноябре 1916 года, поэт продолжал испытывать материальные затруднения. Вот что он писал тогда издателю своей первой книги, «Радуница», М. В. Аверьянову:

«Дорогой Михаил Васильевич! Положение мое скверное. Хожу обтрепанный, голодный как волк, а кругом все подтягивают. Сапоги каши просят; требуют, чтоб был как зеркало, но совсем почти невозможно. Будьте, Михаил Васильевич, столь добры, выручите из беды, пришлите рублей 35. Впредь буду обязан вам «Голубенью»¹. . .

Думаю, что я не обижу моим обращением Вас, но я всегда почему-то именно надеялся на эту сторону. Потом даже был разговор когда-то при выпуске «Радуницы», что, когда книга разоидется. — 50 р. добавочных. Положим, книга не разошлась, но я все-таки к Вам обращаюсь и надеюсь».

Вскоре после этого, во второй половине ноября 1916 года, Есенин в письме писателю И. И. Ясинскому рассказывает о своих невзгодах и заботах:

«Дорогой Иероним Иеронимович!

Очень хотелось бы поговорить с Вами, но совсем закабалили солдатскими узамы, так что и вырваться не могу. Сейчас готовлю книгу вечерами для печатания. Но прежде хотелось бы провести ее по журналам. Будьте добры, Иероним Иеронимович, не откажите сообщить о судьбе тех моих стихов, которые я Вам дал. . . Мне сейчас очень важно заработать лишнюю десятку для семьи, которая по болезни отца чуть не голодает.

*Любящий и почитающий
Вас Сергей Есенин».*

Испытывая трудности, Есенин, как мы видим, ищет в литературной среде поддержки в одном: в публикации новых стихов, выпуске своих книг. И далеко не так безоблачно-идиллически складывалась жизнь поэта в Петрограде.

ТОВАРИЩАМ ПО ПОЭТИЧЕСКОМУ ЦЕХУ

Среди писем Есенина товарищам по поэтическому цеху сохранилось несколько, адресованных талантливому русскому поэту Александру Ширяевцу. К нему Есенин всегда относился дружески. Но это не помешало Есенину высказать Ширяевцу довольно резкое суждение о некоторых его стихах.

«Пишешь ты, — замечает Есенин в письме от 26 июня 1920 года, — очень много зряшного, особенно не нравятся мне твои стихи о Востоке. Разве ты настолько. . . мало чувствуешь в себе приток своих родных почвенных сил?

Потом, брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с ее несуществующими китежами и глупыми старухами. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что ж нюхать эти гнилые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого пахнет, а тебе не стоит». (Автограф письма хранится у П. И. Суслина.)

¹ «Голубень» — название второго сборника стихов поэта, который был издан впервые только в 1918 году, второе издание — в 1920 году.

Есенин интересовался не только творчеством признанных поэтов, но и стихами литературной молодежи. Одно из своих последних писем в декабре 1925 года Есенин отправил в город Николаев начинающему поэту Якову Цейтлину. Последний рассказывает, что примерно в июне 1925 года, «по настоянию многих и многих поклонников творчества Сергея Александровича Есенина, мной было отправлено в адрес журнала «Прожектор» письмо С. А. Есенину. Долго не получал ответа и считал, что его не получат веками. Ибо слава уж такая ходила вокруг его имени, что где он — С. А. Есенин — заинтересуется парнем из провинции, да еще совершенно незнакомым! Но Сергей Александрович, как истинный поэт, не мог не ответить». Публикуем письмо Есенина, которое он отправил адресату 13 декабря 1925 года, за две недели до смерти. (Автограф письма хранится в архиве С. А. Толстой-Есениной.)

«Дорогой товарищ Цейтлин, спасибо Вам за письмо. Жаль только то, что оно застало меня оч[ень] поздно. Я получил его только вчера, 12.XII.25 г. По-видимому, оно провалялось у кого-нибудь в кармане из «прожекторцев», ибо поношено и вскрыто. Я очень рад и счастлив тем, что мои стихи находят отклик среди николаевцев. Книжки я постараюсь Вам прислать, как только выйду из санатория, в котором поправляю свое расшатанное здоровье. Из стихов мне Ваших понравилась вещь о голубятне и паре голубей. Вот если б только поправили перебойную строку и неряшливую «ты мне будешь помощником хошь», я бы мог его отдать в тот же «Прожектор».

Дарование у Вас безусловное, теплое и подкупающее простотой. Только не упускайте чувств, но и строго следите за расстановкой слов. Не берите и не пользуйтесь избитых выражений. Их можно брать и включать после большой школы, тогда в умелой рамке, в руках умелого мастера они выглядят по-другому. Избегайте шатких, зыблемых слов и больше всего следите за правильностью ударений. Это оч[ень] нехорошо, что Вы пишете б ы л ь вместо б ы л и. Желаю вам успеха как в стихах, так и в жизни и с удовольствием отвечу Вам, если сочтете это нужным себе. Жму Вашу руку.

Сергей Есенин

ЕСЕНИН ПИШЕТ КИНОСЦЕНАРИЙ

Сохранился автограф киносценария «Зовущие зори», большая часть которого написана рукой Есенина. Этот факт долгое время оставался неизвестным. Нам удалось установить, когда и при каких обстоятельствах создавался киносценарий «Зовущие зори». Написан он Есениным в содружестве с поэтами М. Герасимовым, С. Клычковым и Н. Павлович осенью 1918 года и посвящен октябрьским событиям в Москве. «Все мы, — рассказывает соавтор Есенина Н. А. Павлович, — были очень разными, но все мы были молодыми, искренними, пламенно и романтически принимали революцию, — не жили, а летели, отдаваясь ее вихрю. Споря о частностях, все мы сходились на том, что начинается новая мировая эра, которая несет преобразование (это было любимое слово Есенина) всему — и государственности, и общественной жизни, и семье, и искусству, и литературе.

Материалом для «Зовущих зорь» послужил и московский «Пролеткульт», и наши действительные разговоры и утопические мечтания, и прежде всего сама эпоха, когда бои в Кремле были вчерашними, совсем свежими воспоминаниями».

Четыре части сценария — «Канун Октябрьской революции», «Преобразование», «Пролеткульт», «На фронт мировой революции» — долж-

ны были, по замыслу авторов, отразить важнейшие революционные события.

Авторы сценария стремились показать революционное преобразование России прежде всего через судьбы людей.

Центральное место в сценарии занимает образ большевика Сергея Назарова. Рабочий, участник революции 1905 года, в период реакции он находился в политической эмиграции. После февральских дней вернулся на родину и с головой ушел в революционную работу.

Действие сценария многопланово. Из квартиры в рабочем квартале Москвы оно переносится на баррикады; из Кремля, где заседали белогвардейцы, — в квартиру офицера Рыбенцева; из Московского Совета — в район контрреволюционного мятежа; с первомайской демонстрации — в московский «Пролеткульт»; из коммуны-общегития — в один из отрядов Красной Армии.

Во второй и третьей частях предусматривалось включение документальной кинохроники о боевой жизни царицынского, южного, дутовского фронтов, первомайской демонстрации 1918 года в Москве.

В построении сюжета сценария, в обрисовке персонажей, в отдельных эпизодах еще много наивного и художественно несовершенного. Иллюстративность, схематизм решения октябрьской темы очевидны. Но надо иметь в виду, что в 1918—1920 годах наша кинодраматургия делала первые шаги.

Возникает вопрос: был ли этот сценарий случайным для Есенина? «Едва ли», — замечает по этому поводу Н. А. Павлович. Она же указывает, что, конечно, «Есенин не мог не видеть недостатков нашего незрелого детища, но он своей рукой переписывает большую часть чистового экземпляра сценария, не отрекаясь от него, желая довести до печати».

Николай Сардановский, близко знавший Есенина, вспоминает, что «одно время Есенин носился с идеей написать сценарий для кино. Мне кажется, сценарий им был написан, но безрезультатно». Имел ли в виду Н. Сардановский сценарий «Зовущие зори», или, возможно, Есениным был написан еще один сценарий, сказать трудно. Нужны новые поиски и исследования. Факт активного участия поэта в создании октябрьского киносценария в первые годы революции знаменателен.

Когда в 1922 году Есенин приехал в Берлин и одна из газет пожелала узнать, как он относится к тому, что свершилось на его родине в 1917 году, поэт с гордостью заявил: «Я люблю Россию. Она не признает никакой иной власти, кроме советской. Только за границей я понял совершенно ясно, как велика заслуга русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства». (Подробный материал о сценарии «Зовущие зори» опубликован мной и Н. А. Павлович в альманахе «Литературная Рязань» № 2. Там же напечатан текст сценария.)

МЕЧТА О ЖУРНАЛЕ

В последние годы жизни Есенин мечтал создать свой журнал. «Хочу организовать журнал. Буду издавать журнал. Буду работать, как Некрасов», — говорил Есенин осенью 1923 года. В начале 1925 года Есенин вновь возвращается к этой мысли.

«В первой половине марта, — вспоминает поэт В. Наседкин, — Есенин заговорил об издании своего альманаха. Вместе составляли план. Часами придумывали название и, наконец, придумали:

- Новая пашня!
- Суриковщина.
- Загорье?
- Почему не Заречье?

— Стремнины?
— Не годится.
— Поляне.
— По-ля-не.. Это, кажется, хорошо... Только... вспоминаются древяне, кривичи.

Остановились на «Полянах». На другой день о плане сообщили Вс. Иванову. Поговорили еще. Редакция: С. Есенин, Вс. Иванов, Ив. Касаткин и я — с дополнительными обязанностями секретаря.

Альманах выходит 2—3 раза в год с отделами прозы, стихов и критики. Прозаиков собирали долго. По замыслу Есенина, альманах должен стать вехой современной литературы, с некоторой ориентацией на деревню... Пошли в Госиздат к тов. Накорякову. «Основной докладчик» — Есенин».

Вскоре после этого Есенин направил следующее письмо в Госиздат (печатается впервые).

«Тов. Накоряков! Я уезжаю на Кавказ, — возможно, надолго. Дело с альманахом «Поляне» представляю себе так: сейчас набирается материал, но первый ударный № издается в начале сентября. За это время набирается попутно материал и для 2-го номера. Полагаю, что в этом году больше двух №№ издать не удастся.

Необходимым же условием начала работы считаю немедленную оплату принятого и процензуренного материала. Быть может, было бы лучше на редакцию сразу перевести тысячи две рублей. Кроме того, для ведения редакционных дел альманаха необходимо закрепить одного человека с соответствующей оплатой по должности заведующего редакцией и секретаря альманаха. На эту работу редакционной коллегией представляется тов. Наседкин, с которым я буду поддерживать связь с Кавказа.

Редколлегия окончательно сконструирована в таком виде: Вс. Иванов, Пав. Радимов и я. Список ближайших сотрудников будет представлен Вс. Ивановым или Наседкиным.

Уезжая, надеюсь, что Вы окажете всемерное содействие несомненно большому и культурному делу.

С приветом С. Есенин.

27.III.25 г.»

На письме — резолюция: «В июле, с оплатой в июль и август, можно принять один сборник без обязательств продолжать и в зависимости от конкретного представленного материала. Предложение интересное, и можно и нужно держать в орбите внимания. Накоряков. 18.V.25 г.»

Издание альманаха «Поляне» не состоялось. Но Есенин не отказался от осуществления своего плана и, как отмечает В. Наседкин, «в конце осени... опять гадал о своем журнале». Это была его последняя осень.



НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ ВЕЛЕМИРА ХЛЕБНИКОВА

Велемир Хлебников давно заслужил право занять свое почетное место в ряду советских поэтов первых лет Великой Октябрьской революции. Подобно Владимиру Маяковскому, Николаю Асееву, Василию Каменскому, чей поэтический путь начался еще в предгрозовые годы, он сразу же безоговорочно стал на сторону революции.

Путь Хлебникова к пролетарской революции, к созданию произведений, свободных от футуристической зауми, от формалистического экспериментаторства, был нелегким. Поэт магического волхвования над словом, филологического «словотворчества» и «корнесловия», автор нашедших в свое время «Смехачей», дерзостный участник «Пощечины общественному вкусу», в которой совместно с Маяковским и другими поэтами-футуристами выступал против тогдашней эстетской и упадочно-мещанской поэзии, он решительно перестроил свою лиру.

В его поэзию влились голоса революции, она стала понятной, наполнилась пламенным кипением героических лет гражданской войны, борьбы за победу нового общественного строя.

«Ночь в окопе», «Ночь перед Советами», «Настоящее», «Невольничий берег», «Ладомир», «Уструг Разина» рождены были в горниле революции, когда в огне и буре грозных событий совершался величайший перелом в мировой истории, в муках рождалась новая эпоха.

К Октябрьской революции Хлебников пришел через отрицание империалистической бойни 1914—1917 годов. События империалистической войны внушили ему страстную ненависть и гневное презрение к капиталистическому строю, порождавшему эти войны. Он сердцем понял правду революции, которую провозгласил В. И. Ленин, сказав, что диктатура пролетариата избавит человечество от ига капитализма и от войн (Сочинения, т. 28, стр. 349).

Хлебников еще в годы первой империалистической войны выступал с гневным протестом против войн, написав антивоенную поэму «Война в мышеловке».

Величаво идемте к Войне Великанше,
Что волосы чешет свои от трупья.
Воскликнемте смело, смело, как раньше:
Мамонт наглый, жди копыя! —

так он писал в этой поэме.

В стихотворении «Пали цари, но гордо стояли утесы войны...» Хлебников продолжает эту же тему, свой протест против войны. Оно написано в 1920 году и направлено против Милюкова и Временного буржуазного правительства, пытавшегося продолжать империалистическую политику царизма. Это стихотворение, вероятно, являлось фрагментом большого замысла (возможно, «Зангези»), посвященного Октябрьской революции. Оно проникнуто ненавистью к «чугунному богу войны», пониманием великого перелома мировых судеб, совершившегося под водительством Ленина.

Напечатанное ниже стихотворение взято из «гроссбуха» Хлебникова, в котором он на протяжении 1917—1920 годов записывал свои произведения.

Велемир ХЛЕБНИКОВ

* * *

Пали цари, но гордо стояли утесы войны,
Дикие бреды войны до победы.
Въелось железо человеку по кости,
Был установлен праздник жестокости.
Пушки отдыхали лишь по воскресеньям,
Бросить окопы было спасением.
Выло железо ночами,
Краснело лучами.
Войска мертвецов идут парадно в ногу.
Пушки молились чугунному богу.
В самый разгар кулаков
Клялся быть верным войне Милюков.
На франки и доллары русские жизни расценены,
Раненый бился на куче соломы.
Через три в пятой ¹ пришли Исполкомы,
Через три в пятой — правительство Ленина.
Новый судьбы перелом —
Он вам знаком.

1920

¹ Хлебников имеет в виду свою математическую теорию развития природы и общества, высчитывая хронологические промежутки между историческими событиями (см. его «Доски судьбы»).



Марина ЦВЕТАЕВА

МОЙ ПУШКИН

(Отрывок из очерка)

Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей — Яппе Еуге — Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери — Дуэль.

Снег, черные прутья дерева, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням — а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый — Пушкин, отходящий — Дантэс. Дантэс вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревьев, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантэс — француз. Дантэс возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и — вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, — об этом животе поэта, который так часто несут и в который Пушкин был убит, печалась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу — в слове живот для меня что-то священное, — даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогającego сочувствия, исключаяющего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт — и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила — поэта. А Гончарова, как и Николай I-й, — всегда найдется.

— Нет, нет, нет, ты только представь себе! — говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты, — смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал, и еще сам себе сказал: браво! — тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу! Отшвырнул пистолет, протянул руку», этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок — если не мести, так страсти — на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревьев, черная и белая картина — Дуэль, где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта — черню.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили.

Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, — черные, вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. Раз негр — черный¹.

Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно-сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как бы они это делали?), русский поэт — негр, поэт — негр, и поэта — убили.

Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом — о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и усиленные африканские плечи! — плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина — до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до памятника Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина — посидим», чем неизменно вызывала мою педантичную поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина — верста, та самая вечная пушкинская верста, верста Бесов, верста Зимней дороги, верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая².

Памятник Пушкина я любила за черноту — обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина — совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник-Пушкина был черный как рояль. Если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин — негр, я бы знала, что Пушкин — негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщенность всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным — рядом. Мое белое убожество бок-о-бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, черный памятник Пушкина моего дограмотного младенчества и всей России.

... Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он — всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда стоит.

¹ Пушкин был светловолос и светлоглаз. — М. Ц.

² Там верстою небывалой
Он торчал передо мной...

(«Бесы»)

Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. — М. Ц.

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадают одне...

(«Зимняя дорога»)

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество и под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот — всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

— На Патриаршие Пруды или...?

— К Памятник-Пушкину!

На Патриарших Прудах — патриархов не было.

Чудная мысль — гиганта поставить среди детей. Черного гиганта — среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство — обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я — так явно предпочитаю — черную. Памятник Пушкина, опережая события — памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой — лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает — слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ — самых далеких и как будто бы — самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство — ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет — раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала, с Марией Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети, под петербургским фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма — за гениев.

Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин — символ. Чудная мысль — чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит «под небом Африки моей». Чудная мысль — наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой поклон — дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии — Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль — гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень — цепь, камень — цепь, камень — цепь, все вместе — круг. Круг Николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний, Пушкин, ты — мой Пушкин» и разомкнувшийся только дантэсовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой прошлой, сущей, будущей, качалась — не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. — «Ампир»? — Ампир. Empire — Николай I-го Империя.

Но с цепями и с камнями — чудный памятник. Памятник свободе — неволе — стихии — судьбе — и конечной победе гения: Пушкину, поставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески постыдная и поэтически бездарная подмена Жуковского:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов
я был полезен...

— с таким не-пушкинским, антипушкинским введением пользы в поэзию — подмена, позорившая Жуковского и Николая I-го без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножие пятнавшая с 1884 года — установки памятника, — наконец, заменена словами пушкинского памятника:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава бóльшая — безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин — Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша — ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних моих юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище — в слове:

А там, в полях необозримых
Служа небесному царю —
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит — либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо: — Муся! Ты видела этого господина? — Да. — Так это — сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно — гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг — пройдет.

Прошел он — и именно вдруг — но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди — звезда.

— Ну, Муся, видела сына Пушкина?

— Видела.

— Ну, какой же он?

— У него на груди звезда.

— Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то. . .

— Так смотри, Муся, запомни, — продолжал уже отец, — что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала — няниному: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допущен в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

— Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина. — Что, барышня? — У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала. — Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли. . . — неопределенно отозвался Ваня. — Ничего не нужно было, про-

сто с визитом к нашему барину, — вмешалась няня. — Небось сами — полный енерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь? — Знаю. — Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство.

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки, и от родительского приказа смотреть и помнить, связанного у меня только с предметами — белый медведь в Пассаже, негр под фонтаном, Минин и Пожарский и т. д. — а никак не с человеками, ибо Царь и Иоанн Кронштадтский, которых мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам, — так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратилось в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина — тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце века, в одно холодное белое утро пришел Памятник-Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор.
Так и у меня был свой Командор.

1936

Борис ПАСТЕРНАК

ЗА ПОВОРОТОМ

Насторожившись, начеку
У входа в чашу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.

Она щебечет и поет
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.

Над нею — сучья, бурелом,
Над нею — тучи.
В лесном овраге за углом —
Ключи и кручи.

Нагроможденьем пней, колод
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.

А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады,
И не пускает на порог
Кого не надо.

.

За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне,
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настезь.

Март 1958 г.

Владимир ЛУГОВСКОЙ

ДОРОГА В ГОРЫ

Растет прибой и темный запах моря.
От памятника Ленина с обычным
Бетонным пьедесталом, от акаций
Больных и тощих, от романских окон
Кино «Восток» на сумрачной заре,
По улице, длиною в двести метров,
По главной улице. . .

 Пылают окна
Универмага. Слышен шум подметок —
Здесь самый ход московских инженеров,
Румяных фифок, возжелавших чуда,
Секретарей заоблачных райкомов
Из Ботлиха, Гуниба и Ахваха
В крылатых бурках, в пасмурных папах,
С кинжалами и сумками.

 По той же
Величественной улице, где строго
Вознесся строй дорических колонн
И маленькие кубы наркоматов.

Акации. Шаги. Сухой асфальт,
А дальше галька, шумные деревья,
Кунацкие, рябые переулки,
Любовная восточная тоска.

Лети, машина, полная простора,
К музею, где торжественно пылает
Седло Шамиля, пистолет и шашка,
И ядра русских, и немые реки
Кровавых горных маковых ковров.
Каспийский ветер мчит миллион пылинок.
Играет радио. Пивной ларек
Шумит, как раковина. Впереди
Громада гор.

 И мимо Веры Ц.
Летит машина. Низенький и белый
Дом на бульваре. Шторы и цветы.
И лампа на буфете, и старинный,
Остывший зной ковров и половиц.

А Вера быстро надевает платье
Безумно-синее, шуршит шелками.
Ее большие, темные глаза
Спят на лице, красивом и тяжелом.
Она пристойно оголяет спину.
А мама за стеной стучит посудой,
Уходит, ставит водку и вздыхает.

Ну, мимо Совнаркома, где с балкона
Глядит дежурный в чистом лунном свете.
Президиум Верховного Совета

Все в том же двухэтажном, милом зданьи.
Охранник, очумевший от москитов,
Без пропуска пускает в обе двери —
Романтика высоких, чистых гор.

И мимо длинной фабрики текстильной,
Где, словно духи душных общежитий,
Выглядывают смуглые хохлушки,
Туда, где бересклет, жасмин, шиповник,
Туда, где полукруглый взлет дороги
В шуршаньи шин легко несет наверх,
Туда, где каждый куст поет о высшем
Неведомом и несусветном счастье,
Туда — всё вверх и вверх!

 Машина стонет,
Срывается, гудит.

 Всё вверх и вверх!
И гравий мой, веселый, шумный гравий,
Летит из-под колес.

 Всё вверх и вверх!

Дорога эта мне знакома. Ночью
Сюда не приезжал, а прилетал
Серго в огромной, словно ночь, машине.
Тот человек, чье имя было в небе,
В гигантском небе памяти. Один
Из тех любимых, дорогих для сердца,
Овеянных бессмертной, ровной славой.

И вот летит дорога. Вот он — дом,
Тот, где живут, играют, отдыхают.
Дом высоко на взгорьи. Здесь кусты,
Боярышник и лунные просветы.
Ну, вот и мы. Двухъярусный коттедж,
Неудержимый запах биллиардных
И запах спален и шашлычной.

 Вот —
Вот это то, о чем мечтала Вера!

Гостиные. Расстроенный рояль.
Наигрыванье медленное ночью
Рукою неискусной. И сидят
Полудрузья. Какой, однако, случай!
О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой!
Арест произойдет сегодня ночью.
Все кем-то преданы сейчас.

 А кто
Кем предан понапрасну — я не знаю,
Уж слишком честны, откровенны лица.
Кто на допросе выкрикнул неправду?
Судьба не в счет. Здесь все обречены.

И ждут они. Они глядят как совесть
На нашу жизнь, что обыденно длится.
Судьба уже раскрыта с ними рядом.
Вот Соня Сулейманова. Она
Как будто карта, крапленая кровью, —
Она — нарком Собеза.

Вот идет
Оратор и остряк, но твердый парень.
Другой деляга, третий — прямодушный.
Наркомы. Биллиардная. Все то же.
Ответственное, зыбкое житье.
Субботний отдых. Это все родное,
И старое, как жизнь. Теперь — пора!
А время?

Время движется рывками.
О, Соня Сулейманова, ты завтра
Предстанешь перед тройкой. Злые ноздри
Еще вдыхают запах гор угрюмых
И мыла земляничного. Тот запах
Доносится из ледяной уборной.
О, Соня Сулейманова, красотка!
Она в десятый раз хватается мыло
И моет руки. И опять уходит
И снова возвращается.

Едва ли
Придется ей назавтра вымыть руки,
Вновь обрести великую свободу —
Ходить в уборную, тревожить краны
И услышать спокойный запах мыла.
Он — легкий, белый путь через созвездья —
Тот запах из уборной. На фрамуге
Созвездья кружатся, трепещет полночь.

Стучат шары в бильярдной очень четко.
Выходят из бильярдной к телефону,
И кружатся, и медленно гуляют
Вокруг единственного телефона.
Но стоит ли звонить — ведь все пропало!
Кто это сделал — я сейчас не знаю.
Кто испугался, оболгал, напугал,
Сам на себя неправду показал?
Быть может, тот солгал, а может, этот.
Что ж вы шарами крутите в бильярдной?
И пьете кахетинское зачем?

И в это время, вопреки всему,
Выносит крылья красные за полюс
Валерий Чкалов, через льды впервые
Соединяя два материка
В своем пути бессмертном к Ванкуверу.

А время?

Время движется рывками.
О, Соня Сулейманова, теперь
Ты вроде злого мака на предгорьях.
Пропавшие глаза. Ужасный росчерк
Раскинутых бровей.

И не спеша

Она идет помыть в уборной руки
И долго пальцы трет и вытирает
Хрустящим от крахмала полотенцем.
Покашливают. Сумрачно тоскуют.
Подходят к телефону. Все вокруг —
Готовы ко всему. И белобрысый
Корреспондент из центра, рыхлый дурень,
На них готовит дикую статью,
Которая похуже всех доносов.
А время?

Время движется рывками.
О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой!
И Верочка надела выходное
Бакинское сапфировое платье.
И медные от зноя инженеры —
Усталые и строгие ребята —
Бутылки ставят, режут колбасу
И глубоко вздыхают возле окон,
Где на портьерах запеклось тепло.
А те, вверху?

Неужто им поверить,
Что ночью свой же явится товарищ
И скажет: «Встаньте, граждане! Оденьтесь.
Вы арестованы!»

Тогда сурово
Они в карман засунут папиросы,
И сразу их посадят в грузовик.

В бильярдной щелкают, шумят в прихожей.
Выходят хмуро повстречать машины,
Те, что пришли с гостями. А потом
Ведут гостей в буфет, чтоб зарядиться.

Но есть другие люди.

Вот один
Лежит, скрестивши руки, на кровати.
Он думает: «Кто здесь во всем виновен?
Быть может, партия?»

Нет, нет и нет!
Виновен строй?

Строй этот создал Ленин!
Виновен тот, кого еще не знаю,
И я виновен в том, что променял
На сухость и на шоры самоменяя
Пронзительную ленинскую страсть,
И все же мы подвластны только правде,
Погибну я, но правда победит!»

Другой стоит у сетки волейбола
Под самым Млечным льющимся Путем.
Он звездам говорит:

«Прощайте, звезды!
Я прав во всем. Мне не в чем упрекать
И мысль свою, и жизнь свою, и совесть,
Враг хочет скрытно погубить меня
И погубить других. Они виновны
Лишь в том, что здесь томятся наверху.
Но разве нас забыла справедливость?»

Над нами вождь. Он ничего не знает,
Что здесь творится. Он меня спасет.
Терпенье, выдержка и дисциплина!
Мы не погибнем. Это темный бред!»

Летит над мертвым миром Млечный Путь —
Седой и легкий мчится над горами,
И горы в бурках встали, наклонясь,
И валятся неспешно волны бурок
Чернее черного, и вот тогда
У родника кричат сычи и совы.
Идет полночный шум — ветра предгорий.
Сорвался камень, покагился камень,
Исчез среди цикад. И это — знайте —
Есть Дагестан. Как горько это слово!

Все щелкают бильярдными шарами,
Все ждут конца. Железные ребята!
Они не радуются, не горюют,
Они тверды и пьют сегодня ночью
Из солидарности.

Кругом танцуют
И жмутся к телефону.

Шашлычок
Уже поспел. Стекают капли пота
По каменным щекам.

И лишь одна
Фатима-ханум проходит, улыбаясь, —
Последний, может быть, уже потомок
Завоевателя Абу-Муслима. Он
Над сотнями народов нес зеленый
Победный стяг пророка и донес
До окончания мира — Дагестана —
Похлебки из камней, и здесь почил
В Хунзахе горном — стылый меч Ислама.
Ресницы черные. Тугая поступь.
Не первое столетье понимает
Она такие вещи. И не первый
Раз предает.

Но только по-другому —
Традиционно, вяло и небрежно,
Как подобает отпрыску царей.
Провинциальный блуд лежит в глубинах
Ее зрачков, и, смуглая, она
Всем улыбается темно и сладко.

Но шумно всех приветствует толстяк
В очках огромных, с тоненьким пробором
На круглой лысоватой голове.
Он только что приехал.

Это бог,
Бог грунтовых дорог, дорог шоссе-ных,
Бог аммонала, тропок и мостов.
Он опоясал Дагестан путями,
И для него весь коммунизм —

в дорогах,
Широких, светлых, шинами умятых,
Ведущих прямо к утреннему солнцу.

Не то чтобы он ясно разбирался
В теории, о нет, едва ли стоит
Его, такого, вразумлять цитатой,
Он все творит от золотого сердца,
Ребенок старый, толстый человек.
Быть может, он сейчас тюрьмы боится?
Во-первых, он об этом и не думал,
Не знает он об этом ничего.
А если бы и знал, то отмахнулся —
Всего важнее здесь, на белом свете, —
Не утвержденные по смете взрывы,
Наскальные работы, гул веселый
Пирушек и дорога в коммунизм.

Так выпьем же с тобой по стопке, старый,
Заветный друг, очкастый, толстый ангел,
Или поедем к Верочке домой!

А время?

Время движется рывками.
Лет восемнадцать с той поры прошло.
Тебя ничто на свете не сломило,
Ни в чем не усомнился ты. Работал
На Колыме под незакатным солнцем.
Дороги пробивал. Шумел, бранился.
Лез напролом. Мостил мосты. Гудрон
Раскатывал. Мотался всем назло
И добротой своей пугал конвой.
И каждый новый путь через тайгу
Тебе казался трудной и тревожной
Дорогой в коммунизм.

Свой темный плен
Считал ошибкой ты. Всех ободрял,
Перекинул охотничьи рассказы,
Записки по начальству подавал
О разведении соболей в неволе.
Газеты не читал. Но твердо верил
И возвратился с той же твердой верой,
Седой и шумный, в треснувших очках.

Твое здоровье, старый бог дорог!
Так вот, пока капкан судьбы не щелкнул,
Поедем к Верочке скорее вниз!
Что? Поздно?

Да, теперь, пожалуй, поздно...

А там внизу —
там Вера Ц. танцует
И крупные, блистающие зубы
Показывает инженерам.

Эти
Хватают дам. И снова над вселенной,
Над белогривой вечностью прибора,
Летит танго «Дымок от папиросы»...
Хорошее, я вам скажу, танго.
Славянский шкаф немного подпева
Семейным хрусталем, а Вера Ц.
Беспечно кружится и мнет платочек.
О, Вера Ц., так ты и есть земля

В приборях и орешнике шипящем.
Он, кстати, шелестит там, наверху,
Под молодой луной, луной холодной.
Там судьбы жизнью скупо понимают
Те люди наверху, простые люди.
И все они честны —

и это правда.

Они жадны до жизни —

тоже правда.

Грешны они?

Грешны, как все кругом.

Они молчат, и пьют, и жмут бокалы.
И снова горечь, бедные утраты,
Седая смерть, и снова ты, Шамиль,
И слуги мертвые твои в ущельях,
И русские могилы на предгорьях.

Здесь патефон и грустный запах мыла
Из ледяных уборных. И рояль,
И жмутся к телефону. И предатель,
Щекой подергивая, всюду ходит,
Всех обнимая на своем пути.
Что будет с ним — он сделает карьеру
Или сопьется с горя и тоски?

О, смертная трагедия людей!
Чего они хотят?

И кто из них

О садике, о грядке возмечтает,
Лишь бы остаться здесь при свете солнца!
Ведь есть такое в мире искушенье! —
Растаять, бросить все, забыть борьбу
И получить в награду после бегства
Недвижное, как южный полдень, счастье:
Сидишь над сонным двориком, и можно
Вдруг выплеснуть ведро.

И снова тихо.

Пройдет соседка, пронося такой
Осатанелый пламень помидоров,
Что заболит глаза.

А ты идешь

В подштанниках по комнате. И море
Лежит, как скатерть на твоём столе.
Скажите, кто из вас, хотя бы в мыслях,
Вот в эту ночь не скроется туда?
Кто сделает добром два лишних шага
От этих грядок и арбузной корки,
Лежащей на облупленной скамье?

Нет! Есть борьба, бессонная борьба,
Ответ перед людьми, перед судьбою
И перед совестью. Есть справедливость,
Не подкупить, не расстрелять ее.
Быть твердым, не сдаваться ничему
И в этом горькую увидеть радость.
Быть человеком и самим собой.
Многообразна радость человека.
Так, значит, радость жизни существует,

Так, значит, забывать ее преступно!
Так заведем «Дымок от папирсы» —
Немного философское танго.

Я нынче на пиру со всеми вами,
Хочу я в город. Да! Скорее! В город!
О, как хотите вы скорее вниз!
Но это невозможно, ибо ночью
Грузовики приедут, ибо утром
Ударит радио в сто тысяч глоток,
Перебирая ваши имена,
А домны пышат жаром, нефть клокочет,
Стремятся поезда, пшеница зреет,
На рубеже таится пограничник,
Родятся дети, плача в эту ночь, —
И звезды над Кремлем пылают строго.
Далекий бриз доносит чистый посвист
Беспечных флейт из городского парка.
Там до утра танцуют и поют.

Какой тревожный воздух в этом доме!
За шторами, в ночных квадратах окон,
Рябинки звезд, и море, и кусты,
И дикий взлет ветлы.

А там, внизу,

Там огоньки. Опять все тот же город.
Белесое, туманное пятно —
То осязательный в небе Каспий ходит,
И там твоё бесстыжее окно —
Танцуешь, Вера? Ну, танцуй, малютка.
Что ж рвешься ты сюда

и почему

Такая скорбь в твоих зрачках звериных?
Сюда не надо, Вера, приезжать!
Здесь все свои. Им очень, очень плохо.
А ты, ресницы дымные подняв,
Танцуешь, гнешься, трепетно скользишь
Французскими большими каблучками,
И рыжий, ржавый ветерок причалов
Врывается порывами в окно.
А рядом — парфюмерный магазин,
Огни ТЭЖЭ. И это сочетание
Плохих духов и рыжей дикой жизни
Морских причалов в белом городке
Мне так понятно.

Вот откуда ты

Родилась, Верочка. Дрожит буфетик
От бешеного танца. Ржут машины,
Наполненные странными гостями,
Нетерпеливо, страшно поднимаясь
Все вверх и вверх, все вверх, и вверх, и вверх!

А Верочка танцует.

Очень трудно

Изобразить жестокое движенье
Тяжелых бедер.

Вера Ц. танцует.

Вокруг нее как будто звон стеклянный

Растет для танца. Ночь подвыходная
Склоняется, как мама над закуской,
И подает зеленые фужеры
Мордатым инженерам, о которых
Не знает даже местный домовый,
Парням суровым, молчаливым, дельным,
Нефтяникам, героям производства,
То грубым, то застенчивым не в меру.
Она танцует. Боже, сколько силы
В том повороте бешеной лодыжки,
Которая, как сталь гребного вала,
В движение приводит винт души.

Что нужно Вере?

Говоря по правде,
Лишь маленького счастья в новом доме
И мужа, только бы оттуда, сверху.
Ее ведь так измучили довольством
Ответственные жены, а мужья —
Благополучьем мнимым, мнимой властью.
И вот она мечтает, как ребенок.
Тебе не нужно, глупая, мечтать!

Переливаясь синим, мрачным шелком,
Танцует Верочка.

И повороты
Летящих ног на перекатной румбе
Все те же, словно при начале мира.
Ты мчишься, девочка, расширив очи,
Лицо твое так дивно изменилось,
Как будто в нем запела вся земля.
И над громовым сбросом волн козлиных,
Лохматых, белшерстных, бородатых,
Одна встает девица — низколоба,
Каменногруда, с красным маникюром —
Властительница всей обычной жизни.
Тут мечется и умирает ночь.

Но как танцуешь ты, моя земля!
Ты кружишься, ты медленно поводишь
Округлыми кофейными плечами
В шелках морей, невероятно синих,
И вновь рассветом убиваешь ночь.
Кругом огни. Блуждают смерть и горе.
Но Верочка танцует.

Что ж, пляши!
Рвись к сердцу, пролетай огнем бессмертным
Над городом, над портом, над землей,
Извечно радостной, над всем, что было,
Над нашим поворотом во вселенной.
Какое счастье, —

это ты, Земля!
Ты, Верочка моя, чуть-чуть сырая
От золотых дождей и поутру
Пупырышки сгоняющая с кожи,
Бегущая по выбитым ступенькам
В сандалях к морю, в древний шум и плеск.

Танцует Верочка. Танго вздымают
Роскошные, утесовские трубы.
Ты — это ты.

И от тебя тепло.
Постукивая злыми каблуками,
Покачивая шелком синебедрым —
По кругу, все по кругу, мимо окон,
Где дальней музыкой плывет из мрака
Подвыходная, пьяненькая ночь,
Подвыходная, в плеске вечеринок,
В шипеньи пива, в легком очумении,
В минутном безразличьи ко всему.
Валторны плачут. Выбегают ноты
Из медных труб оркестра. И лезгинка
Беспечным бубном юности гремит.
Вот эта самая, подвыходная,
Когда целуются, поют, дерутся
И много пьют и в пьяном ослепленьи
Себя равняют с теми, наверху.

А наверху лежит холодный вечер,
Заброшенные коченеют звезды
На гребнях диких и тревожных гор.
Мягутся и качаются деревья,
Посаженные здесь совсем недавно.
И нестерпимо твердый огонек
Костра пастушьего стоит в ущельи.
Здесь сам Шамиль, накиннув бурку мрака,
Глядит на волейбольную площадку,
Где ходит одинокий человек,
Свою судьбу обдумывая строго.
Природа гор гудит на черных крыльях,
Подобная сове в ночном полете.
Она спустилась, молча, задыхаясь
От непомерной мудрости своей.
Она прильнула круглыми глазами
К широкому рамам дома на предгорьи,
Где люди встали в ряд у телефона,
И вдруг раздался долгий и бесстрастный,
Какой-то режущий ночной звонок.

А время?

Время движется рывками,
Нет плавного течения у него.
То страшное, то полное простора,
Оно идет по мировым законам
И по ручным часам у человека,
Который против смерти восстает.
Народ не умирает,

он в труде.
И никакою смертью не убить
Его заботы о грядущем счастье.
Строй государства горы перенес
На сгорбленных плечищах широченных.
А Революция — она идет,
В ней высшая на свете справедливость,
Она не сходит с трудного пути
И не забудет дом на синем взгорье.

1945—1957

Иосиф УТКИН

* * *

До знаменитой эры газа,
Винта и крыльев плоскостных
На крыльях скромного Пегаса
Перемещался старый стих.

Но люди самолет открыли,
И, как ненужное добро,
Пегас идет в обоз — а крылья
Идут в подушку как перо.

Но стих живет, и прямо скажем:
Ему на пользу перелом,
Ему неплохо и под вашим
Под металлическим крылом.

МОЛИТВА

Если бы ты мне казалась сильной,
Я бы, вспомнив свой гражданский долг,
Написал письмо, послал с посылным
И подался в пограничный полк.

Если бы ты мне казалась лживой.
И писать не стоило б труда,
Я бы с лживой распростился живо,
И не уезжая никуда.

Но стоишь ты предо мной потупясь,
Ничего как будто не тая,
И томит мою мужскую глупость
Кротость всемогущая твоя.

.. Я молиться богу не умею,
А молюсь: да будут днесь сильны
Дщери Евы. . . днесь да поумнеют
Глупые адамовы сыны.

1940

ТОПОЛЯ КИЕВА

Бывало, скажут: Киев —
Пойдут сады, поля.
И встанут — вот такие! —
Гвардейцы-тополя.

И Киева предоставить
Немыслимо без них —
К домам его приставить
Немецких часовых.

Увидеть Киев древний
Без тополей вокруг!

.. Казненные деревья
Лежат в пыли без рук.

На мостовых обрывки
Старинных русских книг.
На улицах обрывки
Немецких фраз и крик.

А улицы глухие —
Хоть до утра кричи.
И это город Киев?
Ну ладно ж, палачи!

1943

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

РЫБНАЯ ЛАВКА

И вот, забыв людей коварство,
Вступаем мы в иное царство.

Тут тело розовой севрюги,
Прекраснейшей из всех севрюг,
Висело, вытянувши руки,
Хвостом прицеплено на крюк.
Под ней кета пылала мясом,
Угри, подобные колбасам,
В копченой пышности и лени
Дымились, подогнув колени,
И среди них, как желтый клык,
Сиял на блюде царь-балык.

О самодержец пышный брюха,
Кишечный бог и властелин,
Руководитель гайный духа
И помыслов архитриклин!
Хочу тебя! Отдайся мне!
Дай жрать тебя до самой глотки!
Мой рот трепещет, весь в огне,
Кишки дрожат, как готтентотки.
Желудок, в страсти напряжен,
Голодный сок струями точит,

То вытянется, как дракон,
То вновь сожмется что есть мочи,
Слюна, клубясь, во рту бормочет,
И сжаты челюсти вдвойне...
Хочу тебя! Отдайся мне!

Повсюду гром консервных банок,
Ревут сиги, вскочив в ушат.
Ножи, торчащие из ранок,
Качаются и дребезжат.
Горит садок подводным светом,
Где за стеклянную стеной
Плывут лещи, объяты бредом,
Галлюцинацией, тоской,
Сомненьем, ревностью, тревогой...
И смерть над ними, как торгаш,
Поводит бронзовой остройгой.

Весы читают «Отче наш»,
Две гирьки, мирно встав на блюде,
Определяют жизни ход,
И дверь звенит, и рыбы бьются.
И жабры дышат наоборот.

1928

ГДЕ-ТО В ПОЛЕ ВОЗЛЕ МАГАДАНА

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед.
От солдат, от их луженых глоток,
От бандитов шайки воровской
Здесь спасали только околодок
Да наряды в город за мукой.
Вот они и шли в своих бушлатах —
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека.
Вся душа у них перегорела
Вдалеке от близких и родных,
И усталость, сгорбившая тело,
В эту ночь снадала души их...

Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный
До людей уже не доходил.
Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мерзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая, сели старики.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.

О СЕМЕНЕ ГУДЗЕНКО

(Из книги „Товарищ поэзия“)

Мы и не заметили, как за вечерело. Отполыхал большой закат, угомонились краски, остыл пепёл облаков. Из-под Шяуляя доносились орудийные раскаты, мимо нас по магистральной дороге проходили танки, взывая на лесном пригорке. Было еще тепло, но уже начали моросить долгие прибалтийские дожди. Армия пробивалась на Шяуляй, а на сгибе двухверсток была Рига.

Мы сидим на бревне возле крепко сколоченного сарая, мой собеседник — совсем еще юный солдат, пришедший к нам из госпиталя с желанием работать в газете. Что-то слышал он обо мне или читал что-то, сразу отыскал и прямо с ходу стал читать стихи, рассказывать о молодой московской поэзии, о Москве, где ему удалось побывать после ранения. Он нетерпеливо выкладывал стихи, новости, взгляды, поминутно вскакивал, отчаянно размахивал раненой рукой и читал, тараща глаза:

Если осталась одна рука, —
Жизнь хватают наверняка!

Он говорил:

— В Москве кипит литература. Приходят с войны наши ребята, шлют стихи с фронтов, все это новое и по-новому. Там есть Семен Гудзенко... Семен оказал... Гудзенко написал... Семен наш! Мы будем в литературе, старик! — закричал солдат и со всего размаху ударил меня по погону.

И стихи, и новости, и новые имена волновали меня, с этой минуты я и запомнил имя Семена Гудзенко. Я тоже прочитал несколько стихотворений и с благодарностью слушал солдата, не находившего себе места от избытка чувств.

А было все-таки грустно и смутно. Все эти годы я был оторван от поэтической Москвы. Однажды, проездом, мне довелось позвонить в дверь заметного кружевного дома, где жил тогда Симонов. Мне открыл незнакомый человек, открыл и опять уселся и тут же занялся прерванной работой — умело и со вкусом продолжал подшивать рукава шинели. Эти дорогие часы я и провел с этим фронтовиком, оказавшимся Алексеем Сурковым, и с Симоновым, который вскоре появился. Хозяин угощал нас своим пайком, и мы достали свои припасы. Сурков тоже был проездом с фронта на фронт. В то памятное для меня утро я на многие дни и ночи согрелся мыслью о поэзии.

Но это было очень давно. Так давно и так далеко, что, слушая солдата, я вздыхал о себе.

Из дома, в котором расположилась редакция, вышел редактор Смирнов, подтянутый высокий блондин в очках, человек беспощадный к себе и к людям.

— Виктора Урина — ко мне! — проговорил он, не сходя с крыльца. Мой собеседник молниеносно перемахнул через дорогу.

— Я тут, товарищ подполковник!

— Поезжайте в пятый корпус. Найдите экипаж Васильева... Сей-час звонили...

Виктор Урин повернулся кругом, метнулся к проходящему мимо грузовику, закинул за борт правую руку и, акробатически перевернувшись, оказался в кузове. Подполковник протер очки и с изумлением глядел на опустевшую дорогу.

* * *

Виктор Урин по ранению был списан с войны, в редакцию попал добровольно, поэтому мы уговорили его ехать в Москву и поступить в Литературный институт. Он уехал. Мне и другому поэту, работающему в редакции, — Леониду Решетникову — очень не хватало его.

Теперь я уже прочитал книгу Семена Гудзенко — мне прислали ее из Москвы. Да, это была большая поэзия, знакомство с ней было моим вторым поэтическим потрясением за войну. Не то чтобы мне не доводилось встречаться со стихами: были стихи Симонова, которые я всегда любил, был уже и «Василий Теркин» — как продолжительная радость этих лет. Но впечатления от того, что я прочел «Знамя бригады» Кулешова, как и от книги Гудзенко, были глубоко неожиданными, какими-то особыми для меня. Тогда, разумеется, я не мог знать, что мы станем друзьями, но именно тогда, задолго до встречи с ним, я почувствовал родную душу.

* * *

В первых числах мая 1945 года редактор отпустил меня в Москву, мне хотелось показать в издательстве свою первую книгу. Из штаба шла в Москву машина, я кинулся к ней и чуть не опоздал. Мы выбрались из города и прочитали указку:

«Берлин. До Москвы — 1950 километров».

О многом думалось по дороге из Берлина, многое вспоминалось в эти длинные часы, пока гудел наш грузовик. Мы ехали без отдыха, шофер так спешил домой, что почернел за эти двое суток. 9 мая утром, уже под Москвой, он на секунду прикрыл глаза — и мы оказались в кювете.

И было девятое мая в Москве, наше поколение помнит этот день; может, он и был главным днем нашей жизни. До поздней ночи ходил по Москве, тогда я умел и любил ходить пешком, любил и умел ходить один, тогда мне еще не было скучно самому с собой. Потом как-то сразу я встретил Леонида Мартынова — мне писал о нем на фронт Николай Асеев. Это были сплошные дни поэзии, я благодарен Мартынову за эти дни. В Клубе писателей встретился мне Михаил Львов, мы не виделись с ним целую вечность. В Москву он приехал раньше меня, уже многих знал. Я спросил его о Гудзенко. «Да знаю! Это самое настоящее, вот увидишь!»

И наутро заявился ко мне с целой компанией. Кроме Урина, я никого не знал, но Семена Гудзенко как-то отгадал сразу. Он был очень красив, красив не тонко и тщательно, а щедро, размашисто и просто, той красотой, которая презирает зеркала. У Михаила Львова в портфеле оказалась бутылка молока, у меня нашлись концентраты. Гогоча, мы с Семеном удалились на кухню, нашли полуведерную кастрюлю, сварили кашу, которой нам хватило на весь этот замечательный день.

Я был старше на одну войну, три года разницы тогда нам казались заметными, пока мы не приступили к стихам. Мы сразу почувствовали единство, почувствовали поколение. Стихов было много. Я сидел на подоконнике и читал из поэмы, которую привез с собой:

Лет восьми я узнал, что родился в России...

Майский ветер рванул рукопись, и несколько листов полетели вниз, с восьмого этажа...

— Это естественная редакция! — смеялись мы и не побежали за этими листами. Было так много всего, что ничего не было жалко.

Было так хорошо с Семеном Гудзенко, с друзьями, перед нашей новой дорогой.

* * *

Сейчас даже не верится, что вместе мы были всего семь лет. Это были годы вместе, хотя нас часто разводили дороги по стране. Всего семь лет! А кажутся они теперь целой жизнью, так были полны веселья, работы, действия.

Семен Гудзенко умел веселиться, умел действовать, работать, он не тратил время на раскачку.

Гудел наш семинар на первом всесоюзном совещании молодых. Рычал на нас и тогда, как и сейчас, молодой и неукротимый Павел Антокольский. «Где стихи?» — требовал он.

Волновал нас Алексей Недогонов, впервые прочитавший «Флаг над сельсоветом». Открылись перед нами таланты Иосифа Нонешвили и Реваза Маргиани. Читали Марк Максимов, Сергей Наровчатов, Виктор Урин, Вероника Тушнова, Александр Межиров, читали и Семен и я. Так читали, что соседние семинары жаловались на нас администрации дома ЦК ВЛКСМ.

Потом появились критики, они стали искать «воспевание окопных страданий». Мы мчались с Семеном к его машинке и писали статью «Разговор о молодых». Ехали в Ленинград знакомиться с Сергеем Орловым. И не было встречи, чтобы она не начиналась с новых стихов. Это подтягивало, торопило, полнило жизнью.

Тогда мы не отказывались от выступлений. В клубе МГУ на Стромынке тесно и жарко; сменяя друг друга, мы ведем разговор. Берет слово критиковидный человек, он умело находит паузы среди гневных возгласов аудитории и громит меня за «разрушение стиха». Встает Семен.

— Давайте разберемся. Вот вы говорили. . . как ваша фамилия?

— Доцент Белинкис! — называет себя выступавший.

Семен, чуть помедлив, оборачивается ко мне и своим громовым голосом грустно говорит на весь зал:

— Вот мы и дождались своего Белинкиса!

* * *

Кому хоть раз доводилось слушать его чтение, тот помнит, я думаю, как оно завораживало и захватывало душу. Это было обаяние подлинности и правды светлого таланта. Мне приходилось много раз выступать с ним, и всегда это было радостью. Он умел отстаивать принципы, нас невозможно было сломить в прениях. Очевидно, так и должна жить и развиваться поэтическая молодежь, хотя часто потом ловишь себя на недовольстве горячностью и категоричностью поэтической смены.

* * *

Меня удивляло его умение знакомиться с людьми. Редко его можно было встретить в одиночестве.

— Знакомься, он из Иркутска, хороший парень!

Спрашиваешь: «Кто это?»

— Это парень из Киева, хороший журналист!

— А это ребята из нашей части, надо помочь им! — представлял он пришедших с ним недавних солдат. Всегда вокруг него все кипело, он не знал усталости в своем интересе к людям и был жаден к ним до неправдоподобия. По дороге из Москвы в Орел он успел поговорить с бригадой молодежи, едущей на торфоразработки, завязать дружбу с матросом торгового флота, а с агентом промкооперации по закупке грибов стал так неразлучен, что позвал его с нами, поселил в нашем номере и был с ним до самого нашего отъезда в Курск.

Эта его манера иногда прямо выводила меня из себя, но это была щедрость души, тяга к жизни, он был легок на ногу, ему ничего не стоило съездить в Наро-Фоминск, чтобы повидать молодого поэта. Недавно я читал воспоминания Юрия Окунева о работе Семена Гудзенко в выездной редакции «Комсомольской правды» на восстановлении Сталинграда. Я узнавал его. Да, это именно на него похоже, такая работа была ему по душе. Нет ничего удивительного в том, что его знали все молодежные бригады!

Он любил вмешиваться в жизнь, это не было любопытством, он любил помочь человеку, посоветовать, ободрить. Я не помню, чтобы он когда-нибудь проявил пренебрежение и нетерпимость к другому. Он так и ходил, зорко вглядываясь в улицу и в лица, шагал бодро и широко.

Году в пятидесятом мы как-то утром шли с базара в Сталинграде, на каждой руке у нас было по арбузу, а подбородками мы придерживали кульки с виноградом. Семен любил и это, в этом он понимал толк. Вдруг он свалил на мостовую покотившиеся арбузы и кинулся через дорогу. Я увидел там согнувшегося татарина, на его заплечной подушке раскачивалась гора здоровенных трофейных чемоданов. Старик шел с пристани к вокзалу, метрах в тридцати сзади шествовал молодой майор под руку с дорожной супругой. Пока я скатывал арбузы, Семен уже свалил на землю последний чемодан и, отстраняя визжавшего майора и его жену, спрашивал обомлевшего старика:

— Сколько они обещали заплатить? Двадцать пять рублей?

Семен вручил татарину деньги, легонько повернул за плечо и сказал:

— Иди, старик, на пристань, майор чемоданы донесет сам, он здоровый! . .

Сразу после войны было немало темного в переулках. Мне доводилось несколько раз быть в драке плечом к плечу с Семеном. В Ленинграде глухой ночью в незнакомом районе нас догнала малюсенькая машиненка, остановилась, вышли трое и молча кинулись скручивать руки. Было тихо, наверно минут сорок мы вели безмолвный «морской» бой, время от времени я видел Семена — было на что посмотреть! Это был настоящий боец, дня два после этого мы были вынуждены откладывать выступления, ссылаясь на простуду.

Вообще я не раз замечал в хороших поэтах эту бойцовскую черту. Однажды такой стойкостью в очень трудной ситуации меня прямо поразил Евгений Винокуров, с которым, кстати сказать, меня познакомил тоже Семен Гудзенко, всегда знавший всех приходивших в поэзию.

Нет, Семен Гудзенко не просто любопытствовал, он действительно любил жизнь. Ему было присуще и захватывающее чувство неприязни, и он умел постоять за себя. Помню, в Курске главный редактор радио, читая перед выпуском мои стихи, остановился на строчках:

А паровоз идет до места,
За перегоном перегон.

— До какого же места? Надо указывать место, — изрек он, испытывая большое желание не пустить нас к микрофону. Семен потемнел, потом на всю комнату, в которой работали сотрудники, сказал:

— Зачем надо, сказав, что вы сидите не на своем месте, добавлять еще — на месте главного редактора радио!

Он был бойцом в полном и высоком смысле этого понятия, человеком не только красивым, но и сильным.

Что же это все о нем и о нем и ничего — о его поэзии? Может, его самого и любил больше его стихов? Нет, он был очень похож на свои стихи и неотделим от них. Но стихи — вот они, а его нету.

Однотомник Семена Гудзенко стоит у меня на полке рядом с Сергеем Чекмаревым и Владимиром Луговским. Любое стихотворение звучит для меня с его голоса, думаю, что нет ни одного, которое я не слышал бы от него самого; часто, сквозь стихи, я вспоминаю обстоятельства жизни. Писал он жадно, может быть не всегда главное, но всегда поэтично. Он жил стихами, не боялся писать.

Раскрываю книгу, да вот это:

Я в гарнизонном клубе за Карпатами
Читал об отступлении...

Он приехал тогда из Закарпатья загорелый, веселый, целыми днями читал и рассказывал, тогда у него была почти готова книга закарпатских стихов. Это были стихи уже о мирном труде, новые темы жизни. Сейчас, может быть, и трудно понять, что это тогда для нас значило. Но меня взволновало другое.

У каждого поэта есть провинция,
Она ему ошибки и грехи,
Все мелкие обиды и провинности
Прощает за правдивые стихи.
И у меня есть тоже, неизменная,
На карту не внесенная, одна
Суровая моя и откровенная,
Далекая провинция —

война...

Это полно глубочайшего смысла.

Потом он уехал в Туву, а я — в Сталинград, искать свой «Рабочий день». У меня есть письма Семена, присланные тогда. И опять — сила уверенности, веселая жажда жизни. Письма дышали ветром дорог, неукротимым духом его веры в поэзию.

Мы то уезжали вместе, то разъезжались в разные стороны, а так и жило в душе богатство дружбы с ним. Раза два он уезжал к восточной границе, потом привез поэму «Дальний гарнизон», она нас радовала чистотой интонации, верностью, она и сейчас, я думаю, важна для воспитания поколений.

Во всем, чему отдавался Семен все эти недолгие годы своей быстрой жизни, во всем — большая сила страстного молодого таланта.

Слышу, молодые иногда называют нас военными поэтами. Это так, но и не так. Человек, написавший:

Мы не от старости умрем,
от старых ран умрем, —

этот человек знал, что мужество необходимо не только для войны, но и для жизни. Наше поколение, правда, писало свою биографию в походах, но биография этого поколения и была биографией времени. Творчество Семена Гудзенко — это не просто война. Это талант, оказавшийся на гребне жизненных испытаний, это молодость, оказавшаяся готовой к этим испытаниям.

Я читаю его стихи о любви, о дружбе, о русской природе. Вот и самое раннее — стихи того времени, когда мы, более старшие, — Слуцкий, Кульчицкий, Самойлов, Майоров, Наровчатов — в юридическом институте перед самой войной читали свои и, как это водится, громили предшественников, а Гудзенко как замороженный сидел в первом ряду, — потом он мне рассказывал об этом. И в тех его первых начинаниях уже была поэзия, хотя и ушибленная образованием ИФЛИ, влюбленностью в Багрицкого и Антокольского. И все, что он сделал после войны, — это творчество большого кипения. Ветер и дождь, земля и небо, люди труда

и подвига, верность долгу — вот пафос его творчества, и ни война, ни мир не являются темой сами по себе, вся его поэзия — это поэзия большого советского характера.

И в последних стихах его — мужество и талант. Он стоял у окна и, глядя на улицу, читал мне эти стихи, а я тогда уже не верил в беду, казалось, что первая операция возвратила его к жизни и мы скоро поедим и пойдем, опять вместе. И он сам шутил, как всегда, когда мы спустились пошляться, но шел он уже необычно тяжело и трудно, шел последние метры по земле, вдыхая мокрый весенний ветер.

Григорий ЦУРКИН

ПОЭТ, СОЛДАТ, ТОВАРИЩ

(Об Ароне Копштейне)

...И если я домой вернуся целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько высплюсь первым
делом,
Потом опять пойду на фронт. Любой.

А. Копштейн. «Поэты»

У Арона были выпуклые темные глаза южанина, курчавые черные волосы и широкий толстогубый рот, наполненный крупными белыми зубами. И лицо это всегда отсвечивало эмоциональными вспышками творческих процессов, бурлящих где-то глубоко внутри: он постоянно каламбурил, бормотал стихи и острил жизнерадостно и добродушно...

И вот вспоминается: двадцать два года назад мы, двенадцать человек — студентов Литературного института, стоим в строю легкового добровольческого батальона. Мы обмундированы в белоснежные теплые костюмы и вооружены полуавтоматическими токаревскими винтовками, штыки-кинжалы которых висят у нас на поясах рядом с гранатами. И сами себе кажемся суровыми, обветренными солдатами, способными чокнуться гранатой даже с черепом самой госпожи Смерти.

Но каждый из нас отлично понимает: чтобы стать поэтом или писателем своего поколения, мало опыта жизни, заимствованного из чужих книг, — это породит лишь очередной каскад литературной реминисценции. Надо шагать в ногу со своим народом, трудиться вместе с ним, воевать, болеть его ранами и радоваться его удачам. И кроме того, каждый в свои двадцать с лишним лет желает коснуться суровой правды войны, чтобы позже, когда она отгремит и отполыхает, суметь сказать оружье свое, а не хемингуэевское «прощай!».

Вдоль строя на лыжах неторопливо скользит командир роты, высокий подтянутый кадровик с тремя «кубарями» в петлицах. Он поверяет готовность роты и, заметив живот, значительно выходящий за линию равення, осведомляется у комвзвода:

— А это кто такой, артист пузатый?

— Лыжник вверенной вам роты Арон Копштейн! — чеканно отвечает комвзвода.

Прощаясь с Ароном в институте, остроумная Вера Острогорская похлопала его по животу и заметила:

— Поэт ты довольно значительный. У тебя же огромный творческий диапузон.

И действительно, даже упакованный широким солдатским ремнем, «творческий диапазон» Арона придает фигуре комическую удобообтекаемость и служит дежурной мишенью для шутников роты.

Кроме того, он мешает обуваться, ползать по снегу, а на лыжных прогулках помогает Арону чаще остальных лыжников тыкаться носом в снег. Но, распластавшись, Арон невозмутимо усаживается на снег и машет лыжникам палкой. Они окружают Арона. А он, теребя самого ближнего за штанину и сверкая голубизной белков, читает взахлеб только что рожденное четверостишие:

Ворожи не ворожи,
Мой миленок ближе,
Он такие виражи
Делает на лыжах...

Давясь от хохота, благодарные друзья помогают Арону встать на лыжи, отряхивают его от снега, и он шмыгает дальше, щедро разбрасывая дары своего живописного, поэтического темперамента.

Почти всем в роте известно, что дома Арон оставил молодую жену и влюблен в нее до беспамятства. А на какие искрометные и веселые безумства не способен влюбленный поэт!

В вагоне гудит и бушует пламенем большая чугунная печка. Нам жарко. Мы разоблачили до нижних рубах и, свесив головы с нар, оживленно обмениваемся автобиографиями с новыми друзьями. И в центре этих разговоров веселый Арон плавает словно рыба в воде. А ночью из темного угла нар посверкивают его глаза: он читает нам «Евгения Онегина» наизусть. Потом читает его же с любой названной строки. Изумительной памятью своей он вобрал в себя почти всего Пушкина, Блока, Маяковского, Есенина, Багрицкого, Пастернака... Но, кроме того, он помнит стихи присутствующих и отсутствующих поэтов-современников часто лучше их самих.

Охотно читает новым друзьям своим он и собственные стихи, из которых хлещет все та же жизнерадостная натура поэта, владеющего всеми оттенками веселого отношения к жизни, искренностью и его особой, копштейновской интимной игривостью.

Я стою здесь безутешен,
Сохраняя мрачный вид,
Весь гранатами обвешан,
Португезами обвит.

Я нахмурил брови грозно,
Но дрожу, как мелкий лист,
Это выглядит курьезно:
Пулеметчик-пессимист.

В Медвежьегорске нас пересаживают на грузовики и везут хвойными лесами, мимо Парос-озера, к передовым заставам Восьмой армии, действующей на петрозаводском направлении.

Среди розовых камней-валунов сосны стоят неподвижно, словно закованные свирепым шестидесятиградусным морозом зимы сорокового года. Мы лежим в коробах грузовиков на соломе и дрожим от стужи, ощущая прикосновение оружия к бокам как средоточие сгущенного, обжигающего холода.

Километров через двадцать шоферы останавливают машины, мы выпрыгиваем на дорогу и бегаем вокруг машин, чтобы поразмяться и согреться немного. И снова — по машинам, под шинели. Но и тут неистребимая молодость острит, подначивает, смеется, не ощущая никаких признаков медвежьей болезни. А Арон где-то под шинелью уже бормочет новые стихи:

Но в январе сорокового года
Пошли мы, добровольцы, на войну,
В суровую финляндскую природу,
В чужую, незнакомую страну...

Мы живем в землянках, дни и ночи греемся у костров, и наши белоснежные костюмы приобрели непредусмотренный камуфляж... И морозы в тридцать градусов воспринимаем как оттепель, выползая из землянок мыться и бриться. Мыльная пена на лицах застывает сразу же, бритвы скрипят, а клиенты стонут и ругаются.

Арон несколько похудел, изрядно прокоптился и внешне явно приблизился к предкам Пушкина. Он уже сносно ходит на лыжах, и во всех ротах нашего двадцать пятого полка солдаты хорошо знают Арона. Но воинская заправка его по-прежнему оставляет желать много лучшего: несмотря на свирепые морозы, от которых у многих почернели носы и щеки, нередко можно увидеть сверкающую полоску абсолютно голого тела между курткой и брюками Арона. И гремящие карманы его вечно сползающих брюк по-прежнему набиты патронами, консервами, галетами, гранатами. Он постоянно теряет ложку и после еды забывает помыть котелок...

...Снова команда «в ружье», и снова мы колонной по два идем по узкой дороге насквозь промытого лунным светом ночного леса. Лыжи мы несем на плечах, они задевают за ветки, сбивают снег, и он падает на каски, за воротники. Непередаваемо сильное ощущение, но настроение у лыжников превосходное: некоторые, получив порцию снега за воротник, забегают вперед и ударами прикладов о сосны осыпают снегом всю колонну.

Комвзвода сердится, ежеминутно останавливает взвод и отчитывает недисциплинированных студентов, которые, по его мнению, «нерадивы и шкодливы и бесятся, ровно оголтелые». Особенно достается молодому поэту — сталинградцу Николаю Отраде, который воспринимает замечания комвзвода как личное оскорбление и, кажется, готов вызвать комвзвода на дуэль.

Арон идет, обнявшись с напарником, и из-под капюшона белоснежного маскхалата толстогубое лицо его улыбается влажными, черносливовыми глазами: вполголоса он читает стихи, написанные лишь вчера:

...Что я изведал напряженье страсти,
И если я, быть может, до сих пор
Любил стихи, как дети любят сласти, —
Люблю их, как водитель свой мотор.
Он барахлит, с ним не находишь сладу,
Измучаешься, выбьешься из сил,
Он три часа не слушается сряду —
И вдруг забормотал, заговорил...

...День — а это было уже четвертое марта — был тусклым и туманным. Вчера мы потеряли в бою Николая Отраду. На озере было тихо, и лишь изредка глухо постреливали финские снайперы.

Было еще светло, когда из-под снега показалась голова раненого. Он сказал, что метрах в полтора от берега лежит помкомвзвода Дронов: он тяжело ранен, потерял много крови и ждет помощи.

Арон услышал это, вскочил и побежал к окопу командира взвода. И минут через десять уже возвратился, волока за собой санки, которые колотились боками о сосны. Потом он сполз на озеро, и санки закувыркались вслед за ним. Даль озера уже затуманилась, и, наблюдая за Ароном, мы трезво взвешивали шансы на его счастливое возвращение.

Без особых помех он преодолел всю дистанцию, и в бинокль было видно, как он согнулся над Дроновым, наволок его на санки и потащился обратно. Скоро он устал, сел и принялся есть снег.

На озере было тихо, и мы ясно услышали глухой выстрел снайпера. Арон по-прежнему сидел на снегу, не обращая внимания на снайпера. Бухнул второй выстрел — и Арон откинулся на спину.

Зная хитроумие Арона, мы ожидали, что он внезапно вскочит на ноги и поволочет санки дальше. Но скоро Арона накрыл туман, и противник принялся освещать озеро ракетами. И тут мы получили приказ возвратиться к своим землянкам.

Мы возвращались по той же дороге, но теперь из сорока пяти лыжников взвода в живых осталось лишь восемнадцать. Белоснежные маскхалаты наши были окровавлены, и оттого, что мы слишком близко прикоснулись к смерти, мы шли устало и тихо, словно после очень тяжелой работы.

Через сутки мы пошли проститься с Ароном. Окостеневший, с кровавым наростом мозга на виске, он лежал в пустом бревенчатом сарае. Но рот его по-прежнему улыбался, хотя тело было скрючено от боли.

А на следующий день мы вырыли могилу и похоронили Арона. В густом, морозном воздухе хлестнули сухие залпы, и комья земли полетели на маскхалат, которым прикрыли поэта. Но как доказательство его существования остались стихи:

Будешь видеть, как на дне колодца.
Образ мой все чище и новей,
Будешь верить: он еще вернется,
Постучится у моих дверей.
И, как будто не было разлуки,
Я зайду в твой опустевший дом.
Ты узнаешь. Ты протянешь руки
И поймешь, что врозь мы не умрем...

• • •

Ксения НЕКРАСОВА

МОЙ ИНСТИТУТ

Тверской бульвар...
Оленьими рогами
Растут заснеженные тополя;
Сад Герцена, засыпанный снегами;
За легкими пуховыми ветвями
Желтеет старый дом,
И греют тлеющим огнем
Зажженные большие стекла.
И я сама,
Торжественность и тишина,
Перед засвеченным стою окном:
В окне прошел
Седеющий Асеев,
На нервном, как ковыль, лице
Морские гавани
Нестылых глаз
Теплом нахлынули
На снежные покои.
Мы знаем вас,
Друг молодости нашей,

Чистосердечность вашего стиха
И бескорыстность светлую в поэзии.
Вот юноша, поэт,
И, словно раненая птица.
Косой пробор,
Растрепанным крылом,
На лоб задумчивый ложится.
Трагедию войны сокрыв,
По лестнице идет другой,
Рассеянный и молчаливый,
Он знает финские заливы,
Мечтательный и верный воин
И грустный, как заря, певец.
Пуховый ветер над Москвой...
Но лебеди покинут белый дом,
Последний крик,
С плывущих облаков,
Прощальной песней
Ляжет на крыльцо.

10 января 1941 г.



СЕГОДНЯ В СБОРНИКЕ

Агеев Л. — 87, Аким Я. — 106, Алдан-Семенов А. — 99, Алигер М. — 52, Ана М. — 274, Антокольский П. — 42, Асеев Н. — 41, Астафьева Н. — 166, Ахмадулина Б. — 53, Ахматова А. — 43.

Балин А. — 112, Барто А. — 102, Баруздин С. — 164, Бауков И. — 104, Белинский Я. — 181, Бершадский В. — 134, Благинина Е. — 22, Благинка М. — 243, Блынский Д. — 264, Боков В. — 162, 271, Борисова М. — 57, Брагин А. — 35, Британишский В. — 205, Бялосинская Н. — 73.

Ваншенкин К. — 55, Васильев С. — 79, Винокуров Е. — 83. Вознесенский А. — 85, Волгин И. — 36, Волобуева И. — 182.

Гайсарьян С. — 28, Гатов А. — 81, Глазков Н. — 71, Глазов Г. — 222, Гнеушев В. — 208, Голубков Д. — 249, Гончаров В. — 141, Гордиенко Ю. — 254, Горностаев Г. — 88, Городецкий С. — 59. Грачев Н. — 135, Грибачев Н. — 92, Гринберг И. — 74, Гришаев В. — 238, Грубиян М. — 198, Грушко П. — 223, Гунин А. — 215.

Дагуров В. — 5, Дементьев А. — 201, Демин М. — 121, 236, Дмитриев О. — 229, Долматовский Е. — 48, Досталь А. — 259, Дружинин П. — 195, Друнина Ю. — 82, Дудин М. — 120.

Евсеева С. — 26, Евтушенко Е. — 117, Ермаков В. — 164.

Жигулин А. — 207, Жирмунская Т. — 113, Жуков В. — 104, Журавлев В. — 132.

Заболоцкий Н. — 298, Заурих А. — 9, Звягинцева В. — 60, Зенкевич М. — 167, Злобина Д. — 237.

Инбер В. — 44.

Казакова Р. — 70, Казанцев В. — 210, Казин В. — 31, Карпеко В. — 100, Катанян В. — 275, Кедрин З. — 136, Кирсанов С. — 121, Кобзев И. — 102, Ковалев Д. — 140, Коваленков А. — 130, Козловский Я. — 167, Кондратьев А. — 140, Кондырев Л. — 215, Коржавин Н. — 232, Корнилов В. — 116, Корфиатис О. — 250, Котляр Э. — 147, Кудрявцев П. — 264, Кулагин В. — 200, Кулемин В. — 134, Куликов С. — 201, Куняев Б. — 238, Куняев С. — 175.

Лазарев В. — 13, Левитанский Ю. — 183, Леднев В. — 261, Липкин С. — 218, Лисянская И. — 133, Лисянский М. — 223, Лифшиц В. — 105, Лобанов М. — 230, Луговой В. — 168, Луговской В. — 292, Луконин М. — 109, 299, Львов М. — 148, 172, Люкин А. — 174, Люшин Г. — 218.

Макаров С. — 15, Максаев А. — 200, Мальцева Н. — 173, Мандельштам О. — 285, Марков А. — 180, Мартынов Л. — 19, Марченко А. — 143, Матвеева Н. — 107, 267, Матеу Х. — 249, Матусовский М. — 67, Межиров А. — 188, Мельников Ю. — 242, Мориц Ю. — 245.

Найдич М. — 242, Наровчатов С. — 227, 270, Некрасова К. — 308, Неруда П. — 151, Николаева Н. — 266.

Огиев В. — 61, Озеров Л. — 45, 119, 265, Ойслендер А. — 243, Окуджава Б. — 142, Орлов С. — 228, Ошанин Л. — 239.

Пальчиков В. — 248, Панкратов Ю. — 260, Паперный З. — 37, Парфентьев В. — 239, Пастернак Б. — 291, Передреев А. — 189, Поделков С. — 253, Полухин Ю. — 187, Полянский Е. — 209, Прокушев Ю. — 278, Пришелец А. — 234.

Радимов П. — 247, Рассадии С. — 89, Рахманин Б. — 182, Регистан Г. — 190, Рицос Я. — 151, Рождественский Р. — 93, Романов А. — 175, Румянцева М. — 256, Рунин Б. — 96, Рыбочкин А. — 176, Рыленков Н. — 186, Рядченко И. — 233.

Савельев В. — 179, 224, Савинов Е. — 233, Савостин Н. — 270, Самойлов Д. — 247, Санников Г. — 246, Сарнов Б. — 169, Светлов М. — 108, Светов Ф. — 202, Семакии В. — 165, Семернин В. — 240, Сидоренко Н. — 259, Симонов К. — 72, Ситковский А. — 262, Скуратов М. — 261, Слуцкий Б. — 114, Смирнов С. — 194, Смирнов Ю. — 192, Сობоль М. — 263, Соколов В. — 269, Солнцев Р. — 210, Солоухин В. — 46, Соснора В. — 191, Степанов Н. — 283, Субботин В. — 192, 255, Сухарев Д. — 248, Старшинов Н. — 133.

Тарковский А. — 256, Татьянаичева Л. — 146, Тейф М. — 207, Тихонов Н. — 24, Трегуб С. — 219, Туркин В. — 196, Турков А. — 185, Тушнова В. — 203.

Урин В. — 176, Уткин И. — 297, Ушаков Д. — 47, Ушаков Н. — 146.

Файнберг В. — 234, Федорин И. — 240, Федоров Вас. — 145, Федоров Вл. — 206, Фирсов В. — 147, Флоров Г. — 262, Фокина О. — 198, Фоломин Ф. — 177, Фомичев Н. — 216, Фоняков И. — 97, Фраиек И. — 257, Френкель И. — 225.

Харабаров И. — 86, Хелемский Я. — 212, Хикмет Н. — 151, 155, Хлебников В. — 284, Хомутов Г. — 255, Храмов Е. — 165.

Цвелев В. — 260, Цветаева М. — 287, Цуркин Г. — 304, Цыбин В. — 110.

Чернов Ю. — 217, Чикии Л. — 235, Чичибабин Б. — 241.

Шаламов В. — 178, Шамов И. — 209, Шаховский Б. — 144, Шестериков М. — 35, Шехтер М. — 211, Шкавро Л. — 226.

Щипачев С. — 194.

Эренбург И. — 245.

Яшин А. — 220.

Сборник
«ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1962 г.»

М., «Советский писатель». 1962, 312 стр.

Редактор В. С. Фогельсон

Художник Ю. Васильев

Художественный редактор К. М. Буров

Технические редакторы В. Г. Комм

и С. Б. Николаи

Корректоры В. П. Назимова,

Э. В. Проница и В. Н. Стаханова

Сдано в набор 21/VIII 1962 г.
Подписано в печать 24/X 1962 г.
А 06781. Бумага 84×108₁₆. Печ. л.
19¹/₂ (31,98). Уч.-изд. л. 25,77. Ти-
раж 50 000. Зак. № 1432. Цена
1 р. 54 к.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнезниковский
пер. 10.

Типография № 5 УПП Ленсовнар-
хоза. Ленинград. Красная ул., 1/3

Цена 1 р. 54 к.

